

СТРАСТИ ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО –
новая пьеса Нины Воронель

ИЗРАИЛЬ МЕЖДУ АЛИЕЙ И ИНТИФАДОЙ –
проблемы страны в зеркале израильской прессы

КУДА ИДЕТ РОССИЯ? –
этюды Дмитрия Шляпентоха

КОНЕЦ ИСТОРИИ –
споры вокруг статьи Френсиса Фукуямы

НИЦШЕ: СВОБОДА И ИСТИНА –
посмертная публикация проф. Шломо Пинеса

22

№ 69

МИЛАНСКИЙ ВЕЩАТЕЛЬ

МИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издание общественно-культурного фонда
"МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР
Лауреат премии Р. Н. Эттингер за 1984 год*

69

январь-февраль 1990

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

- 3 НИНА ВОРОНЕЛЬ. Двойная игра, или Достоевский в Германии (пьеса)
64 АЛЕКСАНДР БАРАШ. Баллада о неврозе
71 ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. Обмененные головы (продолжение, начало в № 68)

ПО СТРАНИЦАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

- 109 Д. ГРИНБЕРГ, И. ГИОЛЛЬ, А. ОДЕНХАЙМЕР, Д. САЙМАН, А. ДОЛЕВ, Э. БЕРКОВИЧ. Интифада и алия

СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 128 ДОРА ШТУРМАН. О национальных фобиях (окончание, начало в № 68)

РУССКИЙ ВОПРОС

- 156 ДМИТРИЙ ШЛЯПЕНТОХ. Этюды о государстве

ЗАПАД – ВОСТОК

- 170 ФРЭНСИС ФУКУЯМА. Конец истории
182 Вокруг Фукуямы (Би-Би-Си, Лондон)

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 195 АННА ИСАКОВА (ГРОССМАН). Пути неисповедимые

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 202 ШЛОМО ПИНЕС. Ницше: Свобода и истина

МАСТЕРСКАЯ

- 209 ЛЮБОВЬ ЛАПП. Скульптура Родена в Музее Израила

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

- 211 ЕЛЕНА ТОЛСТАЯ. Платонов, или безотцовщина

На последней странице обложки: О. Роден. Пьер Виссан ("Граждане Кале"), 1884

ЛИТЕРАТУРА

Нина Воронель

лауреат премии Союза Писателей Израиля за 1989 год

Драматург и переводчица Нина Воронель удостоена премии Союза Писателей Израиля за творчество на русском языке. Переводы Н. Воронель (О. Уайльд, С. Беллоу и др.) широко известны в СССР, Израиле и на Западе; ее пьесы шли на советских, израильских и американских сценах. Поздравляя лауреата — одного из основателей нашего журнала и постоянного его авторов, мы видим в присуждении ей этой премии не только признание ее личных творческих достижений, но и признание израильской общественностью все большей роли, которую русско-еврейская культура репатриантов из СССР играет в культурной жизни Израиля (об этой роли см. в нынешнем номере журнала раздел "По страницам израильской жизни"). Мы предлагаем читателям новую пьесу Нины Воронель, которая легла в основу четырехсерийного телефильма, принятого к постановке на лондонской студии Би-Би-Си под руководством выдающегося польского режиссера К. Занусси.



ДВОЙНАЯ ИГРА или ДОСТОЕВСКИЙ В ГЕРМАНИИ

(Пьеса написана на основании дневников Полины и Анны)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Федя | — писатель Федор Достоевский, 46 лет |
| Полина | — возлюбленная Феди, 26 лет |
| Анна | — молодая жена Феди, 20 лет |
| Старуха | — Анна в старости |

Действие происходит в конце 60-х годов XIX века.

Действие пролога и эпилога происходит в 1918 г. в Крыму

Примечание:

Полина всегда присутствует на сцене, даже когда она не участвует в действии. Ее присутствие на сцене символизирует ее постоянное присутствие в сознании Феди, он болен, он одержим ею, она — его вечная тоска, его диббук.

Анна и Федя могут появляться и исчезать по мере надобности.

ПРОЛОГ

Кладбище. Где-то поблизости слышится треск пулеметных очередей и ружейных выстрелов, топот многих ног по каменным плитам и крики. СТАРУХА вбегает на кладбище, неловко оскальзываясь, и спотыкаясь, и в изнеможении прислоняется к надгробному камню.

Старуха: Ну и времена пришли — только на кладбище живому можно схорониться! Так я и не поняла, кто в кого стрелял — красные в белых или белые в красных. А впрочем, что мне, — лишь бы не в меня! (садится на землю) Ноги подкашиваются — то ли от страха, то ли от голода. (читает надпись на плите) Что это? Полина Суслова, 1918 год. Господи, ведь это она — Полина! Подумать только! похоронена тут, совсем рядом с моим домом! Надо же, в жизни так и не встретились, а к смерти судьба свела. И где? Вдали от дома, среди чужих, где ни души знакомой не встретить! (прислушиваясь) Кажется, стихло, можно уходить.

Шум боя стих. СТАРУХА поднимается, идет к выходу, исчезает за воротами кладбища и через минуту появляется с другой стороны — она идет по улице.

Старуха: И впрямь это Полина. Кладбищенский сторож с гордостью сообщил мне, что у них похоронена возлюбленная Достоевского и спросил, знаю ли я кто это такой? (смеется) Надо же, спросить такое? Знаю ли Я, кто такой Достоевский?

На сцену выходит Анна, садится к маленькому столику в углу и пишет.

Когда я познакомилась с ним, мне только-только исполнилось двадцать. Боже, как давно это было — больше, чем полвека тому назад!

Когда Анна начинает говорить, Старуха медленно отступает и исчезает, словно растворяясь за кулисами.

А н н а: Первый раз я пришла к нему, когда мы уговорились, что он будет диктовать мне свой новый роман "Игрок". Я очень волновалась, когда первый раз поднималась по лестнице, ведущей в Федину квартиру — он ведь и тогда уже был знаменитый писатель: его роман "Преступление и наказание" печатался в журнале с продолжениями, и все с нетерпением ждали новых глав.

На сцену выходит Федя и падает на колени перед Анной. Анна проворно достает из ящика стола подвенечную вуаль. Федя вскакивает, подает Анне руку, под звуки свадебного марша ведет Анну к алтарю и надевает, ей на палец обручальное кольцо, после чего оба они идут к поезду. Поезд трогается, Полина входит в вагон и садится рядом с Федей. Анна ее не видит. Облик Полины должен содержать какой-то признак, указывающий на ее нереальность.

А н н а: Мы с Федей ехали из Петербурга после свадьбы — 14 апреля 1867 года, в ясный весенний день.

П о л и н а: (Феде) Помнишь, три года назад ты ехал тем же поездом ко мне?

Ф е д я: (Полине) Я так спешил к тебе, я думал, что ты в Париже ждешь меня с нетерпением. А ты уже не ждала, ты полюбила другого.

Поезд прибывает на станцию. Анна и Федя выходят на перрон, Полина идет за ними.

А н н а: В семь часов вечера мы прибыли в этот первый для меня иностранный город. В гостинице нам предложили номер за 1 талер 10 зильбергрошей. Номер был неплохой, но окнами выходил на шумную улицу.

Анна и Федя входят в номер дешевого отеля. Полина пытается войти вслед за ними, но Федя закрывает дверь и она остается снаружи. Анна и Федя ставят чемоданы и ложатся в двухспальную кровать.

А н н а: Легли мы спать довольно рано. Спала я ужасно крепко, пока с Федей не сделался припадок.

Федя и Анна спят. Полина проходит сквозь стену и склоняется над спящим Федей. Федя вздрагивает, открывает глаза, Полина прячется. Как только Федя опять засыпает, она снова подходит к кровати и касается его лица. Он вскакивает и всматривается в темноту, но Полина уже выскользнула из комнаты. Федя подходит к двери, пробует заперта ли она. Откуда-то с улицы доносится цокот копыт.

П о л и н а: (шепчет через дверь) Федя! Федя!

Федя прислушивается и начинает тащить к двери стол. Стол большой, он застревает в узком простенке за кроватью. Федя пытается сдвинуть кровать, но не может. После короткой безуспешной борьбы со столом и кроватью Федя будит Анну.

Ф е д я: Аня, ангел мой, проснись. Аня, ну Аня, проснись, мой ангел.

П о л и н а: (шепчет через дверь) Федя! Федя!

Федя подкрадывается к двери и прижавшись к ней ухом вслушивается, а затем опять тянет стол, толкает кровать, и отчаявшись, вновь принимается трясти Анну за плечи.

Ф е д я: Аня, Аннушка, проснись! Ты, право, спишь, как младенец!

Анна открывает глаза.

А н н а: Ты что, Федя? Почему не спишь?

Ф е д я: (в страшном возбуждении) Скорей, скорей, поднимайся, — помоги мне стол к дверям подвинуть!

А н н а: Среди ночи? Зачем?

Ф е д я: Ну что ты, ей Богу! (сталкивает Анну с кровати)

А н н а: (падая, ушибает руку) Ах!

Ф е д я: Скорей, тани стол на себя, а то будет поздно!

А н н а: Но я руку ушибла!

Ф е д я: Что рука, если нас в любую минуту убить могут! Ну, тани, тани стол!

А н н а. (тащит стол через кровать) Нас, убить? Кто?

Ф е д я: (подхватывает стол по другую сторону кровати и тащит его к двери) Слышишь, под дверью шепчутся?

А н н а: (прислушивается — за дверью тихо) Но там нет никого!

Ф е д я: (ставит на стол кресло, на кресло громоздит стулья)
Что значит — никого, если я говорю — шепчутся?

А н н а: Пусть себе шепчутся, а я умираю спать. (засыпает)

Ф е д я: Ангел, ангел мой, не засыпай, не оставляй меня од-
ного!

А н н а: (сонно хлопает рукой по кровати) И ты ложись, и ты.

Ф е д я: (ложится, кладет руку Анны себе на лицо) Утешь
меня, погладь меня, пожалей!

Полина стуча каблуками ходит по коридору. При звуке ее шагов Федя вскакивает и начинает громоздить баулы и чемоданы поверх стульев и кресел. Проверяет прочность баррикады и ложится. Стук каблуков перерастает в далекий барабанный бой, он нарастает, приближаясь, пока не переходит в адский грохот. Федя в ужасе затыкает уши, но барабанный бой не стихает. Полина врывается в номер через запертую дверь и кружится в безумном танце.

Г о л о с: (за сценой, торжественно) За участие в преступном заговоре против Государя-Императора Военный Суд...

Э х о: ...Военный Суд... Суд... Суд...

Г о л о с: (за сценой торжественно) ...приговорил отставного поручика Достоевского...

Э х о: ...казни... казни... казни...

Г о л о с: (за сценой, торжественно) ...расстрелянием.

Э х о: ...расстреля ...Расстреля... расстрелянием.

Федя словно лунатик идет к рампе.

Ф е д я: 22 декабря на рассвете нас привезли в двуконных возках из Петропавловской крепости на Семеновский плац и возвели на эшафот. Мороз стоял трескучий. Нам прочитали смертный приговор, а затем на каждого из нас надели белый саван, сломали меч над головой и подвели к святому кресту для последнего целования. Потом первые три были привязаны к столбам для казни, на глаза их надели повязки. Солдаты вскинули ружья и взяли на прицел. Я был шестым в строю. Поскольку каждый раз к расстрелу вызывали троих, мне оставалось жить не более минуты.

Федя издает нечеловеческий вопль и начинает биться в эпилептическом припадке. Анна мгновенно просыпается, вскакивает с кровати и бросается к Феде.

А н н а: Господи, какой ужас!

Анна, ломая руки стоит перед Федей.

А н н а: Бедный, несчастный мой Федя! Все лицо его посинело, на губах выступила пена, — я без слез не могу видеть его ужасные страдания!

Ф е д я: (словно в трансе) Я успел обнять на прощание Плещеева и вдруг в самый момент, когда должна была раздаться команда "Пли!", высший чин взмахнул белым платком, казнь была остановлена и осужденных отвязали от столбов. Григорьев сошел с ума за эти несколько минут ожидания конца, у Момбелли поседело волосы. Была объявлена монаршья милость, меня приговорили к четырем годам каторжных работ.

А н н а: Я вытерла пот с его лба и он открыл глаза.

Ф е д я: (приподнимается на локте) Что случилось, Аня? Что со мной?

ЗАТЕМНЕНИЕ

Утро. Комната в беспорядке: стол, правда, уже возвращен на место, но чемоданы все еще навалены горой у двери. Федя спит, Анна пишет за маленьким столиком у окна. Полина спит на пороге.

А н н а: Проснулась я в половине девятого, на улице дождик маленький, но видно, на целый день — какая скука! Пока Федя спал, я села за свой дневник. Поскольку я записываю все стенографически, никто кроме меня, не может это прочесть.

Федя поднимается с постели и садится к столу на котором сервирован чай. Полина просыпается и пристраивается рядом с Федей. Анна ее не видит.

Ф е д я: Голова болит безумно.

А н н а: Налить тебе чаю?

П о л и н а: (Феде) Она считает, что ты совсем инвалид.

Ф е д я: (Анне) Я сам налью. Или ты считаешь, что я совсем инвалид — даже чай себе налить неспособен?

А н н а: (пожимая плечами, обиженно) Сделай одолжение!

П о л и н а: (Феде) Я вижу, ей не угодишь!

Ф е д я: Тебе не угодишь: если б я попросил тебя налить мне чаю, ты б обиделась, что я не даю тебе писать.

Полина подталкивает его руку, он опрокидывает чайник и разбивает чашку, осколки разлетаются, вода течет на пол.

Ф е д я: (Анне) Ну вот, все из-за твоих дурацких обид! Вместо того, чтоб спокойно налить мне чаю, ты с утра начинаешь дуться!

А н н а: (вытирает пол) Ничего, посуду бить — к деньгам!

Ф е д я: Пока еще деньги будут! А хозяйке уже сейчас за чашку платить придется, об этом ты подумала?

А н н а: Можно подумать, что это я чайник опрокинула, а не ты.

П о л и н а: (Феде) Она всегда найдет, чем тебя попрекнуть.

Ф е д я: Ты всегда найдешь, чем меня попрекнуть.

Анна молча выходит, захватив с собой чайник.

П о л и н а: (Феде) Что она все дуется?

Ф е д я: (вслед Анне) Дуйся, дуйся, если не хочешь жить в мире!

Полина гладит Федю по голове. Федя садится к столу, мажет хлеб маслом. Анна возвращается с полным чайником и, молча налив ему чай, садится к своему столику и продолжает писать.

Ф е д я: Масло прогоркло, а чай пахнет веником.

П о л и н а: (Феде) Что она все время пишет?

Федя подходит и через плечо Анны смотрит на то, что она пишет.

Ф е д я: А когда я смогу это прочесть, чтобы проверить, правду ты пишешь или все выдумываешь?

А н н а: Никогда. И незачем. То, что я напишу, то и будет правда.

П о л и н а: (Феде) И ты не намерен ее остановить?

Ф е д я: Аня, кончай писать, пора идти искать квартиру.

А н н а: В такой дождь?

Ф е д я: Что делать, возьмем зонт. Ведь мы даже день лишний в этой гостинице не можем себе позволить — тут слишком дорого.

Анна надевает шляпку из белого пуха, Федя берет зонт и они идут по улице вдвоем под одним зонтом.

Полина надевает плоскую соломенную шляпку, спускается на улицу и идет за ними. Она очень элегантна.

А н н а: Мы пошли, промокли страшно, но зато нашли две комнаты во втором этаже, порядочно меблированные, за 17 талеров с бельем и посудой. Когда пошли назад, я совершенно забыла дорогу и Федя стал меня бранить за это.

Ф е д я: Ну вот, ты спорила, что надо направо, и теперь уже вообще неясно, где гостиница.

А н н а: Может, еще раз направо свернуть?

Ф е д я: Брось, с твоими замечательными советами мы весь день под дождем будем блуждать.

А н н а: Ну хорошо, давай свернем налево.

Ф е д я: (сердито) Раньше надо было сворачивать, когда я говорил.

Полина ускоряет шаг, обгоняет их и оборачивается.

А н н а: Тише, не кричи, а то прохожие на нас оборачиваются!

П о л и н а: (берет Федю под руку с другой стороны) Какая на ней шляпка дурацкая!

Ф е д я: (Анне) Это они на твою шляпку оборачиваются.

А н н а: Чем же моя шляпка плоха?

Ф е д я: Здесь никто таких шляп не носит — какое-то ведро из белого пуха, а у них шляпки соломенные, плоские, с лентами. И перчатки у тебя заношенные, в таких перчатках приличные женщины не ходят.

А н н а: (со слезами выдергивает руку) Если ты считаешь, что я дурно одета, то незачем тебе со мной ходить! (убегает)

Ф е д я: (делает несколько шагов вслед Анне) Анна, куда ты? Возьми зонт!

Анна не отвечает, она бежит прочь, громко рыдая. Полина не отпускает Федю.

П о л и н а: (тянет его руку с зонтом к себе) Ты куда, Федя?

Ф е д я: Она промокнет и простудится!

П о л и н а: А я уже промокла — это тебе неважно?

Федя мечется между Полиной и Анной.

П о л и н а: (манит его) Идем, я покажу тебе дорогу к гостинице.

Федя берет Полину под руку и они идут под зонтом прочь от бегущей Анны.

А н н а: (на бегу) Я бежала очень быстро, лицо у меня стало совсем мокрое от дождя и от слез. Но мало-помалу я успокоилась и поняла, что Федя своим замечанием вовсе не хотел меня обидеть.

Пока Анна бежит по улице, Федя с Полиной подходят к гостинице, Федя взбегает по лестнице и входит в номер. Летая на зонтике Полина следит за ним через окно.

А н н а: (на бегу) Я несколько раз свернула и вдруг очутилась на площади, от которой знала дорогу. Я поспешила домой, думая, что Федя уже вернулся и я могу помириться с ним.

Чемоданы аккуратно сложены в углу. Федя берет один чемодан, кладет на кровать, отпирает его и достает кошелек и стопку бумаги. Полина видит подходящую к гостинице Анну, она влетает в номер через окно и тащит Федю прочь.

П о л и н а: Скорей, она идет!

Оставив чемодан на кровати, Федя выскальзывает из номера вслед за Полиной. Анна вбегает в гостиницу и спешит вверх по лестнице. Федя с Полиной поднявшись на верхний этаж пережидают, пока Анна войдет в номер, а затем поспешно спускаются вниз на улицу и уходят под зонтом.

А н н а: Придя в гостиницу, я Феде не застала. Но я поняла, что он заходил и опять вышел. Не понимаю, куда он мог пойти?

Федя входит в кафе, садится за столик, достает пачку бумаги и начинает писать, обращаясь к Полине, которая оставшись снаружи, смотрит на него через забрызганное дождем оконное стекло.

Ф е д я: Друг мой милый, друг вечный, письмо твое передали мне перед самым отъездом моим за границу, а так как я спешил ужасно, то не успел ответить тебе. Уехал я из Петербурга 14 апреля, но только теперь улучил время поговорить с тобой.

А н н а: (разглядывая открытый чемодан) Куда он так спешил, что даже чемодан бросил открытый?

Ф е д я: (Полине) Со смерти брата, который был для меня все,

мне стало очень тошно жить. Но я не пытаюсь тронуть тебя рассказами о моих страданиях, я знаю, что это было бы напрасно.

А н н а: Я просто места себе не нахожу! (ломаю руки) Не понимаю, куда он мог уйти!

Ф е д я: (Полине) Ведь мысль о том, что я давно осознал всю твою недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, эта мысль всегда доставляла тебе чрезвычайное наслаждение.

П о л и н а: (за окном) Да ведь и тебе доставляло наслаждение ходить за мной и молить о любви, зная, что никакой надежды у тебя нет.

А н н а: (мечется по комнате) Боже мой, наверно он во мне разочаровался и меня разлюбил, убедившись, какая я дурная и капризная. И найдя, что слишком несчастлив, он бросился в Эльбу.

Ф е д я: (Полине) А у меня для тебя новость: я женился!

П о л и н а: Ты? Женился? Быть не может!

Ф е д я: А вот представь себе! У меня были трудности с романом "Игрок" и я уговорился со стенографкой Анной Сниткиной, чтобы диктовать ей роман.

А н н а: (мечется по комнате) Конечно, он решил со мной развестись и отправить меня обратно в Петербург — для того он и открывал чемодан! Он достал бумаги и пошел с ними в посольство оформлять развод. Но я ни за что не вернусь домой, если Федя меня бросит!

Ф е д я: (Полине) Стенографка моя оказалась молодая и довольно пригожая девушка из хорошего семейства с добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно.

П о л и н а: О да! Работа у вас пошла превосходно и роман был окончен в 24 дня!

А н н а: (мечется по комнате) Уже два часа как его нет, дождь льет как из ведра! Куда он мог деться в такую погоду?

Ф е д я: (Полине) При конце работы я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, да и мне она все больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти.

П о л и н а: Какой восторг — нашел сразу и жену и стенографку!

Ф е д я: Разница в годах ужасная — ей 20, мне 40, но я все более убеждаюсь, что любить она умеет. Я иногда ее мучаю, а она все

терпит, и мне с ней хорошо.

П о л и н а: Куда уж лучше! Ведь власть над другим — всегда наслаждение. Уж кому, как не тебе, знать, что человек любит быть мучителем.

Ф е д я: (Полине) Я уверен, что ты меня поймешь, как никто. Ведь я твое мучительство на себе хорошо испытал.

А н н а: (у окна) Я уже выучила наизусть все вывески на этой улице, а его все нет!

П о л и н а: Но ты ведь говорил, что ты любишь меня!

Ф е д я: (Полине) Ты знаешь, друг вечный, что я всегда любил тебя и до сих пор люблю, но я уже не хотел бы любить тебя.

П о л и н а: Все люди, которые меня любили, заставили меня страдать. Без любви жить лучше — я более свободна.

А н н а: (мечется по комнате) Я чувствую, с ним что-то случилось! Что делать, Господи! Куда бежать? Неужто я никогда его больше не увижу?

Ф е д я: Ты не допускаешь равенства в отношениях и потому нигде не найдешь себе друга и счастья. Ведь я, милая, не к дешевому счастью приглашаю тебя...

Федя запечатывает письмо, выходит на улицу и вручает его Полине.

П о л и н а: Пальто у тебя ужасное — заношенное, потертое. Неужто нельзя купить новое?

Ф е д я: Ты же знаешь, что мы совсем без денег.

П о л и н а: Деньги — дело наживное! (останавливается перед витриной) Давай зайдем, поглядим какие тут предлагают пальто.

Ф е д я: Но я все равно не могу ничего купить!

П о л и н а: Глупости — конечно, можешь! (входит в магазин) Тем более, тебе придется как-то объяснить ей, где ты все это время болтался.

Ф е д я: (идет за ней) У тебя всегда найдется убедительный довод!

А н н а: Я боюсь, что Федя никогда не вернется. (рыдает) Это я, я одна во всем виновата, из-за своих капризов и дурного сердца.

Федя в новом пальто выходит из магазина и направляется к отелю. Полина летит за ним на зонтике.

А н н а: (у окна, видит Федю) Он идет! Он идет!

Полина отдает Феде зонтик и он входит в отель. Анна, рыдая, выбегает на лестницу и бросается ему на шею.

А н н а : Феденька, солнышко мое, я думала, ты никогда не придешь!

Ф е д я : Что ты, детка? О чем ты плачешь?

А н н а : Я думала, ты меня разлюбил и никогда не простишь!

Ф е д я : (обнимает ее) Полно плакать. Я давно тебя простил.

А н н а . Ты не ходил в посольство?

Ф е д я : Зачем бы мне туда ходить?

А н н а : (в слезах) Чтоб со мной развестись!

Ф е д я : Что за глупости! С чего бы это я стал с тобой разводиться?

А н н а : А где же ты был так долго?

Ф е д я : Я ходил себе заказывать пальто, мое совсем протерлось.

А н н а : (поражена) Пальто? Дорогое?

Ф е д я : Совсем недорогое. (красуется перед Анной) Ну, как, нравится?

А н н а : Красивое пальто. Носи на здоровье.

Полина, которая все время наблюдает за ними, смеется. Пока Федя любуется своим отражением в зеркале, Анна принимается штопать свои перчатки.

А н н а : Я страшно счастлива, что все объяснилось и мы помирились. Хорошо, что Федя заказал пальто, а то в его старом было совсем неприлично ходить. Я хотела его спросить, не видел ли он недорогих перчаток для меня, но передумала, — все равно, мы не можем позволить себе сразу и пальто, и перчатки.

Анна надевает перчатки и шляпку, берет Федю об руку и они выходят на улицу. Полина обгоняет их и садится за конторкой под вывеской: "Почта".

А н н а : Сегодня хорошая погода и мы пошли по набережной искать, где можно пообедать подешевле. (Феде) Давай сперва зайдем на почту за письмами.

Полина делает Феде знаки, чтоб, мол, на почту не ходить.

Ф е д я : Зачем вдруг сейчас? Мы же хотели обедать!

А н н а: Мне кажется, что сегодня мне будет письмо от мамы.

Ф е д я: Если письмо есть, можно его и после обеда получить!

А н н а: А вдруг после обеда почта будет закрыта?

Ф е д я: Ну, давай закажем обед, а пока принесут, я сбегаю на почту.

А н н а: Но я сама хочу пойти за маминым письмом!

Ф е д я: Какая разница?

А н н а: (с дрожью в голосе) Тебе никакой, а я так скучаю за мамой! Я ведь никогда с ней не расставалась!

Ф е д я: (сухо) Что ж, если тебе мужа недостаточно, воля твоя, — пошли за письмом от мамы.

Федя и Анна заходят на почту.

Ф е д я: (Полине) Достоевский, герр Достоевский с "Д"!

Федя получает от Полины пачку писем и бегло их проглядывает.

Ф е д я: На, вот тебе письмо от твоей дорогой мамы!

А н н а: (жадно хватает письмо) Вот видишь, я говорила!

Ф е д я: Это от издателя, но денег опять нет. Это от пасынка,

В этот момент Полина протягивает ему еще одно письмо, отдельно от других.

Ф е д я: а это... (прячет письмо в карман) ... Это мне лично.

А н н а: От кого?

Ф е д я: Ты не знаешь.

А н н а: Я сразу поняла, что это от Полины — он описал ее в "Игроке" (Феде) А ты мне расскажи, и я узнаю.

Ф е д я: Тебе неинтересно.

А н н а: (обиженно) Как хочешь!

Ф е д я: (Анне) Ты что, намерена контролировать мою переписку?

П о л и н а: А может, покажи ей письмо? Я уверена, ей будет очень интересно!

А н н а: (идет к выходу) Мне неинтересна твоя переписка!

Ф е д я: (догоняя, хватая ее за руку) Запомни, я буду переписываться, с кем хочу, и ты не будешь меня контролировать.

А н н а: (со слезами) Оставь меня! Что тебе от меня надо? (вырывается и убегает) .

Анна вбегает в свою квартиру и бросается на диван, Федя входит следом, садится к столу и пишет.

А н н а: Я страшно огорчаюсь, что Федя со мной неоткровенен. Мне кажется он все еще думает о ней. (тихо плачет)

Полина покидает "ПОЧТУ", входит в комнату и ложится на диван рядом с Анной, которая уже не в силах сдерживать рыдания.

Ф е д я: (испуган) Анна, голубчик, ангел мой, что ты? Что с тобой?

А н н а: (сквозь слезы) Ничего, просто маму вспомнила.

Ф е д я: Стыд какой, замужняя дама, а плачешь за мамой, как дитя!

А н н а: (захлебываясь рыданиями) Мама меня любит!

Ф е д я: А муж тебя разве не любит?

А н н а: (сквозь слезы) Не знаю!

П о л и н а: Она тебя ревнует ко мне.

Ф е д я: Как так, не знаешь? (поднимает ее лицо за подбородок)

А ну, сознавайся — уж не ревнуешь ли ты своего мужа?

А н н а: И еще как ревную!

Ф е д я: К кому же это, можно полюбопытствовать?

А н н а: (рыдания ее слегка утихают) Ко всем! Ко всему свету!

Ф е д я: Это мне льстит — ко всему свету! Ну, а в частности к кому?

А н н а: Ну, например, к той длинной англичанке.

Ф е д я: К какой англичанке?

А н н а: (всхлипывая) К той, — помнишь, вчера на террасе? Она все на тебя поглядывала и улыбалась.

Ф е д я: О Боже! У нее зубы, как у лошади, а нос, как у попугая!

А н н а: Ну и что? Попугай — красивая птица.

Ф е д я: Красивая, но опасная. (обнимает ее) Ты знаешь, какой конфуз с попугаем в суздальском монастыре вышел?

А н н а: (вырываясь) Я с тобой про ревность, а ты про попугая!

Ф е д я: (держит ее) Нет, ты послушай, очень интересный случай! Жил в этом монастыре попугай по имени Верт-Верт. Все ему удивлялись, так как голос у него был бесподобный и мона-

хини научили его молиться и петь. Проснутся монахини на рассвете, а попугай уже встречает их пением.

Федя поет, Анна слушает его, как зачарованная. Полина тоже слушает.

Ф е д я: Смотрите, какую любовь дал нам Отец наш,
 Чтоб нам называться и быть детьми Божьими.
 И всякий, имеющий надежду на Него,
 Очищает себя, так как Он чист.

(подолжает рассказ)

А по вечерам перед сном Верт-Верт развлекает монахинь пением псалмов.

(поет)

Господи, Ты испытал меня
и разумеешь помышления мои издали.
И все пути мои известны Тебе.
Взойду ли я на небо — Ты там,
Сойду ли в преисподнюю, и там Ты.

П о л и н а: О, я помню эту похабную историю! Ты что всем своим дамам ее рассказываешь?

Ф е д я: (продолжает рассказ) Верт-Верт так прославился, что монахини соседнего округа стали просить отпустить его к ним на некоторое время. Суздальские монахини долго колебались, но наконец решились ненадолго отправить своего любимца к соседям с извозчиным обозом. Обоз ехал долго, заезжая с грузом в разные города. Ты ведь знаешь, как извозчики разговаривают, вот Вер-Верт и наслушался у них всякого. Привозят его наконец в монастырь, а там собралась уже огромная толпа послушать пение знаменитого Верт-Верта. Внесли его, все вокруг замерли и ждут, свечи горят, лампы курятся — благодать! Тишина такая, что каждый шорох слышно, и вдруг попугай как рывкнет:

Полина демонстративно затыкает уши.

Ф е д я: "Туда-сюда, вашу мать, жопы непроветренные, чего zenки свои ебанные на меня уставили?"

Анна вздрагивает и прячет голову под подушку.

Ф е д я: (продолжает) "Или хера такого шершавого во рту никогда не держали?" Толпа ахнула и повалила прочь, давят друг друга, толкают, только бы поскорей выскочить. А Верт-Верт им вслед хриплым басом поет:

Ехал на ярмарку Ванька-балдуй,
Всем за полтину показывал хуй!

Анна хохочет.

Ф е д я: (целует Анну) Ну вот и хорошо, ты смейся, а я пойду работать. (возвращается к столу)

А н н а: Какой Федя милый — может, мои страхи глупость и он меня все-таки любит? Нет, я не успокоюсь, пока не прочту письмо от этой женщины!

Федя надевает свое новое пальто, прощается с Анной и уходит. Полина идет за ним. Анна запирает дверь.

А н н а: Сегодня утром Федя пошел в Cafe Francais читать газеты, а я осталась дома, так как обязательно решила прочитать то вчерашнее письмо.

Федя входит в кафе и садится у стола с газетами. Анна начинает лихорадочно рыться в ящиках письменного стола. Найдя письмо, она выглядывает в окно не идет ли Федя, а затем садится к столу и вынимает письмо из конверта.

А н н а: Так я и думала, — от Полины! Она была когда-то Федейной возлюбленной и причинила ему много страданий. (читает) Федя, друг любезный, подумать только, ты — женатый человек!

П о л и н а: (Феде) Впрочем, я рада, что все так кончилось. Выходит, я не напрасно тебя мучила — видишь, если мужчину долго мучить, он бросает добиваться.

А н н а: Конечно, нехорошо читать тайком мужнины письма, но я просто не смогу жить дальше, если не узнаю, что она пишет.

П о л и н а: (Феде) Ничего хорошего от этого брака я не жду, но раз уж дело сделано, желаю вам обоим счастья, насколько счастье вообще возможно. Я же нахожу жизнь так грубой и так печальной, что с трудом ее выношу. Неужто всегда так будет и стоило ли родиться?

Ф е д я: (Полине) Ты пишешь, что тебе очень грустно. Мне

жаль тебя, — я предвижу, что с твоим характером ты всегда будешь несчастна.

П о л и н а: Похоже, тебе больше по душе характер твоей Брылкиной!

Ф е д я: Почему ты все время называешь ее Брылкиной, хотя отлично знаешь, что ее фамилия — Сниткина?

П о л и н а: (Феде) Как бы ни звали эту бедную девушку, которая согласилась стать твоей женой, честно говоря, мне ее жаль.

А н н а: Как она смеет писать такое моему милому Феде?

П о л и н а: (Феде) Поняла ли она уже, что ты считаешь брак для женщины всегда рабством? Помнишь свои слова, против которых я так спорила, что раз женщина отдалась, она зависит от мужчины навсегда?

Ф е д я: (Полине) Да, по-моему в отношениях между мужчиной и женщиной одна из сторон непременно бывает обижена.

П о л и н а: (Феде) А вряд ли ты женился, чтобы быть обиженной стороной. Значит, сам будешь обижать.

А н н а: Не много ума выказывает эта особа! Просто она раздосадована женитьбой Феде, оттого так злится.

Ф е д я: (Полине) Нет, нет, ты так не думаешь, ты говоришь это просто мне назло! Чем, скажи, чем я так тебя рассердил?

П о л и н а: Я не могу простить тебе, что ты так меня разочаровал!

Ф е д я: Но ведь я в этом не виноват.

П о л и н а: А кто виноват? Я?

Ф е д я: О милая, я всегда уважал тебя за твою требовательность, но ведь это ужасно, что людей ты считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками.

П о л и н а: Да, я требовательна и потому мне трудно быть счастливой. И все же лучше умереть с тоски, но свободной, верной своим убеждениям. Нет ничего страшней, чем сделать уступку, и позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами.

Ф е д я: Что ты называешь низким и недостойным? То, что ты меня любила когда-то? По-моему, тебе здесь не за что краснеть.

П о л и н а: За любовь свою я никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я краснею за наши прежние отношения. Я никогда этого не скрывала, и много раз хотела прервать их.

Ф е д я: Не ты ли первая подошла ко мне после моего публичного чтения в Университете и сказала, что любишь меня?

П о л и н а: Что с того? Ты же знаешь, я не придерживаюсь форм и обрядов. Да, я сама предложила тебе свою любовь, и за это ты заставил меня страдать — ведь ты обожал лакомиться моими страданиями и слезами.

Ф е д я: Боже, и это говоришь ты! Ты, которая столько лет лакомилась моими страданиями! За что ты мучила меня, скажи?

П о л и н а: За то, что ты убил мою веру в любовь.

Ф е д я: Но ведь я всегда любил тебя!

П о л и н а: Любил, не спорю, но никогда не понимал, что для меня наши отношения были несносны. Из-за них я больше не могу находить счастья в наслаждениях любви: мужская ласка вечно будет напоминать мне оскорбления и страдания.

Ф е д я: Ну почему ты так несправедлива ко мне?

П о л и н а: А твоя дурочка — Брылкина к тебе справедлива? Кстати, что она обо мне знает?

А н н а: Какая страшная женщина! Просто змея!

Ф е д я: (Полине) Почему ты спрашиваешь?

П о л и н а: Действительно, что я спрашиваю? Ведь ты ей диктовал "Игрока".

Ф е д я: (увлеченно) Да, работа у нас пошла отлично и мы закончили роман в 24 дня!

А н н а: (увлеченно) Да, работа у нас пошла отлично и мы закончили роман в 24 дня!

П о л и н а: (Феде) Хорошо ты там обо мне отозвался, век тебе это не забуду!

А н н а: Чем более Федя втягивался в работу над романом, тем более я входила в жизнь его героев. У меня появились любимцы и недруги. Особенное мое презрение заслужила Полина.

Ф е д я: (Анне) Сам не понимаю, что хорошего в этой Полине! Впрочем, кажется, она хороша собой, ведь она и других с ума сводит. Следок ноги у нее узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный, а глаза настоящие кошачьи. Мне только стоит вспомнить шум ее платья, я локти себе искушать готов.

Во время этого монолога Полина любит себя своим отражением в зеркале, а Анна разглядывает свою ногу.

А н н а: Следок ноги узенький и длинный! Нет, у меня совсем

не такой. Вчера немки в башмачном магазине удивлялись, какая у меня маленькая нога, — ничего мучительного в ней нет. Конечно, он меня не любит — ведь он так ее любил, даже страшно! Он хотел быть ее рабом.

Ф е д я: (Полине) Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством! Ведь рабов не стыдятся, считают — раб все снесет, но ведь и раб взбунтоваться может.

П о л и н а: (Феде) Все это вздор. Терпеть не могу этой вашей рабской теории.

Ф е д я: (Полине) Рабской теории не терпите, а рабства требуете. Я все жду, чтобы вы взглянули на меня иначе, чем на раба.

П о л и н а: (Феде) Вы сами говорили, что вам это рабство — наслаждение.

Ф е д я: Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! Черт знает, может оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо.

П о л и н а: (Феде) Вы совсем зарапортовались.

Ф е д я: (Полине) Мне с вами трудно, вы подавляете меня, доводите меня до горячки. Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что приревную, а так просто убью, потому, что мне глядеть на вас — мука. Я даже не знаю, хороши ли вы лицом, но знаю наверное, что сердце у вас нехоршее.

П о л и н а: Вон ты как о моем сердце теперь заговорил, а ведь совсем недавно ты сердцу моему такие панегирики высказывал, что заставлял меня краснеть.

Ф е д я: (Полине) Тогда я еще верил, что ты способна к любви. Мне даже казалось, что ты меня любишь.

П о л и н а: (Феде) Что ж, в одну эпоху женщина любит, а в другую говорит себе — довольно, пусть меня любят, а я буду делать все, что найду нужным, не думая о других.

А н н а: (откладывая письмо) Такая на все способна! А вдруг она захочет вернуть Федину любовь?

Федя смотрит на часы и идет вон из кафе. Полина манит его к себе, он идет к ней как замороженный.

А н н а: Мне холодно, я вся дрожу, А что, если старая любовь возобновится и привязанность его ко мне исчезнет? Нет, он меня не любит, — ведь он никогда не хотел меня убить!

Подойдя к Полине Федя пытается ее обнять, но она выскальзы-

вает со смехом и он обнимает пустоту. Постояв секунду с выражением отчаяния на лице он идет к своему дому.

А н н а: (смотрит в окно) Вон он, идет — насупленный. О чем думает, о ней? (прячет письмо, приглаживает волосы перед зеркалом) Господи, глаза красные, все лицо в пятнах!

Раздается стук в дверь, Анна отпирает, входит Федя. Полина проскальзывает в комнату вслед за ним.

Ф е д я: (Анне) Что ты тут делаешь? Зачем заперлась? (целует ее) Ты что — плакала? Ты вся дрожишь.

А н н а: Мне что-то неможется, наверно у меня жар.

Ф е д я: (суетливо) Немедленно ложись в постель, а я согрею чаю и попрошу у хозяйки грелку.

А н н а: Нет, все-таки он меня любит, вон как беспокоится.

П о л и н а: (Феде) Никогда б не подумала, что из тебя выйдет такой заботливый муж.

Федя укладывает Анну в постель, заботливо подтыкает одеяло, приносит ей чай и грелку, после чего садится к столу и пишет.

А н н а: Мысль о письме Полины и о его любви к ней не дает мне покоя. (зовет) Федя!

Ф е д я: Что, ангел мой? Дать чего-нибудь?

А н н а: Скажи, ты бы мог меня убить?

Ф е д я: Бог с тобой — тебя убить? За что?

А н н а: Ну, не знаю — из ревности.

Ф е д я: Из ревности мог бы конечно! Но разве есть за что? Ты ведь моя верная маленькая женка. Ручки маленькие, ножки маленькие. (хочет поцеловать ее ступню)

А н н а: (поджимая ноги) Но ведь ты любишь, чтоб следок ноги был длинный и узкий.

Ф е д я: (подозрительно) Откуда ты это взяла?

А н н а: Из твоих романов.

Ф е д я: Одно дело романы, другое — жизнь. Впрочем, ты жизни еще не знаешь, а то б ни за что не связалась с таким беспутным старым грешником, как я. Ты небось уже жалеешь, что за меня вышла?

А н н а: Это неправда, неправда! Просто мне кажется, что ты меня не любишь.

Ф е д я: Что за вздор, Аня! Конечно, я тебя люблю.

А н н а: Правда, любишь?

Ф е д я: Конечно, правда. Дай я тебя поцелую и спи.

Целует Анну и садится к столу. Анна засыпает, Федя пишет. Полина подходит и склоняется над его плечом.

П о л и н а: Ты ведь только что уверял, что любишь меня!

Ф е д я: Тебя я люблю иначе.

П о л и н а: Как?

Ф е д я: Если б ты приказала мне броситься вниз со скалы, я бы бросился. Если б даже для шутки одной приказала, если б с презрением, с плевком сказала — я бы и тогда бросился.

А н н а: (внезапно просыпаясь) Федя, ты бы мог из-за меня броситься вниз со скалы?

Ф е д я: (подходит к Анне и поднимает ее с постели, как маленькую) Хватит хныкать! Пошли гулять!

А н н а: Куда пойдем?

Ф е д я: (ведет Анну за руку) Ну хоть в парк — там вечером музыка, а пока пойдем в тир, может, постреляем из ружья.

Федя ведет Анну правой рукой, входит в парк. Полина держится за его левый локоть. Они входят в тир.

А н н а: Посмотри, как этот немец у прилавка прекрасно стреляет (хлопает в ладоши) Bravo! Bravo! Вон железный турок опять выскочил из-под пола. И негр! И гусар! Ах, какой он отличный стрелок!

П о л и н а: Ну-ка, Федя, покажи, на что ты способен!

Ф е д я: А ну-ка и я попробую. (берет ружье)

А н н а: Ой, Федя, ты что? Ты ж не попадешь!

Ф е д я: (сердито) Не попаду, по-твоему? Сейчас я тебе докажу!

Стреляет, из-под пола выскакивает гусар.

Ну что, не попал? А теперь, того негра!

Стреляет, негр падает.

Ну что, не попал? А теперь турка!

Стреляет, железный турок появляется из-под пола.

Ну что, не попал? И еще раз турка! И негра! И опять турка!

Стреляет очень метко, возбуждаясь от этого все больше. Анна при каждом метком выстреле бурно выражает свой восторг.

Ну что, не попал? Не попал? Ну, будешь еще говорить, что я не попаду?

А н н а: Ой, Феденька, миленький, прости. Я ведь не знала, что ты такой хороший стрелок!

Ф е д я: Не знаешь, не говори под руку! Не говори! (стреляет)

А н н а: (робко) Может, хватит? У нас ведь на обед не останется.

Ф е д я: (в исступлении) Ага, теперь тебе денег жалко! Нет уж, я должен теперь доказать, кто лучше стреляет — я или тот господин, на которого ты залюбовалась! (стреляет, попадает)

П о л и н а: (аплодирует Феде) Правильно, покажи ей, — пусть знает, за кого вышла!

Ф е д я: (Анне) Ну, скажи — кто лучше? (стреляет, попадает)

А н н а: Ты, Феденька, ты!

Ф е д я: Нет, ты еще скажи, еще! (стреляет, попадает) Вот так, вот так, чтоб не сомневалась в муже! (стреляет)

П о л и н а: (затыкая уши) Хватит, Федя — голова раскалывается! И на концерт опаздываем, пошли! (идет к выходу)

Федя отбрасывает ружье и спешит за ней. Он почти бегом выходит из тира. Анна бежит за ним по аллее, едва поспевая.

Ф е д я: (Анне) Возьми меня под руку, а то опоздаем.

А н н а. (берет его под руку) Мне приятно идти с ним под руку, хоть для этого мне приходится почти бежать, так как его шаги гораздо больше моих.

Ф е д я: Ну, теперь ты убедилась?

А н н а: Убедилась, миленький, убедилась.

Ф е д я: В чем именно ты убедилась?

А н н а: В том, что мой дорогой муж — лучший стрелок в мире.

Ф е д я: Совсем не в том.

А н н а: А в чем же?

П о л и н а: Скажи ей, скажи!

Ф е д я: В том, что всякая жена — естественный враг своего мужа.

Федя и Анна входят в зал-ресторан и садятся за столик, Полина прохаживается за спиной у Феди.

А н н а: Мы попросили пиво по 2,5 зильбергроша за кружку — ужасно дорого, но иначе нельзя, если хочешь слушать музыку. Федя все еще дуется на меня из-за истории со стрельбой и не хочет со мной разговаривать: все время молчит и сердито на меня щурится. Так как я просто не знаю, что делать, я заказала себе чашку кофе.

Пока Анна наливает сливки в кофе, Полина склоняется к Феду и шепчет что-то ему на ухо.

Ф е д я: Что это ты сегодня так швыряешься деньгами? По лотерейному билету выиграла?

А н н а: Знаешь, сколько мне надо было бы выиграть? На платье в подарок маме — 8 талеров, брату какой-нибудь подарок — 4 талера, и на посылку этого им в Петербург. Сколько бы это доставило им радости!

П о л и н а: (склоняясь к уху Феди, доверительно) Слишком уж проста твоя Брылкина, даже для стенографки! Тяжело тебе с ней после меня!

Ф е д я: (Анне) Хорошо тебе живется, если 30 талеров могли бы составить твое полное счастье!

А н н а: Увидев, что он все еще сердится, я решила обратить все в шутку. (Феде, под музыку) Послушай, эта музыка удивительно подходит к нашей ссоре: один голос тихий, нежный, это я — уговариваю тебя бросить сердиться (напевает тихо) "Феденька, миленький, прости меня, пожалуйста!" А другой сердитый, бранчивый, — это ты: всем недоволен, ни за что простить не хочешь. (напевает) "Нет, не прощу, ни за что, ни за что! Нет ни за что, ни за что не прощу!"

Ф е д я: (смеется) Ну, ты у меня придумаешь, фантазерка! (Полине) Видишь, не так уж она проста.

А н н а: (напевает) Феденька, миленький, прости меня, пожалуйста!

Ф е д я: (присоединяется) Нет, не прощу, ни за что, ни за что! Нет, ни за что, ни за что не прощу!

Федя и Анна продолжают, весело смеясь, негромко петь. Полина пожимает плечами и презрительно отворачивается. Заметив, что Полина не следит за ним, Федя украдкой целует Анну и тянет ее за руку к выходу. Полина замечает это и спешит за ними.

Ф е д я: (Анне, на ходу) Ты, наверно проклинаешь меня, да? Сознайся, проклинаешь?

А н н а: Я — тебя? За что?

Ф е д я: За то, что у меня нет денег! За то, что я — старый, грешный и нищий! (падает перед Анной на колени) Прости меня, ангел мой, Аннушка, прости!

А н н а: (поднимает его) Встань, Федя. Мне нечего тебе прощать, ты ни в чем передо мной не виноват.

Ф е д я: Ах, если бы я был один! Мне бы это было не так страшно!

А н н а: Ты хотел бы быть один? Без меня? Я тебе мешаю?

Ф е д я: Нет, нет, совсем не то. Конечно, я бы хотел всегда быть с тобой. Но именно из-за тебя я несчастлив: страшно подумать, что станет с тобой, если меня посадят в тюрьму за долги!

А н н а: Что же делать?

Тем временем они приходят к вокзалу. Подходит поезд.

Ф е д я: Я решил съездить в Гомбург, встретиться с моим издателем, он приезжает туда на воды. Может мне удастся получить с него хоть какие-то деньги как аванс за мой новый роман.

Раздается звон колокольчика, Федя бежит к поезду и вскакивает в вагон на ходу.

А н н а: Боже, ты уезжаешь! Мы даже не успели проститься!

Ф е д я: (расставляет 2 пальца) Всего 2 дня и все!

А н н а. (бежит за вагоном, плача) Люблю! Люблю! Люблю!

Федя входит в вагон и садится у окна. Полина входит за ним и садится рядом.

П о л и н а: Хорошо, ничего не скажешь! Сбежал от молодой жены!

Ф е д я: Наше положение ужасно! А тут надежда — вдруг мой издатель заплатит вперед.

П о л и н а: Оставь эти речи для своей стенографки — а я тебя насквозь вижу. Тебе не деньги нужны, а предлог от нее сбежать. Ведь наскучила она тебе своей кротостью, признайся?

Анна бежит все медленней, пока не оказывается у почтамта.

А н н а: Предчувствие подсказывает мне, что будет письмо от нее. (заходит и выходит с письмом) Я оказалась права: мне подали письмо и я сразу узнала ее почерк. Как хорошо, что письмо пришло без Феди и я смогу его прочесть.

Анна входит в свою комнату с письмом в руке.

А н н а: Мне так нехорошо, что я даже не могу это письмо вскрыть, так у меня дрожат руки. Щеки у меня горят, грудь стискивает, слезы застилают глаза. (берет ножик, осторожно вскрывает письмо и читает) Дорогой друг, Федя! Ну как тебе живется с твоей Брылкиной? (опускает письмо) Не понимаю, почему ей вздумалось всякий раз называть меня Брылкиной, когда она отлично знает, что моя фамилия — Сниткина?

Полина в поезде подхватывает, обращаясь к Феде.

П о л и н а: Может, твоя Брылкина не так требовательна, как я?

Ф е д я: Почему ты называешь ее Брылкиной, когда ты отлично знаешь, что ее фамилия — Сниткина?

П о л и н а: Неважно, Брылкина ли, Сниткина ли, но она прощает твои недостатки и слабости, которые никакой ум не мог заставить меня забыть. Зачем, зачем ты позволил мне разочароваться в тебе?

Ф е д я: Я — такой, какой есть. И ты любила меня таким.

П о л и н а: Может, все дело в том, что когда-то ты казался мне совершенством.

Ф е д я: Чем я виноват? Я тебя любил. И сейчас люблю.

П о л и н а: Я знаю. Но ты прятал от всех свою любовь и встречался со мной тайно, стыдясь наших отношений.

Ф е д я: Как ты несправедлива! Ты ведь с самого начала знала,

что я был женат, и что жена моя Маша — ныне покойница, — лежала при смерти и я не смел причинить ей боль.

П о л и н а: Ну и что? Ведь я тебе отдалась, не спрашивая, не рассчитывая, и ты должен был так же поступить.

Ф е д я: Что же я по-твоему должен был сделать?

П о л и н а: Развестись с ней.

Ф е д я: Но ведь она умерла! И вскоре умерла.

П о л и н а: Но к тому времени, как она умерла, я тебя уже разлюбила.

Ф е д я: Тебе нравится терзать меня. Мне кажется порой, что ты меня ненавидишь.

П о л и н а: Да, иногда ненавижу — ты так много заставил меня страдать! И все же душа моя, как и твоя, болит при мысли, что мы больше не увидимся. Кто знает, может, я надумаю приехать повидаться с тобой. Все же я тебя когда-то любила!

А н н а: (откладывает письмо) А вдруг она и вправду захочет приехать? Я знаю, она совсем не любит Федю, но она может захотеть забрать его у меня. Мне рассказывали, что она на все способна.

Поезд с Полиной и Федей скрывается за поворотом. Анна выходит на улицу под зонтом. Она приходит на вокзал, — приходит поезд за поездом, но Феде нет.

А н н а: Я не могу оставаться дома, мне там ужасно тоскливо. Я с раннего утра пошла на вокзал по такому сильному дождю, когда хороший хозяин и собаку не выгонит. Меня мучит мысль о письме этой женщины: а что если она и впрямь надумала приехать и тайно сговорилась с Федей встретиться в Гомбурге?

Пришел поезд, за ним другой, но ни один не привез Федю. Я очень проголодалась и грустные мысли измучили меня: а вдруг Федя встретился с этой женщиной, полюбил ее опять и решил ко мне не возвращаться!

Появляется поезд с Федей и Полиной, они выходят на платформу и идут по перрону рука об руку...

А н н а: Я уже потеряла всякую надежду, как вдруг увидела Федю.

Анна бежит навстречу и со слезами бросается Феде на шею.

Ф е д я: Ну что ты, Аннушка!, что ты плачешь?

А н н а: Я уже не надеялась тебя увидеть!

Федя и Анна идут вдвоем под зонтом. Полина обгоняет их, быстро входит в квартиру и достает из ящика стола свое письмо. Как только Федя входит, она показывает ему письмо.

Ф е д я: (Анне) Были мне письма?

А н н а: Письма? (волнуясь) Ах да, тут тебе пришло письмо.

Ф е д я: (хватая письмо) Почему ты раньше не сказала?

А н н а: Я не знаю... я забыла...

Федя достает письмо из конверта, Полина читает его вслух.

П о л и н а: Дорогой Федя! Ну, как тебе живется с твоей Брылкиной?

А н н а: Как он побледнел! Похоже он совсем не в восторге от этого глупого письма.

П о л и н а: (Феде) Может, она не так требовательна, как я, и прощает твои недостатки и слабости, но моя беда в том, что когда-то ты казался мне совершенством. Зачем, зачем ты позволил мне разочароваться в тебе?

Ф е д я: (Полине) Чем я виноват? Я тебя любил и сейчас люблю.

А н н а: Руки у него дрожат. Он смотрит на страницу, словно не понимая, что там написано. (Феде) Федя, что пишет твоя племянница?

Ф е д я: С чего ты взяла, что это от племянницы?

А н н а: А от кого же?

Ф е д я: (начинает перечитывать письмо) Ты не знаешь.

А н н а: Что-нибудь важное?

Ф е д я: Нет, нисколько.

А н н а: Так чего ты перечитываешь, если не важное?

Ф е д я: (в крайнем раздражении) Ты что за мной следишь? Перечитываю, не перечитываю, это мое дело!

А н н а: (со слезами) Если ты приехал, чтобы на меня кричать, мог бы вовсе не приезжать! (уходит, хлопнув дверью)

П о л и н а: (Феде) Ты пишешь, что душа твоя болит при мысли, что мы больше не увидимся.

Федя поднимается и бродит по комнате, словно что-то ищет. Теперь Анна следит за Полиной и Федей словно из другого мира.

П о л и н а: Кто знает, — может, я надумаю приехать повидаться с тобой. Все же я тебя когда-то любила.

Ф е д я: Я до сих пор не понимаю, как ты могла разлюбить меня!

П о л и н а: Зачем ты так поздно приехал тогда в Париж? Полгода ты тянул с приездом: писал мне, что жаждешь встречи со мной более всего на свете, а при этом всегда находил дела более важные, более неотложные.

Ф е д я: Но у меня и впрямь были неотложные дела.

П о л и н а: О да! Ты вел себя со мной, как человек серьезный, занятой, всегда при своих интересах.

Ф е д я: Не говори так, милая. Я стремился к тебе, как безумец. Ах, как ты умела любить — без сомнений, без колебаний!

П о л и н а: А вот как разлюбила, так все и зачеркнула — без сожалений, без колебаний.

Ф е д я: Как ты могла, как?

П о л и н а: Помнишь, мое письмо к тебе в отель, в день твоего приезда в Париж? Встреча с тобой страшила меня и я решила написать тебе всю правду.

Ф е д я: Ввек этого письма не забуду. Ты писала: "Дорогой Федя. Ты едешь немножко поздно".

П о л и н а: (подхватывает) Еще недавно я ждала твоего приезда, но теперь все переменялось. Я люблю другого.

Ф е д я: (стучит кулаком по столу) Неправда! Неправда, ты не могла написать мне такое!

П о л и н а: И еще как могла!

Встрепанный, без шляпы Федя выбегает на улицу.

Ф е д я: (на бегу) Когда я спешил к тебе в Париж, не в силах поверить, что ты меня больше не любишь, я видел перед собой твое лицо, таким, каким знал его я один, — полным любви и нежности.

Федя подбегает к дому, сверяется с адресом на конверте и стучится в дверь. Полина стоит у окна.

П о л и н а: Я увидела тебя из окна, но не пошла тебе навстречу, а дождалась, пока тебя впустят и долго еще не решалась выйти. Мне было тебя очень жалко. И себя тоже.

Федя вбегает по лестнице, входит в комнату и мечется из угла в угол, поглядывая на дверь. Полина входит.

Ф е д я: Я считал минуты до встречи с тобой, но ты встретила меня холодно, как чужая.

Федя бросается к Полине, хочет ее обнять, она отстраняется.

П о л и н а: Я не думала, что ты приедешь. Ты получил мое письмо?

Ф е д я: (бросается на колени перед ней) Я должен все знать. Расскажи мне все или я умру.

П о л и н а: Встань. Ты как-то говорил, что я скоро смогу отдать свое сердце, а я отдала его по первому призыву, без борьбы, почти без надежды, что меня любят.

Ф е д я: (вставая) Я не понимаю. Что ты хочешь сказать?

П о л и н а: Чего тут не понять? Я люблю другого.

Ф е д я: Но этого не может быть — ведь ты так любила меня.

П о л и н а: Что ж раньше любила, теперь разлюбила.

Ф е д я: (пытаясь обнять ее, бормочет как безумец) Но так не бывает, так не может быть... ты не можешь вот так сразу, ни с того, ни с сего...

П о л и н а: Совсем не сразу. Когда я убежала от тебя в Париж, я думала, что можно еще что-то исправить, но потом поняла, что ничего исправить нельзя.

Ф е д я: Но ведь ты писала мне и звала.

П о л и н а: Просто я не могла сразу от тебя отказаться. Я все на что-то надеялась, но сердце мое было возмущено и ум встревожен.

Ф е д я: (хватает ее руки, прижимает к губам) Вот именно, ты еще передумашь, — это все ошибка встревоженного ума!

П о л и н а: (холодно) Оставь, Федя. Я ведь сказала: все конечно, я больше не люблю тебя.

Ф е д я: (в отчаянии) Значит — это правда и я потерял тебя? Кто же он, скажи! Он, конечно, молод и хорош собой?

П о л и н а: Какая разница? Главное — я люблю его.

Ф е д я: Скажи, ты отдалась ему совершенно, до конца?

П о л и н а: Не спрашивай, это нехорошо.

Ф е д я: Я умоляю, расскажи мне все!

П о л и н а: Я ведь сказала уже, что люблю его — разве неясно?

Ф е д я: Никогда, никогда не найдешь ты другого сердца, как мое! Скажи, ты счастлива?

П о л и н а: Нет.

Ф е д я: Любишь и несчастлива? Ты, такая прекрасная? Возможно ли это?

П о л и н а: Я думаю, он мало меня любит.

Ф е д я: Я знал, что потеряю тебя, — ты слишком прекрасна. Я тебя не виню. Ты по ошибке полюбила меня, а теперь ты свою ошибку поняла. Но ведь тот, другой, неужто он тебя не любит?

П о л и н а: Не знаю, так мне иногда кажется. Бывают минуты, когда я думаю, что могу его убить. Я даже нож припасла и всегда ношу с собой (достаёт из сумки нож) — вот он.

Ф е д я: Ты с ума сошла — себя губить!

П о л и н а: Я была много раз оскорблена теми, кого любила, и больше всех — тобой. Я все терпела, но на этот раз терпеть не хочу.

Ф е д я: Отчего именно теперь?

П о л и н а: Может, оттого, что я слишком сильно его люблю, страдания мои непереносимы. Если он и впрямь разлюбил меня, я советую ему прятаться от меня подальше: я особа некультурная и вполне варварка!

Ф е д я: Ну зачем тебе он, который тебя не любит, если рядом есть я!

П о л и н а: Ах, Боже мой, Федя, сколько раз я должна повторять, что прошлого не вернуть!

Ф е д я: Чего ж ты ждешь от других, если сама поступаешь жестоко?

П о л и н а: Как ты огорчаешь меня! Я мечтала, что ты будешь моим поверенным, моим другом, а ты считаешь, что я сама во всем виновата и должна за это страдать.

Ф е д я: Ну что ты, друг милый, — я всей душой тебе сочувствую, я плачу вместе с тобой. Или ты мне не веришь?

П о л и н а: Ну, не знаю... Если б я тебе сказала: убей этого человека, ты бы убил его?

Ф е д я: Да разве ты можешь такое сказать?

П о л и н а: А что, думаешь, не могу? Тебя пошлю, а сама в стороне останусь, — ведь ты сам не хотел, чтоб я себя губила!

Ф е д я: Я поражен, что ты так цинично и откровенно заявляешь свое право надо мной.

П о л и н а: Ах, так? Что ж, я обойдусь без тебя! Ты ведь че-

ловеі опасный: сперва убьешь по моему приказу, а потом меня придешь убить за то, что я смела тебе приказать. (холодно) Уходи, Федя, хватит.

Ф е д я: Не отсылай меня, Полина! Я — твой раб, я готов сделать все, что ты попросишь.

П о л и н а: Что ж, я рада. Когда мне понадобится, я попрошу.

Анна осторожно приоткрывает дверь и выглядывает: Федя стоит посреди комнаты, комкая письмо в ладони.

А н н а: Что с ним? Такой улыбки я еще никогда у него не видела — какая-то жалкая, потерянная улыбка.

П о л и н а: Жди, Федя: когда мне понадобится, я тебя позову.

Полина надевает Феде на глаза повязку и начинает играть с ним в прятки — он ищет ее по звуку шагов. Анна входит и смотрит, как Федя мечется по комнате.

А н н а: (после продолжительного молчания) Ты что-то ищешь?

Ф е д я: (как бы из другого мира) Ищу? С чего ты взяла?

А н н а: Мне показалось, ты что-то ищешь: бродишь, как неприкаянный.

Цокот каблучков Полины отдается за сценой эхом барабанного боя. Федя вздрагивает и прислушивается.

Г о л о с: (за сценой, торжественно) За участие в преступном заговоре против Государя-Императора Военный Суд...

Э х о: ...Военный Суд... Суд... Суд...

Барабанный бой приближаясь, становится все громче. Федя бросается к Анне, протянув вперед руки, как слепой.

Ф е д я: Аня, ангел мой, прости меня, ради Бога, прости!

Г о л о с: (за сценой, торжественно) ...приговорил отставного поручика Достоевского...

Э х о: ручика Достоевского... евского...евского...

Федя падает на колени перед Анной.

Ф е д я: (целуя руки Анны) Прости и спаси!

А н н а: От чего спасти, Феденька?

Ф е д я: Ты слышишь? Барабаны грохочут! (цепляется за нее)
Не впускай их, Аня! Не отдавай меня им!

Полина отбивает чечетку. Барабанный бой нарастает. Федя в ужасе затыкает уши, но барабанный бой не стихает.

Г о л о с: (за сценой торжественно) ...к смертной казни...

Э х о: Казни... казни... казни...

Г о л о с: (за сценой, торжественно) ...расстрелянием.

Э х о: ...расстреля ...расстреля... расстреля...

Федя со страшным криком падает на пол, судорога сводит его тело.

А н н а: (на коленях перед ним) Я не впущу их, Федя! Ты слышишь, я никому тебя не отдам! Никому! (бережно поднимает его с пола и снимает с его глаз повязку). Давай пойдем куда-нибудь! (с напускным весельем) Например в Королевскую картинную галерею — посмотрим Сикстинскую Мадонну. Ты назвал ее недавно величайшим проявлением человеческого гения.

Анна ведет Федю в картинную галерею. Пока Федя тащит Анну за руку к Сикстинской Мадонне, Полина протискивается в раму картины.

Ф е д я: Пойдем поближе, я после припадка всегда плохо вижу. Что они тут столпились, идиоты! Не дают подойти.

А н н а: Давай возьмем зрительную трубу, через нее лучше видно.

Ф е д я: (раздраженно) Сколько раз повторять, что я терпеть не могу смотреть великие полотна через какие-то мерзкие трубы!

А н н а: (шопотом) Тише, тише, все на нас оборачиваются.

Ф е д я: Ну и пусть! Может, это их распугает и они уйдут отсюда!

Федя оглядывает стулья, расставленные полукругом перед картиной. В центре полукруга стоит, отделенное от других, мягкое позолоченное полукресло, обитое цветным шелком.

Ф е д я: Ты заметила-этот стул, золоченный, в центре? Почему на нем никогда никто не сидит?

А н н а: Наверно, это какая-нибудь историческая ценность.

Ф е д я: Что с того, что ценность — стул не должен пустовать, раз он тут стоит.

Федя подходит ближе, Анна остается позади.

Ф е д я: (громко) Аня, ты где? Ты зачем меня бросила?

А н н а: (смущенно) Я все же пойду, возьму трубу. (отходит).

Федя подходит вплотную к картине и рассматривает ее, закидывая голову и щурясь. В картинной раме стоит Полина.

Ф е д я: Полина, ты? Как ты там оказалась?

П о л и н а: Ты ведь всегда говорил, что я похожа на Мадонну.

Ф е д я: (бормочет) Конечно, похожа, я не спорю... Но все же здесь, в галерее...

П о л и н а: Ты всю ночь думал обо мне, правда? (манит Федю к себе) Поди сюда поближе.

Федя неуверенно делает шаг вперед к картине.

П о л и н а: Нет, это далеко. Стань на стул.

Федя испуганно оборачивается, замечает отсутствие Анны.

Ф е д я: (кричит) Аня! Аня! Где ты?

П о л и н а: Что ты зовешь ее, думаешь она тебе поможет? Давай, становись на стул, ты же обещал выполнить все, что я попрошу.

Федю начинает бить дрожь. Он решительно идет к стулу, взбирается на него и стоит закрыв глаза. Полина аплодирует.

Ф е д я: Если ты Мадонна, где же младенец?

П о л и н а: Младенца я отдала людям, он ушел в мир, чтобы страданием искупить грехи человечества.

Появляется Анна со зрительной трубой, через которую она рассматривает картину. Какой-то шум отвлекает ее внимание от картины, она опускает трубу и видит Федю на стуле.

А н н а: (в ужасе) Господи, что это? Федя! (бросается к нему)

П о л и н а: Вон, явилась твоя стенографка, сейчас будет тащить тебя со стула — она ведь ужас как дорожит общественным мнением.

А н н а: (подходит к Феде и умоляет) Федя, сойди, ради Бога! Пожалуйста, Феденька!

Ф е д я: (с яростью) Я хочу рассмотреть картину! Это мое право!

А н н а: Вон слугитель, он тебя сейчас прогонит.

Федя неохотно сходит со стула и дает Анне увести себя.

А н н а: (на ходу, ласково-испуганно) Пойдем отсюда, Бога ради!

П о л и н а: (вслед) Так я и думала, что ты в конце концов трусишь!

Федя отталкивает Анну и поворачивает назад к стулу.

Ф е д я: Никуда я не пойду! Пусть меня силой выведут, но я сегодня должен еще раз посмотреть на Мадонну!

А н н а: (со слезами) Я прошу тебя, Феденька!

Ф е д я: (исступленно топает ногами) Прочь от меня! Прочь! Прочь!

Анна отшатывается и быстро выходит из зала. Федя, не глядя по сторонам, решительно вскакивает на стул и стоит там, Полина протягивает ему руку из рамы. Он ее целует. В момент поцелуя между ними пробегает искра, вроде молнии.

П о л и н а: Вот теперь ты молодец, можешь сойти.

Ф е д я: Спасибо, друг вечный. Сейчас меня озарила идея, нахлынула внезапно. Я напишу о русском Христе. Это будет великолепный роман, лучше "Преступления и наказания".

Федя сходит со стула и идет к двери, где его ждет Анна, она берет его за руку и уводит. Он плетется за ней обессиленный, почти висит на ее руке. Они выходят на улицу.

Ф е д я: (в трансе) Аня, меня озарила идея нового романа. О русском Христе, готовом на совершенно сознательное и никем

не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех. Ты понимаешь, он будет такой странный, больной, скрытный, что его назовут Идиотом. Там будет убийство, страшное, кровавое, — из-за любви. (хватает ее за руки) Это будет великий роман, ты веришь мне, Аня?

А н н а: Конечно, миленький мой Федя, это будет великий роман.

Они возвращаются в свою комнату. Федя садится к своему письменному столу, Анна — в кресле рядом с ним и тут же засыпает. Картина на стене превращается в зеркало, из рамы которого за ними следит Полина.

Ф е д я: Вот послушай, Аня! Главные черты характера Идиота: забитость, приниженность, смирение. Полное убеждение про себя, что он идиот. Но когда сердце и совесть говорят ему: "Нет, это так", он делает вопреки мнению всех. Грехи других он всегда извиняет. И этим он силен. Ведь смирение — самая страшная сила, какая только может на свете быть! Аня!

Анна вздрагивает и с трудом открывает глаза.

Ф е д я: Ну, как тебе это?

А н н а: (сонно бормочет) Да, да, очень.

Ф е д я: (берет ее за подбородок) Что очень? Ты слышала, что я прочел?

А н н а: Конечно, слышала.

Ф е д я: Ну, повтори, раз слышала.

А н н а: Ну... ты прочел... ты прочел... (испуганно) Не помню.

П о л и н а: Ей вовсе неинтересно!

Ф е д я: Ты спала, сознайся?

А н н а: Что ты, Федя, я вовсе и не думала спать.

Ф е д я: Ну тогда слушай!

Отпускает подбородок Анны, голова ее тут же падает на стол и она засыпает.

Ф е д я: (читает) Главные черты характера Идиота: забитость, приниженность, смирение. Полное убеждение про себя, что он идиот. Но когда сердце и совесть говорят ему: "Нет, это так"... (замечает, что Анна спит) Аня, ты опять заснула?

А н н а: (быстро открывает глаза) Нет, Феденька, я вовсе не сплю.

Ф е д я: Тогда повтори, что я сейчас прочел.

А н н а: (напрягаясь) Я опять забыла!

Ф е д я: Если тебе неинтересно, что муж пишет, так иди в спальню и ложись спать.

А н н а: (бормочет) Мне интересно. (засыпает)

П о л и н а: Что ты от нее, бедняжки, хочешь? Куда ей до твоих идей с ее умишком?

Ф е д я: (Полине) Ты неправа! Просто она устала! (трясет Анну за плечо) Аня, не спи, послушай, что я написал.

А н н а: (открывая глаза) Я слышала, я все слышала.

Ф е д я: Что же ты слышала, интересно?

А н н а: Ну, твой новый замысел, про русского Христа...

Ф е д я: Ты это сейчас слышала?

А н н а: Ну да, сейчас. Все считают, что он идиот...

Ф е д я: Как ты могла это услышать, если я ничего не читал?

А н н а: (упрямо) Не знаю, как — но я слышала. Может я мысли твои читаю?

Ф е д я: Ладно, так слушай. (читает) Главные черты характера Идиота: забитость, приниженность, смирение...

Анна опять засыпает к великой радости Полины.

П о л и н а: Ты убедился? Ей до смерти скучно!

Федя перестает читать и начинает бегать из угла в угол, бормоча что-то про себя. Он пинает тумбочку с посудой, посуда со звоном рассыпается по полу.

А н н а: (просыпаясь) Федя, что с тобой? Что ты мечешься?

Ф е д я: Тебе-то что? Что тебе до меня? (кричит) Я страдаю, да — страдаю! У меня сердце кровью обливается, а тебе и дела нет.

А н н а: Феденька, миленький, что ты говоришь?

Ф е д я: Как ты можешь уснуть, когда я тебе свой замысел читаю? Ты хочешь показать мне что это слушать скучно? (с ненавистью) Ты мне враг, враг, злейший враг!

А н н а: (плачет громко, как ребенок) Это неблагородно, так говорить мне! (рыдает) Я не хочу жить, если ты так обо мне говоришь!

Ф е д я: (падает на колени и ползет к ней) Аня, Аннушка, ангел мой светлый, прости меня, прости! (хватает ее за руки и покрывает их поцелуями) Ты простила меня, простила?

А н н а: (всхлипывая) Бог с тобой, но больше никогда не называй меня врагом.

Ф е д я: Ты не простила, я вижу! (поднимается с пола, садится с ней рядом и начинает ей целовать шею и плечи все более страстно) Не простила, скажи?

Полина фыркает презрительно. Поглядев на Полину, Федя снимает с себя рубашку и вешает ее на зеркало, закрывая лицо Полины.

А н н а: (успокаиваясь) Ты причинил мне боль!

Ф е д я: (целует ее исступленно, повторяя) Боль, я причинил боль моей Аничке, боль моему ангелу, я сделал ей больно. Ну как, теперь не болит? (начинает раздевать ее) Где болело, покажи?

А н н а: (показывая на грудь) Тут.

Ф е д я: (целует ее грудь) Тут болело.

А н н а: (показывает на другую грудь) И тут.

Ф е д я: (целует другую грудь) И тут, и тут, и тут, и тут (целует то одну, то другую грудь) Я сделал своей Аничке больно. Сейчас я ее вылечу.

ЗАТЕМНЕНИЕ

Анна и Федя спят. Анна во сне стонет и кричит, Федя просыпается и в страхе будит ее.

Ф е д я: Аня, Аннушка, проснись, что с тобой?

А н н а: (открывая глаза, обхватывает Федину шею руками) Ты жив! Слава Богу, жив! Значит, мне это снилось!

Ф е д я: Что же это было?

А н н а: Какой страшный сон! Будто какой-то юноша... конечно, это был твой пасынок Паша, как я сразу не узнала? Так вот — Паша за тобой заходит, чтобы куда-то ехать вместе за деньгами: там, он говорит, ты обязательно выиграешь. А я бегу следом и умоляю тебя не ехать, так как знаю точно, что вас по дороге убьют. Ах, как я рада, что это был сон!

Ф е д я: Куда же я поехал?

А н н а: Не скажу.

Ф е д я: (целует ее) Ну, скажи, скажи, упрямца.

А н н а: Ты отправился на рулетку.

Ф е д я: (в волнении) Ты не просто жена, Аня, ты не просто хорошая жена, ты ангел, посланный мне Богом! Как ты могла угадать мои тайные мысли? Такие тайные, что я даже себе боялся их открыть. Да, да, на рулетку: в Баден-Баден, надолго, чтоб я мог сосредоточиться и все рассчитать! Ты увидишь, я выиграю и мы выскочим из наших бед! Ты веришь мне, Аня?

На заднем плане проступает облик Баден-Бадена — лабиринт каменных лестниц, круто взлетающих вверх и сбегаящих вниз навстречу друг другу, над которыми бешено вертятся ярко освещенные колеса рулетки. Анна, оставляя Федю на нижней площадке, поднимается, словно взлетая, вверх по лестнице.

А н н а: (на ходу) Я верю, верю, верю!

П о л и н а: (опускаясь с противоположной стороны) Ты решил повторить с ней маршрут нашего путешествия?

Теперь Анна следит за Полиной и Федей из другого мира.

Ф е д я: О Полина, это было страшное время! Ты знала, что я люблю тебя до безумия, и при этом посвящала меня во все подробности твоей несчастной любви.

П о л и н а: Мне нравилось говорить с тобой о моей любви, это облегчало мои страдания.

Ф е д я: Вид моих страданий облегчал твои?

П о л и н а: Если хочешь, да. Теперь мы, по крайней мере, в расчете.

Ф е д я: Несмотря на всю эту муку, я хотел быть с тобой. И я предложил тебе поехать путешествовать вместе, как мы собирались раньше. Ведь мы остались друзьями, не правда ли?

П о л и н а: Путешествовать с тобой по Европе? Не знаю, не знаю, вряд ли.

Ф е д я: (умоляюще) Ты не хочешь оставаться со мной наедине, ты не веришь мне? Я клянусь, что буду тебе как брат — ведь мне все равно не на что надеяться.

П о л и н а: Ах, при чем тут ты? Не в тебе дело. Просто мне очень грустно уезжать из Парижа: я приехала сюда с любовью и с надеждой и все тут потеряла. Мне кажется, я больше никогда никого не полюблю.

Ф е д я: Поедем, Полина, друг мой вечный! Я буду беречь тебя, я буду твоим рабом и твоим слугой.

П о л и н а: Я думаю еще год назад я сама осудила бы себя за эту поездку с тобой, раз ты меня любишь, а я тебя нет. Но теперь я себя не осуждаю — из-за тебя я потеряла веру в любовь, ты должен заплатить за это. Готов ли ты на это?

Ф е д я: Я готов на все. Я хочу быть рядом с тобой, иначе я умру.

П о л и н а: Но ты понимаешь, что между нами все, все кончено? Если я и поеду с тобой — это ничего не значит, я никогда больше не буду твоей!

Ф е д я: Да, да, я ни на что не надеюсь! Ты веришь мне, Полина?

П о л и н а: (уходя вверх в сторону противоположную Анне) Верить тебе? Ну уж нет!

Ф е д я: (мечется по сцене, простирая руки то к одной, то к другой) Верь мне, Полина, мне очень надо, чтоб ты мне верила. Верь мне, Аня, мне очень надо, чтоб ты мне верила. Ты веришь мне, Полина? Ты веришь мне, Аня? Ты веришь мне, Полина? Ты веришь мне, Аня? (сбиваясь путает имена. Полине) Ты веришь мне, Аня? (Анне) Ты веришь мне, Полина?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Федя и Анна едут в поезде. На заднем плане проступает подернутый туманом силуэт Баден-Бадена.

А н н а: Итак, мы едем в Баден-Баден. В вагоне у Федя была ссора с соседом из-за места у окна. Я с трудом удержала его от драки.

Ф е д я: До чего я дожил! Бывший каторжник, за сорок перевалил, на лбу залысины, зубы гнилые, а ни денег, ни положения, — любой мальчишка может позволить себе со мной...

Полина входит в вагон на ходу и садится у окна напротив Анны. На ней ночная сорочка, ноги босые, волосы распущены. Федя вздрагивает, Анна ее не видит.

Ф е д я: ...позволить себе меня..!

А н н а: Оставь, Феденька, что тебе в нем?

Ф е д я: (дрожит) О, я знаю этот взгляд, которым он меня

смерил — полный превосходства! Так смотрел на меня начальник сибирской тюрьмы, когда приказал пороть меня розгами.

А н н а: Это было очень больно?

Ф е д я: Дело не в боли, Аня, не в боли, а в унижении. Когда с тебя сдирают одежду и привязывают к скамье, а ты извиваешься у них в руках, как червь и молишь о пощаде... (в трансе) ...ведь ты и есть червь, а он — господин и может с тобой сделать, что угодно... Сейчас я убью его!

А н н а: Тише. Он на нас смотрит.

Ф е д я: (поднимается) Сейчас я спрошу его, как он смеет смотреть!

А н н а: Умоляю тебя, оставь, он ничего тебе не сделал.

Ф е д я: Я знаю, тебе приятно было видеть, как этот мальчишка оскорблял меня! О, какой ты мне враг, Анна, ты рада видеть мои унижения!

А н н а: (встает) Если ты не можешь выносить мое присутствие, я лучше выйду.

Ф е д я: (усаживает ее силой) Никуда ты не выйдешь!

А н н а: (тихо) Хорошо, Феденька, если ты хочешь, я останусь.

П о л и н а: Да, она не то, что я! Ты об нее ноги вытирать можешь, а она только скажет "Спасибо, Феденька!"

Ф е д я: Боже, Анна, ну рассердись хоть раз! Возмутись за то, что я тебя мучаю!

П о л и н а: (смеется) Уж, кому, как не тебе, знать, что человек любит быть мучителем!

А н н а: Что ты хочешь, чтоб я сделала?

Ф е д я: Перестань угнетать меня своим благородством! Закричи на меня, затопай ногами!

А н н а: Знаешь, когда я первый раз тебя увидела, я подумала, что навряд ли сойду с тобой в работе. И мне стало очень грустно — ведь я так мечтала работать с автором "Преступления и наказания"!

Ф е д я: Чем же я так тебе не понравился?

А н н а: Рубашка на тебе была грязная, волосы нечесаны и ты никак не мог сосредоточиться. Ты все время курил, часто бросая недокурные папиросы.

Ф е д я: Ты ожидала увидеть совсем другого человека?

А н н а: Я знала твое имя с детства. Когда я вошла в твой подъезд, я сразу узнала лестницу, по которой Раскольников поднимался, чтобы убить старуху.. А когда я спускалась по этой

лестнице после нашей первой встречи, сердце мое съежилось от огорчения.

Ф е д я: Как же ты потом переменяла свое мнение?

А н н а: Я поняла, что ты нервный, потому что несчастный и всеми заброшенный, и чувство глубокого сострадания зародилось в моем сердце.

Ф е д я: Так ты вышла за меня из жалости?

А н н а: (смеясь) Нет, из самодовольства — мне кажется, я действую благотворно на твоё настроение и это возвышает меня в собственных глазах.

Ф е д я: С чего ты взяла, что действуешь благотворно?

А н н а: Вот я тебе сейчас докажу. (кладёт его голову себе на плечи и напевает) Баю-баюшки-баю, баю деточку мою.

Баю-бай, баю-бай, спи мой Федя, засыпай!

Федя засыпает. Силуэт Баден-Бадена выступает отчетливей.

П о л и н а: (Феде) Почему ты решил везти свою Брылкину именно в Баден-Баден? Не потому ли, что ты был там со мной?

Федя пересаживается к Полине.

П о л и н а: (касаясь его руки) Помнишь, что ты сказал, когда наш поезд подъезжал к этой станции?

Ф е д я: Это замечательно, что ты решительно оставила Париж. Честно говоря, я на это не надеялся.

П о л и н а: Только не вздумай строить на этом напрасных надежд — что было, то прошло и быльем поросло!

Ф е д я: (целуя ее руки) Ты говоришь сурово, а улыбка у тебя коварная, дразнящая, обещающая улыбка.

П о л и н а: (вырываясь) Оставь! Ты же клялся, что будешь мне как брат!

Ф е д я: Я хочу быть как брат, но когда я рядом с тобой, у меня голова кругом идет.

П о л и н а: Ты хочешь, чтобы я тут же забрала свой чемодан и уехала?

Ф е д я: Нет, нет, друг мой, не покидай меня! Я просто хочу быть рядом с тобой, видеть тебя, слышать твой голос, касаться твоего платья — мне ничего более не надо, клянусь!

Федя пересаживается к Анне, кладет голову ей на плечо и засыпает. Во сне он стонет.

А н н а: Я в тревоге смотрю на приближающийся город, предчувствуя, что жизнь готовит мне тяжелые испытания.

Поезд останавливается. Федя, Анна и Полина выходят с поезда и блуждают в лабиринте лестниц Баден-Бадена, круто взлетающих вверх и сбегающих вниз навстречу друг другу. Над лестницами бешенно вертятся ярко освещенные колеса рулетки. Под лестничными арками и на лестничных площадках возникают попеременно детали комнат и пейзажи, в которых происходит действие. Полина идет впереди и манит Федю за собой — Анна ее не видит. Полина приводит Федю к скромному отелю.

Ф е д я: (Анне) Я тут останавливался. Отель очень приличный, а берут недорого.

Все трое поднимаются по лестнице.

А н н а: Нас проводили на 2-й этаж и показали две комнаты, одну маленькую за 5 франков, а другую побольше и с балконом, но дороже и темней. (Феде) Какую берем, Федя?

П о л и н а: (Феде) Ты помнишь, маленькую мы снимали для меня?

Ф е д я: (Полине) Неужто я могу это забыть? (Анне) Как ты решишь, так и будет.

А н н а: Я предпочитаю ту, что дешевле.

Полина смеется.

Ф е д я: А не слишком ли она тесна для нас?

А н н а: Ты ведь сказал, что я буду решать!

Ф е д я: (обреченно) Ладно, хочешь маленькую, возьмем маленькую.

Пока Анна и Федя располагаются в комнате, Полина ложится на постель. Закончив распаковывать вещи, Анна ложится рядом с Полиной, а Федя снимает с себя пояс с золотыми и серебряными монетами и раскладывает их на столе.

Ф е д я: Итого, у нас есть 50 золотых и 220 талеров. Ты не беспокойся, я не проиграюсь — я буду играть строго по системе.

А н н а: (сонно) Да, да, Феденька, я не беспокоюсь. (засыпает)

П о л и н а: Поди сюда, Федя, дай мне руку.

Ф е д я: (садится на постель рядом с Полиной) Ах, Полина, как давно я не держал тебя за руку!

П о л и н а: Ты не сердись на меня?

Ф е д я: Как я могу сердиться? Ты — светлая, прекрасная, я счастлив, что ты позволяешь мне сидеть с тобой рядом.

П о л и н а: Прости меня, что я была груба с тобой в Париже.

Ф е д я: Я прощаю, я все тебе прощаю. (вскакивает, запинаясь за ковер, останавливается, глядя на Полину безумными глазами, и снова садится на постель)

П о л и н а: А куда ты хотел идти?

Ф е д я: Я.. я хотел закрыть окно.

П о л и н а: Ну закрой, если хочешь.

Ф е д я: Ты не знаешь, что я сейчас пережил! Я хотел поцеловать твою ногу.

П о л и н а: (поджимая ноги) Что ты, зачем это?

Ф е д я: Мне так захотелось и я решил, что поцелую.

П о л и н а: Ничего ты не поцелуешь! И не смотри на меня так — мне неловко, когда ты так смотришь!

Ф е д я: А мне неловко не смотреть на тебя!

П о л и н а: Иди к себе, Федя, я хочу спать.

Ф е д я: Сейчас (хватает ее руку и страстно целует, бормоча) Я уйду, я сейчас уйду. Ты хочешь, чтобы я ушел?

П о л и н а: (не забирая руки) Ну ладно, посиди еще немного, только никаких фокусов. Ведь ты обещал!

Ф е д я: Ты улыбаешься так призывно! Ты вправду хочешь, чтобы я ушел?

П о л и н а: Я ведь сказала: посиди еще немного.

Ф е д я: (вскакивает) Но я не могу так, не могу! (выбегает)

П о л и н а: (зовет) Федя!

Ф е д я: (возвращается с надеждой) Ты звала меня? (опускается на колени перед постелью) Ты звала?

П о л и н а: Встань, Федя, не надо. Возьми свечу, у тебя ведь нет огня.

Ф е д я: Ты не хочешь, чтобы я остался?

П о л и н а: Мы ведь договорились, правда?

Ф е д я: Тогда не надо мне свечи! Я пойду на рулетку!

Федя подбегает к столу, набирает полную горсть монет и взбегает по лестнице к колесу рулетки.

Ф е д я: Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место

у стола. Клянусь, с той самой минуты, как я дотронулся до игорного стола, моя любовь отступила как бы на второй план.

Полина гасит свечу на ночном столике. Федя бросает монеты на колесо рулетки: в случае выигрыша они струятся ему в руки, в случае проигрыша падают в черную бездну за колесом.

Ф е д я: Не рассчитывая я поставил враз все мои деньги и выиграл и опять поставил все — и прежнее, и выигрыш — колесо закрутилось и вышел мой номер. Мне придвинули гору монет и я, словно в горячке, двинул всю эту кучу денег на красную — и вдруг опомнился! И только раз во весь этот вечер, во всю эту игру, страх пришел ко мне холодом и отозвался в руках и ногах. Я поставил на черное половину всего, что имел, и проиграл. Бешенство овладело мною, я схватил полную горсть и поставил так, на авось, без расчета и было одно мгновение ожидания, похожее, возможно, на впечатление, испытанное мадам Бланшар, когда она с воздушного шара летела на землю.

Полина выскальзывает из комнаты, скрип двери будит Анну.

А н н а: (в темноте) Федя! Где ты? (зажигает свечу, обходит комнату, пересчитывает деньги) Унес больше половины всех наших денег. Что же это будет, о Господи?

Полина медленно поднимается по лестнице к рулетке.

Ф е д я: Я уже не помню ни расчета, ни порядка моих ставок. Помню только, как во сне, что я то выигрывал, то проигрывал, но уже как-то механически, без мысли.

А н н а: (бежит по комнате, поминутно выглядывая из окна) Федя все нет и меня одолевает страшное беспокойство. Меня лихорадит, боюсь, что у меня жар. Что он там делает так долго?

Полина подходит к рулетке, останавливается у Федя за спиной и трогает его за плечо.

Ф е д я: У меня скопилась уже изрядная сумма. Тут бы мне и отойти, но во мне родилась какая-то странная дерзость, какой-то вызов судьбе, желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Голова у меня пошла кругом, и, подчиняясь неведомой внешней

силе, ведущей мою руку, я сгоряча выхватил из кармана все, что у меня есть, поставил на красное и проиграл. В глазах закружилось, закачалось, поплыло и я отошел от стола, как оглушенный.

Полина берет Федю за руку и уводит от рулетки, они медленно, словно танцуя, спускаются по лестнице.

П о л и н а: Я ждала, что ты вернешься! Я думала, ты и впрямь меня любишь!

Ф е д я: Но ты ведь прогнала меня!

П о л и н а: Что с того — я прогнала, а ты должен был ждать под дверью, если любишь! Но разве ты способен любить? Ты — игрок. Игрок! Игрок!

Полина бросает руку Феде и взбегает по лестнице, но крик ее "Игрок! Игрок!" звучит, повторяясь на разные лады, так что Федя затыкает уши, чтобы его не слышать, и спешит к своей комнате в отеле.

Ф е д я: (вбегая в комнату) Я не игрок! Не игрок! Это неправда, не верь, Аня! У меня просто нет другого выхода!

А н н а: Я беспокоилась, что тебя нет так поздно, Я уже хотела идти тебя искать.

Ф е д я: Я тоже все это время беспокоился о тебе, я рвался к тебе всей душой, но не мог оторваться от игры.

П о л и н а: (с лестницы) Игрок! Игрок! Игрок!

Ф е д я: Но вовсе не потому, что игра привлекает меня. Напротив, она мне отвратительна, но я все мечтал выиграть — сразу, одним махом, в один день, выиграть и уехать из этого проклятого места.

А н н а: И что же?

Ф е д я: И проиграл!

А н н а: (в ужасе) Проиграл?

Ф е д я: Все, что я взял со стола, все — до последнего гроша!

А н н а: Я так и знала!

Ф е д я: Ах, ты так и знала! Вот почему я проиграл — ты накликала, ты не верила, ты ждала моего проигрыша! Но я докажу тебе! Я пойду опять и отыграюсь! (сгребает оставшиеся монеты)

А н н а: Конечно, ты отыграешься, Феденька, но лучше завтра. Уже очень поздно, ты устал, у тебя руки дрожат.

Ф е д я: Ты не понимаешь, Аня! Я все равно не усну, буду всю ночь терзаться из-за этого проигрыша. Так что я лучше пойду сейчас.

А н н а: А я опять останусь одна?

Ф е д я: (сажает ее к себе на колени) Бедная моя малышка, ну потерпи немного —пусти меня сейчас, а потом мы станем жить тихо и мирно вдвоем. Как будет хорошо!

А н н а: Ладно, иди, Федя, иди, дорогой, раз ты так хочешь.

Ф е д я: Вот и хорошо, я теперь обязательно выиграю, раз ты меня сама посылаешь.

А н н а: Ведь ты не веришь всерьез, что ты из-за меня проиграл?

Ф е д я: Конечно, нет, это все кошелек, он и в Гомбурге не принес мне счастья! (швыряет кошелек на пол) Прочь его!

А н н а: Возьми мой кошелек, он наверняка будет счастливым.

Ф е д я: (берет кошелек и притягивает Анну к себе) Ты не сердись? Не проклинаешь? Не смеешься надо мной? Ты — светлый ангел, Аня, я недостоин тебя!

Федя устремляется к рулетке, Анна смотрит ему вслед, но не видит Полину, которая спускается Феде навстречу.

П о л и н а: Спешешь проиграть последние гроши?

Ф е д я: Вот знакомый взгляд, давно ты на меня так не глядела.

П о л и н а: Мне вспомнилось, как мы с тобой бродили по этим улицам — вверх-вниз, вверх-вниз, — но в конце концов ты всегда приводил меня к рулетке.

Ф е д я: Все потому, что ты не хотела любить меня. В игре я находил единственное утешение.

П о л и н а: Кто знает, что было бы, если бы ты не утешался так быстро у рулетки!

Ф е д я: Ты хочешь сказать, что у меня была надежда? Что твоя любовь могла бы вернуться?

П о л и н а: Этого я не говорила. Но игрока я любить бы не могла, это точно!

Федя спешит к рулетке. Полина поднимается на верхнюю площадку правой лестницы, в то время, как Анна взбегает на верхнюю площадку левой — обе следят сверху за Фединой игрой. Колесо крутится, монеты сыплются то с колеса Феде в руки, то из его рук по колесу вниз, во тьму. Проигравшись Федя идет к Анне, берет ее за руку и ведет вниз, в парк. Анна и Федя прогуливаются в парке перед фонтаном под звуки симфонической музыки.

А н н а: Признаться, мне не особенно приятно гулять в здешнем парке, где все ходят такие разодетые — мое скромное платье далеко как нехорошо смотрится среди их блестящих костюмов. Федя все-все проиграл, у нас осталось только пять золотых, которые случайно были у меня в кармане.

С верхней ступеньки лестницы Федю манит Полина.

Ф е д я: (Анне) Ты взяла с собой те пять золотых, что у нас остались?

А н н а: Но ведь ты обещал сегодня больше не играть!

Ф е д я: (нетерпеливо) Я спрашиваю — ты взяла их или нет?

А н н а: Взяла, но вовсе не для игры — я думала, может мы зайдем поесть мороженого.

Ф е д я: Ну дай мне только три, а две оставь на мороженое.

А н н а: Федя, я прошу тебя, умоляю — не ходи больше играть. Сегодня день несчастливый, ты опять проиграешь.

Ф е д я: Аннушка, ну не упрямясь, отпусти меня. Ей-Богу, последний раз. Я хочу попробовать новую систему.

А н н а: Не ходи, Федя, — мне жаль, что ты опять проиграешь и огорчишься.

П о л и н а: (сверху) Ну что ты не идешь, Федя — или ты у нее под каблуком?

Ф е д я: Денег тебе жаль, а не меня!

А н н а: (готова заплакать) На, на, возьми эти проклятые деньги, если ты думаешь, что мне их жаль.

Федя хватается деньги и взбегает по лестнице.

П о л и н а: Слава Богу! А то я уж думала, тебе от нее не вырваться.

Полина берет его за руку и ведет к рулетке. Федя играет.

Ф е д я: А тебе-то что? С каких пор тебя интересует рулетка?

П о л и н а: Ты меня интересуешь, а не рулетка! Мне больно видеть, как ты все больше и больше попадаешь в рабство к своей глупенькой стенографке!

Ф е д я: Не преувеличивай, не такая уж она глупенькая.

П о л и н а: Это после меня-то? Ах, какие у нас с тобой были

возвышенные беседы, какие пламенные споры, какая борьба идей! А с нею что: завтрак—обед, чай—кофий? Болото!

Ф е д я: Зато ты меня не любила, а она любит!

П о л и н а: А ты-то кого любишь — меня или ее?

Федя проигрывает все, что у него было. Полина убегает, Федя спускается к Анне, которая ждет его в парке.

А н н а: Ну что?

Ф е д я: Опять проиграл! (притягивает к себе Анну) Аня, Аннушка, ангел мой, сжался, дай мне то, что осталось!

А н н а: Но ведь это последнее, что у нас есть!

Ф е д я: Именно потому что это последнее, я выиграю, ведь я не смею проиграть!

А н н а: Нет, нет, не надо больше!

Ф е д я: (лихорадочно) Ты мне дай, дай и ты увидишь! Я чувствую, что должен выиграть обязательно!

А н н а: Нет, нет, Федя, хватит!

Ф е д я: Ну, раз ты в меня не веришь, идем вместе — ты будешь ставить за меня, у тебя рука наверняка счастливая!

А н н а: Ну не знаю, а вдруг несчастливая?

Ф е д я: Аня, я вижу, ты проклинаешь свою слабость, ты презираешь меня и ты совершенно права, я достоин презрения. Но я не могу, я должен отыграться. Я сделаю что угодно, только дай мне эти два золотых! Хочешь я стану перед тобой на колени прямо тут перед фонтаном, на глазах у этих расфуфыренных дам?

А н н а: Не надо, Федя, к чему это? Если тебе так важно — пойдем. Но только пообещай, что ты уйдешь, когда я попрошу!

Ф е д я: Я обещаю тебе что угодно. Ты самая лучшая, самая добрая, самая прекрасная жена на свете!

Анна и Федя поднимаются по лестнице к рулетке. Полина, весело приплясывая, бежит к рулетке с другой стороны.

Ф е д я: (на ходу) Я разработал новую систему — ставить все время на ноль, на ноль и только на ноль много раз подряд.

Они подходят к колесу рулетки, которое крутит Полина.

Ф е д я: Ну, ставь на ноль.

Монета падает в пустоту.

Ф е д я: Опять на нуль!

А н н а: Но это последняя!

Ф е д я: Ничего, ставь — сейчас выиграем.

Полина крутит колесо, в ладонь Анны падают две монеты.

А н н а: (хлопая в ладоши) Выиграли! Выиграли!

Ф е д я: (в страшном возбуждении) Я говорил, а ты не верила!

Ставь опять на нуль.

А н н а: А вдруг сейчас не выпадет?

Ф е д я: Выпадет, выпадет! Ставь на нуль!

В ладонь Анны падают три монеты.

Ф е д я: Вот видишь! Это замечательная система.

А н н а: А теперь давай уйдем. Ты ведь обещал.

Ф е д я: Так скоро? Мы же только начали выигрывать!

А н н а: А теперь кончим: у нас есть ровно столько, сколько было вначале.

П о л и н а: Как ты ее выносишь? Ну никакого воображения!

Ф е д я: Давай все пять поставим! В последний раз — выиграем и уйдем!

Анна сыплет монеты на рулетку, Полина крутит колесо, монеты падают в темноту. Анна плачет и закрыв лицо руками бежит по лестнице вниз к отелю. Федя бежит за ней.

Ф е д я: Не надо, Аннушка, не плачь. Вот увидишь, я достану денег и я отыграюсь.

П о л и н а: (идет за ними и шепчет на ухо) Сережки-то у нее алмазные и брошь тоже. Их заложить можно, я знаю адрес.

Ф е д я: Что ты, Господь с тобой! Ведь это мой свадебный подарок!

П о л и н а: Тем более можно, раз твой подарок!

Анна вбегает в комнату и бросается на постель, Федя спешит за ней, входит, садится в кресло поодаль.

Ф е д я: Я подлец, я знаю, что я подлец, но я хочу попросить тебя о последней милости, воистину о последней, верь мне, ангел мой.

А н н а: (лицом в подушку) Что ты хочешь, Федя? Подойди, сядь.

Ф е д я: Нет, не решаюсь — ведь это подлость даже попросить такое! И подойти не смею к тебе, мой ангел чистый, осквернить боюсь.

А н н а: (садится на ручку кресла и обнимает его) Глупости какие! Ведь всего-то деньги потерял, не душу.

Ф е д я: (целует ее руки) О чистая, святая! Если б знала ты, какой жертвы от тебя прошу! Прошу отдать серьги и брошь в заклад!

А н н а: (вскакивает) Нет! Только не это! (идет к комоду достает ящичек с драгоценностями, рассматривает их) Ничем я так не дорожу как этими вещами, ведь ты мне их подарил.

Ф е д я: Я знаю, Аня, это подло и низко просить — но ведь ты не хочешь моей гибели?

П о л и н а: (аплодирует) Браво, Федя, браво, отлично сыграно!

А н н а: (целует драгоценности и протягивает их Феде) Ты прав! Что это? Мусор, стекляшки! На, бери.

Ф е д я: (кладет в карман) Тебе очень больно отдавать их, Аня?

А н н а: Ничего, переживу.

Ф е д я: (ведет ее к постели) Я знаю, что тебе больно, что сердечко твое обливается кровью. (начинает раздевать ее) И эту боль причинил тебе я, — низкий, грязный, жадный! Но я возьму! (целует ее уши) Это за серьги. (целует ее шею, плечи, грудь) А это за брошь! (все более страстно) За серьги! За брошь! За серьги! За брошь!

Следует любовная сцена той степени откровенности, которая устраивает режиссера, после чего Федя вскакивает и убегает, унося драгоценности на рулетку и употребляя их вместо монет.

А н н а: Когда Федя ушел, мне сделалось до того тяжело, что я ужасно расплакалась. (рыдает) Но сильная боль в груди не прошла даже от слез, и слезы меня не облегчили. Я всем завидовала, всех находила счастливыми, казалось, что только мы одни были так несчастливы.

Федя теряет все кроме одной монеты, которую он выиграл за секунду до конца. Он прячет ее в карман и уходит. Спустя несколько ступенек, он нерешительно останавливается и колеб-

лется, не вернуться ли к рулетке, откуда ему машет Полина. Он делает шаг обратно, но слышит рыдания Анны. Зажав монету в ладони он спешит к отелю. По дороге он обменивает монету на большой букет цветов, входит к Анне, отдает ей букет и падает ничком на кровать.

Ф е д я: (бьет по подушке кулаком) Я вор, вор, вор! Украл у тебя последнее, унес и проиграл!

А н н а: (становится на колени у кровати) Тебе очень тяжело?

Ф е д я: (плача) Мне не просто тяжело, мне стыдно, мучительно, непереносимо, я хочу умереть!

П о л и н а: (смеется) Ты даже лучше актер, чем я думала!

А н н а: Не надо так убиваться, миленький.

Ф е д я: Что же теперь будет? Что будет? У нас даже на обед нет!

А н н а: Ну давай заложим что-нибудь еще.

Ф е д я: Что же можно еще заложить? Часы я уже заложил, пиджак и галстук нужны — без них на рулетку не пустят.

А н н а: А где твое обручальное кольцо?

Ф е д я: Не брани меня — я его заложил вчера.

А н н а: (в ужасе) Заложил обручальное кольцо?

Ф е д я: Я выиграю и выкуплю! Мне б только немного денег!

А н н а: Ну давай заложим мою кружевную мантилью Chantilly — я посчитала, в ней 33 зубца с каждой стороны.

Ф е д я: Нет, нет, ты не можешь без мантильи — у тебя ведь ничего другого нарядного нет.

А н н а: Все равно, мне некуда наряжаться! (прижимаясь к Феде) Ведь за счастье быть твоей женой я должна чем-то заплатить. Так пусть это будет мантилья!

П о л и н а: Ее даже уговаривать не приходится, она сама набивается со своей мантильей.

Ф е д я: (хватает мантилью) О дитя мое, пусть бы мне сказали, чтоб я дал отрубить себе руку за тебя, я б согласился немедленно!

Федя выбегает с мантильей. Анна видит букет, который она раньше бросила небрежно, и ставит его в вазу.

А н н а: Бедный Федя, как мне бесконечно его жаль! Но когда его нет дома мне немного легче, ведь при нем я не могу плакать.

Ф е д я: (вбегает с мантильей) Ростовщик на площади не берет ничего кроме драгоценностей! Мне дали адрес другого, что берет

и вещи, но у него сегодня закрыто. (мечется по комнате, стискивая виски) Что же делать, что делать?

А н н а: Федя, ты хочешь заложить мое обручальное кольцо?

Ф е д я: Нет, нет, ни за что!

А н н а: Но ведь все равно нужны деньги на обед. (снимает кольцо с пальца) На, возьми.

Ф е д я: (берет кольцо) Ну, разве что если и на обед...

Федя выбегает, Анна пакует чемоданы.

А н н а: Федя проиграл мое кольцо и заложил мою мантилью. За нее дали довольно много, так что мы сумели расплатиться в отеле и переехали на более дешевую квартиру.

Федя возвращается и вместе с Анной тащит чемоданы в другую комнату, меньше и бедней, расположенную на один лестничный пролет ниже.

А н н а: (раскладывая вещи) В нашей новой комнате всегда стоит страшный грохот, так как она расположена прямо над кузницей.

За стеной слышится металлический грохот, который постоянно сопровождает каждую последующую сцену в комнате.

Ф е д я: (затыкая уши) Ну и грохот! Просто голова раскалывается. Я лучше уйду поскорей.

Ф е д я: (возвращаясь) Идем погуляем. Все равно мне сегодня не везет. И голова разболелась, Господи, как ты выносишь этот гром?

Анна и Федя поднимаются по лестнице в направлении противоположном рулетке. Через каждые две-три ступеньки они останавливаются, чтобы поцеловаться. Полина как тень следует за ними, время от времени касаясь Федино плеча.

Ф е д я: (Анне) Мне очень жаль тебя: твой муж грешник, он проигрывает все, что у тебя есть.

П о л и н а: Жалела раз кошка мышку!

Ф е д я: Есть хочется. Да и ты небось проголодалась?

А н н а: И еще как!

Ф е д я: Если мы проедем наши деньги, мы проедем с ними надежду на завтрашний выигрыш.

А н н а: Очень есть хочется. Может сейчас пообедаем, а завтра еще что-нибудь заложим?

Ф е д я: Уже вроде и закладывать нечего.

А н н а: У меня есть два приличных платья, лиловое и то, что на мне, — за них можно неплохо получить.

Анна стаскивает с себя платье и связывает его в узел. Федя с узлом в руке бежит по лестнице вниз. Анна в нижней сорочке и панталонах едва поспевает за ним.

Ф е д я: (на бегу) А в чем же ты ходить будешь?

А н н а: (едва за ним поспевая) В старом черном платье. Все равно за него никто ничего не даст, но если заштопать его под мышками и подшить кружево к юбке, его еще можно носить.

Ф е д я: Вот и отлично, заштопай и носи.

Они спускаются вниз. Анна входит в комнату и принимается чинить черное платье. Федя убегает вверх по лестнице к рулетке, где обменивает узел на пригоршню монет и играет.

Ф е д я: Я поставил половину на ноль — и выиграл. Поставил выигранное на красное и выиграл опять. Я уже ничего не боялся — я ставил и ставил без разбора, руки мои дрожали. Груда денег выросла передо мной и я тут же ставил ее обратно.

Анна в нижней сорочке и панталонах штопает черное платье. Полина появляется в комнате — она может влететь в окно или пройти сквозь стену.

П о л и н а: Здравствуй, стенографка. Что за грохот у тебя за стеной?

А н н а: Это наши кузнецы шумят: они сегодня с утра выколачивают какую-то коляску.

П о л и н а: Что ж твой муженек не мог для молодой жены приискать квартиру получше?

А н н а: (вскидываясь) А вам-то что за забота?

П о л и н а: Да я, собственно, не о тебе забочусь — я им интересуюсь, по старой памяти. Ты, может, не знаешь, а мы с ним не чужие друг другу.

А н н а: На что он вам, ведь вы его бросили и любовь его отвергли?

П о л и н а: Старая любовь, — она, говорят, не ржавеет, она лучше новой блестит.

А н н а: Неправда, неправда, он меня любит! Он ко мне каждую ночь прощаться приходит и рассказывает какая я добрая, какая я нежная, и как он счастлив, что на мне женился!

П о л и н а: (издевательски) Он будит тебя каждую ночь только затем, чтобы поговорить о том, какая ты нежная?

А н н а: (вспыхивая) Почему только чтобы поговорить? Не только!

П о л и н а: (со жгучим любопытством) Ну и как?

А н н а: (млея) Мне с ним очень, очень сладко!

П о л и н а: А не противно? (брезгливо) Пальцы у него короткие, ладони потные, щека дергается, изо рта тухлым яйцом пахнет.

А н н а: Бедная вы, бедная! Честь девичью вы с ним потеряли, а ради чего? Ведь радости от любви так и не узнали, вот и беситесь.

П о л и н а: А ты не очень-то заносись, стенографка, я ведь и передумать могу.

А н н а: Вы ведь сами сказали: пальцы у него короткие...

П о л и н а: Что с того? Любовь зла.

А н н а: ...ладони потные, щека дергается, а изо рта тухлым яйцом пахнет.

П о л и н а: Все правда, но я ведь сердцем непостоянная, могу вдруг и пожалеть его — сколько он, бедный, из-за меня перенес!

А н н а: (с неожиданной твердостью) И ничего у вас не выйдет! (надевает недоштопанное платье) Он мой и будет мой.

Анна спешит вверх, к рулетке. Полина опережает ее и становится за спиной Феде, испуганно швыряющего монеты на колесо.

Ф е д я. Счастье мне изменило: я потерял половину выигранного, потом половину того, что осталось, потом еще, еще, еще. Какая ужасная насмешка судьбы!

А н н а: (подходит к Феде) Федя, пойдем отсюда, ты уже так много выиграл, что лучше перестать: нам теперь хватит выкупить вещи и еще на завтра останется на игру.

П о л и н а: Не отступай, попробуй еще!

Ф е д я: Уйти нельзя, вот сейчас удастся, — невозможно, чтоб так дурно все шло.

Часть монет падает в пустоту.

Ф е д я: Теперь не удалось — сейчас удастся! (бросает монеты)

А н н а: Не ставь так много, — меньше проиграешь.

П о л и н а: Если не увеличивать куши, ничего не выиграешь!

Бросает монеты, они падают в пустоту, остается совсем мало.

А н н а: (тянет его за рукав) Пойдем отсюда скорей, Федя, пока еще можно выкупить вещи.

Ф е д я: Я последний раз поставлю. (бросает монеты)

П о л и н а: Ставь последнее! Кто не рискует, тот не выигрывает!

А н н а: Не ставь все — вдруг опять проиграешь!

П о л и н а: Что, теперь она будет тобой командовать?

Все оставшиеся монеты падают в пустоту.

А н н а: Я же говорила!

Ф е д я: Не говорила бы, я б не проиграл. Так хорошо все шло сначала! (стискивает ее руку) А где те пять золотых, что у тебя остались?

А н н а: Мы ведь их оставили, чтоб заплатить за обеды и за кофе.

Ф е д я: Дай их мне!

А н н а: Но они дома!

Ф е д я: Скорей беги домой и принеси их — я отыграюсь.

А н н а: Феденька, миленький, не играй сегодня больше! Раз уж день такой выдался несчастный, не играй!

Ф е д я. Как это несчастный? Да я сегодня как никогда выиграл! Потому я обязательно должен отыграться!

А н н а: (умоляет) Один-единственный раз сделай как я прошу!

П о л и н а: Видишь, как она: не мытьем, так катаньем!

Ф е д я: Ты всякий раз о чемнибудь просишь, и всегда этот раз единственный!

А н н а: (отшатываясь) Неправда! Неправда!

Анна рыдая бежит вниз по лестнице. Федя бежит за ней.

Ф е д я: Аня! Аня! Стой!

А н н а: (в истерике выкрикивает на бегу) Ты меня не любишь! Ты никогда не делаешь то, что я прошу! Тебе все равно, что я страдаю! Ты никогда не спросишь, отчего я по ночам не сплю, тебе не важно, что я мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь! Тебе не жалко, что я даже на прогулку выйти не могу из-за того, что так скверно одета!

Анна вбегает в комнату, Федя вбегает вслед за ней и начинает лихорадочно рыться в ящиках комода, разбрасывая по полу белье и бумаги. Полина влетает в окно и раскачивается над ними на люстре.

Ф е д я: Где деньги? Где деньги, я спрашиваю?

А н н а: (падает ничком на кровать) Ищи, раз тебе нужно.

Ф е д я: Почему ты должна мне испортить такой день? Ты даже не знаешь, сколько я сегодня выиграл!

А н н а: Как мне знать — ведь ты уже все это проиграл!

Ф е д я: (хватает ее за руку и тащит к комоду) Давай скорей твои пять золотых, а не то я упущу миг удачи!

А н н а: Хороша удача — проиграл столько денег! (вырывается) Не отдам, не отдам!

Ф е д я: (выкручивая ей руку) Сейчас же отдавай!

П о л и н а: Ну ка, посмотрим — кто кого переупрямит!

А н н а: (с силой выдергивает руку) Ни за что!

Ф е д я: (распахивает окно и взбирается на подоконник) Если сию минуту не отдашь, я выпрыгну из окна!

Полина злорадно хохочет.

А н н а: (выхватывает монеты из кошелька, который был у нее в кармане, и швыряет их на пол) На, бери эти несчастные деньги!

Федя, ползая по полу собирает монеты.

А н н а. Бери их и делай с ними что хочешь! А я больше не могу это видеть! Не могу, не могу!

Ф е д я: (выбегая с деньгами) Клянусь, это последний раз!

Федя спешит на рулетку. Рыдания Анны переходят во рвоту.

П о л и н а: Ты что, блюешь? Уж не беременна ли?

А н н а: А вам-то что?

П о л и н а: Ай да Федя! Вот уж не ожидала! Но ты-то о чем думаешь? Какой он отец? У него ж падучая!

А н н а: Он — мой муж.

П о л и н а: Это мы еще посмотрим.

А н н а: (кричит) Пошла вон! Вон отсюда! Чтоб духу твоего тут не было!

Федя тем временем уже спустил все свои монеты в пустоту. Полина выпархивает из окна и спешит навстречу Феде, который спешит вниз по лестнице. Полина хочет взять Федю за руку, но он обходит ее и входит в комнату. Возле двери он падает на колени и ползет к Анне, простирая к ней руки. Анна испуганно отступает, пока не доходит до стены.

Ф е д я: Прости, прости меня подлеца! Я все проиграл (утыкается головой Анне в колени) Ты простишь меня?

А н н а: (обхватывает его голову руками) Федя, голубчик мой!

Ф е д я: (плачет) Я погубил тебя, моего ангела! Что я наделал, как мы теперь будем жить?

А н н а: (усаживает его, расстегивает ему жилетку и галстук) Ничего, ничего, Феденька, как-нибудь обойдется: я написала маме, чтобы она заложила нашу петербургскую мебель и прислала нам деньги.

Ф е д я: Нашу мебель? О, какой я подлец! Какой низкий подлец!

У двери звонят. Анна выходит, Полина заглядывает в окно.

Ф е д я: Аня, кто там? Никого не впускай, я никого не хочу видеть.

П о л и н а: (Феде) А это денежки принесли. От мамочки.

Ф е д я: Откакой мамочки?

П о л и н а: От твоей тещи, которая тебя терпеть не может. Да и за что ей тебя любить? За то, что ты делаешь по ночам с ее маленькой дочечкой? Впрочем, возможно, она не догадывается — ведь она не была твоей любовницей, как я.

Ф е д я: Замолчи!

П о л и н а: (смеется) Но ты можешь отомстить ей! Ты можешь проиграть все, что она выручила за мебель!

А н н а: (вбегает и бросается Феде на шею) Ура! Ура! Мы спасены! Мама прислала деньги! За мебель! (внезапно смех ее переходит в детский плач)

Ф е д я: (испуганно) Что ты — чего вдруг?

А н н а: Ме-е-ебель жалко!

Ф е д я: (бьет кулаком по стене) Клянусь я достану денег и выкуплю эту проклятую мебель! А много денег?

А н н а: Хватит и на выкуп вещей, и на отель, и на билеты.

Ф е д я: На какие билеты?

А н н а: На поезд. Потому что мы завтра непременно выедем.

Ф е д я: Кто сказал?

А н н а: (глядя на него исподлобья) Я сказала.

Ф е д я: (передразнивая) "Я сказала". Этакая бука!

А н н а: (твердо) Я уеду завтра, Федя, и ты уедешь со мной.

Ф е д я: С каких пор ты стала у нас принимать решения?

Анна начинает складывать в чемодан разбросанные вещи.

П о л и н а: (Феде) Она, кажется, вообразила о себе нивесть что!

А н н а: (Феде) Мы завтра непременно выедем. А сейчас пойдй выкупить вещи — вот деньги.

Ф е д я: А ты не боишься, что я эти деньги проиграю?

А н н а: Нет, Федя, ты их не проиграешь, ты пойдешь и выкупишь вещи.

Федя выходит, зажав в ладони монеты, Полина манит его к рулетке, но он бежит в противоположную сторону — вверх по лестнице прочь от рулетки.

Ф е д я: Нет, Нет, ведь не совсем же я пропащий человек!

Анна выглянув в окно, видит Полину, она выбегает из комнаты и спешит вслед за Федей. Федя взбегают по лестнице, над которой вырисовывается силуэт церкви. Федя поспешно идет к двери, осторожно пробует ее, она отворяется, он входит и идет к алтарю. Анна поднимается за ним, Полина спешит за Анной.

Ф е д я: (падая на колени) Господи, зачем ты меня так искушаешь?

Анна входит в церковь и плотно закрывает за собой дверь —

та не отворяется. Полина трясет дверь: сверкает молния, грохочет гром и церковь погружается во тьму. И Анна и Полина исчезают во тьме, слабо освещен только коленопреклоненный Федя.

Раскаты грома и стук в дверь переходят в быстро нарастающий барабанный бой.

Ф е д я: О Боже, молю тебя — только не сейчас!

Одна из икон выступает из тьмы: в ее окладе освещается изнутри женский силуэт. Федя вскакивает и бежит к иконе, теперь уже ясно видно, что там стоит Анна — на ней черное платье, лицо ее обрамленно совершенно седыми волосами. Федя прижимается лицом к иконе, Анна протягивает руку из оклада и гладит его по голове. Грохот снаружи смолкает, барабанный бой стихает. Анна выходит из иконы, нежно берет Федю за руку и ведет к поезду, поджидающему у края сцены. Федя и Анна входят в вагон, садятся у окна и смотрят на исчезающий Баден-Баден. Полины не видно нигде.

Ф е д я: Два раза в жизни ко мне являлся мой покойный отец в ужасном виде, предрекая грозную беду. А теперь, когда я припоминаю, как увидел тебя поседевшей, сердце мое замирает от страха.

А н н а: (прижимаясь к нему) Все в порядке, Федя. Я всегда с тобой.

Ф е д я: Я так боюсь потерять тебя, — не оставляй меня никогда!

ЗАТЕМНЕНИЕ

Из темноты появляется старуха,

С т а р у х а: С тех пор он никогда больше не играл и не вспоминал о ней. Он просто вычеркнул ее из памяти. Осталась только я.

Зажигается свет. Перед нами лечебница. Федя лежит в шезлонге под большим прозрачным колпаком. Анна сидит на стуле возле колпака. Когда Анна начинает говорить, Старуха отступает и исчезает, словно растворяясь в темноте.

А н н а: Мы женаты уже шесть лет и живем в Петербурге. Федя написал за эти годы "Идиота" и "Бесов". Последнее время не-

большой кашель его обострился, появилась одышка, врачи предписали ему лечение сжатым воздухом. Теперь он три раза в неделю сидит по два часа под колпаком в лечебнице, а я жду с пледом, чтобы он не простудился после лечения. Постепенно я познакомилась с врачами и некоторыми больными.

По мере своего рассказа Анна несколько раз подает руку для поцелуя. Федя приходит в страшное возбуждение, он начинает делать ей различные знаки, выражая неудовольствие. Пожав плечами, Анна встает со стула и выходит. Федя вскакивает с шезлонга и расплющивая нос о стенку колпака всматривается в ту сторону, куда ушла Анна. Не увидев Анну он принимает ся трясти колпак, словно хочет его столкнуть. Анна возвращается и выпускает Федю из-под колпака, они выходят.

Ф е д я: (на ходу) Не понимаю, чего ты за мной увязалась? Иди к нему!

А н н а: (на ходу) К кому?

Ф е д я: К тому, кто так страстно целовал тебе руку!

А н н а: Но их было несколько — к кому из них мне идти?

Ф е д я: Ты прекрасно знаешь к кому!

А н н а: (сердито) Вот что, Федя, если ты еще раз устроишь сцену ревности в лечебнице, я просто встану и уйду!

Ф е д я: А я выскочу из-под колпака и побегу за тобой, чтобы узнать, куда ты ушла.

Анна и Федя входят в контору издательства. Анна садится за стол в приемной, Федя входит в свой кабинет. В кресле у его стола сидит Полина, лицо ее скрыто вуалью.

Ф е д я: С кем имею честь?

Полина молча отбрасывает вуаль.

Ф е д я: (вглядываясь) Будьте любезны сказать мне ваше имя.

П о л и н а: Вы не узнаете меня?

Ф е д я: Лицо ваше мне вроде бы знакомо. Кто вы?

П о л и н а: Неужто не узнаете?

Ф е д я: Простите покорно, но не узнаю.

Полина резко встает и стремительно выходит.

А н н а: Что это за дама? Она выбежала так стремительно.

Ф е д я: Не помню. Но где-то я ее встречал. Не могу припомнить — где?

ЗАТЕМНЕНИЕ

Из темноты появляется Старуха. В руках у нее узелок. Освещается убогая комната, в углу топится печь.

С т а р у х а: Господи, вчера тут прошли белые, сегодня красные — а хлеб никто из них не печет. (развязывает узелок достает кусок хлеба и жадно ест) Вот купила фунт хлеба на базаре — за обручальное кольцо. (смеется) Федя тогда выкупил его из заклада, а я теперь отдала его за фунт хлеба. Очень уж проголодалась. (доедает хлеб) В Петербурге революция, вокруг война и грабеж, ничего от нашей жизни не осталось. (хватается за живот) Ой, что-то живот схватило! Может, пришло мое время? Что ж, Федя уже почти сорок лет как умер, видать и мне пора. (корчится от боли) Ой, как больно! Мы прожили вместе четырнадцать лет и я много раз спрашивала Бога, за что он мне дал такую счастливую жизнь. Может и были трудные минуты, но я не хочу их вспоминать. (с трудом поднимается, выдвигает ящик и достает из него пачку бумаг) И не хочу, чтобы другие вспоминали. Вот письма, десятки писем — от первой жены его Марии к нему и от него к ней. В печку их! Он только меня одну любил! (корчась от боли) падает на пол, но пересиливает себя, ползком подбирается к печке и бросает туда пачку писем — огонь вспыхивает ярко) А вот и Полинины письма и его к Полине — и их в печку, никому они не интересны. (бросает в печку другую пачку писем — огонь вспыхивает еще ярче) О-о-о-о-о! (Анна роняет толстую тетрадь и катается по полу, кусая пальцы от боли) Помираю я, помираю, о-о-о-о-о! И никого рядом, ни души родной! (пытается поднять тетрадь) Дневник мой сжечь, ни к чему он — не нужны подробности эти!

Рука старухи бессильно скользит по тетради, не в силах ее поднять и замирает — Старуха умерла. Бесшумно скользя входит, почти вливается Анна, поднимает тетрадь и уносит, прижимая к сердцу.

А н н а: (уходя) Солнышко мое — Федор Достоевский! Он был самый светлый, самый благородный, самый добрый человек на свете!

КОНЕЦ

БАЛЛАДА О НЕВРОЗЕ

ГРАНИТНЫЙ ПАНОПТИКУМ

(московские памятники)

1. Ю. Долгорукий

Идешь себе по Горького — а тут из-за угла
на постаменте черном — зеленая нога
с раздвоенным копытом Зажмуришься октясья
А это всего-навсего — наш долгорукий князь
Копыто вроде конское а вот рука — его
и не куда-то кажет а напрямую — во:
там в тереме кирпичном преемники сидят
за ярлычок друг друга как балычок съедят
такая ж окись синяя на лбах носах кистях...
Идешь себе по Горького — а тут такой ништяк!

2. Маяковский

К "Пекину" задом а к "Софии" передом
стоит стоймя и поедает поедом
тараня шторы знаменитым взглядом
прямо с подносов — фирменные блюда
Еще бы в бильярд сыграть в картишки
и машинистку поддержать за титьки
да и в турне к каким-нибудь арабам
скататься тоже было бы не слабо!
А надо -- тут стоять Не ради славы
а вместо Триумфальной арки для
престижа государственного, бля, —
уж если стал бушпритом корабля,
то не вертись налево и направо!

3. Пушкин

На фоне Пушкина снимается семейство:
и мать, и дочка — в тачку. На скамейку

сел мэн голубенький, как дефицитный кафель.
Считает он, что Пушкин — порнография.
Рисковость с нежными подростками знакомства,
мужская грубость в уличном сортире
и меркантильность закавказского партнерства
мечтательную душу не растлили...
Вот сбоку, взглядом скромно пригубив
зады "вареночные", миру все простив,
пенсионер в карманчике плаща
свою морщинистую пестует печаль...
А Пушкин где? А вон идет. Привет,
Леонтьев эдакий! Поехали, поэт...

4. Гоголь

Гоголь во дворике плечи понунив
А на скамеечке рядом — ханурик
в этой же позе с бутылкой пивка
Вечер Темно Поддувает Тоска
Счас он в свою коммуналку вернется
там ему в душу супруга вопьется
Ну а пока — еще два-три глотка

Не сожалею о сожженном мечтатель!
И намотай на свои бигуди:
проклято место и тонет спасатель
В общем как в песне поют: Не гляди...
Тройка твоя у хмельного отдела
бьется с врагами за правое дело
но уминается в зад воронка
Вечер Темно Больше нету пивка

5. Ф. Энгельс

Если глядеть от "Кропоткинской" по дуге
видишь Энгельса который глядит в столбняке
как толпы грешников по абонементу
посещают огромную парную яму —
весьма inferнальная панорама
Над ними в клубах голубого света
висит трансцендентный Дворец Советов
да из Донского монастыря

два горельефа приковыля —
все что осталось от Храма Спасителя
Что же картина вполне убедительна
Эта столица во всех ее видах
не посрамит... Ладно сделаем выдох

(1985)

ПОСВЯЩЕНИЕ М. К.

1.

Если прижать ладонь к твоему лицу
линия моей жизни придется на твою скулу
под подушками пальцев всплеснет висок
Ты слушаешь меня кожей своей детской щеки
И я весь — в прижатой к тебе ладони

Я — лишь податель текстов
болтливая интенция бензиновая радуга жест падающего листа
пытающегося обмануть свою тень пытающуюся
обмануть свою зависимость от фонаря
пытающегося обмануть ветви деревьев пытающихся
обмануть ветер пытающийся обмануть синтаксическую фигуру
пытающуюся обмануть меня пытающегося обмануть ее

Я не боюсь того что будет с нами дальше —
бояться имеет смысл тогда когда есть надежда
Но я знаю и то что я сейчас счастлив

2.

Треугольник "Смоленская" — "Парк культуры" —
"Кропоткинская" Облезающие куртины бульваров
Жареный картофель листы Промозглость бесцеремонно
обнюхивает наши животы как московская сторожевая
И подозрительно стекленеет воздух моего-твоего романа
становясь все прозрачней все доступней взгляду —
как "Доктор Живаго"

Я ощущаю себя решетом: сквозь него Мак-Фатум
процеживает страсти
и хоть все это с кровью и косточками — чисто и пусто
Только ностальгия как окись как сине-зеленый налет

настоящего перегоняемого в прошлое — там якобы
меньше болит — — —

Страсть обращаясь в связь обрастает ватной плотью
и йодистой кровью
телефонными паузами Лейкопластырь разборок криво
наклеен на все время сгибаемые места
В общем нечто похожее на игру в прятки
где оба игрока водят и не успев досчитать до ста
не находят ни партнера ни себя ни игровой площадки
3.

Эта близость была как палестинская даль —
ничего желанней и непредставимей
Твой язык помогал мне как инфарктнику валидол
как инвалиду партии — программа "Время"
Но параллельные прямые пересекаются —
в точке взрыва
и если остаются целы — расходятся по мере сил
Как дитя интерната я любил твои мед и оливы
твои виноград и маслины и алую мякоть слив

(1987)

КИНОРЕКЛАМА

1. Лирико-драматическая лента:

пенсионер с Арбата
в семьдесят три — на улице — встречает любовь!
Но в идиллию вмешивается злая свекровь!
У всех троих — инфаркт миокарда...

2. Свежий мосфильмовский вестерн:

белогвардеец в ожидании ареста
насилует невесту, душит мать
и — револьвер себе в гланды — пытается стрелять.
Но пожилой чекист отбирает пистолет:
Вас ждет революционный трибунал, корнет!

3. Новый фильм Эльдара Рязанова:

жил—был на свете интеллигент резиновый
с тряпичными членами, сын своей матери...
Жизнь у него была вялая, муторная...
И поехал Сема на море —
лечить нервы и нагуливать морду...

Там он встретился с интеллигентной ленинградской девушкой;
с его бабушкой был даже знаком ее дедушка!

Зацветает ложным цветом курортный роман,
но обрывается — на киностудии ремонт.

К тому же Рязанова пригласили на фестиваль в Италию —
и он, естественно, поехал, пока не передумали...

4. Итальянский политический детектив:
мафия закладывает в презерватив
динамит — и редакция левой газеты
летит на воздух. — “Марксисты, минетом
не брезгуйте!” — гласила мораль.

Ее-то и вырезали. А жаль.

5. Производство киностудии им. Довженко:
на свиноферме, значит, напряженка,
а у героини-свинодоярки

супруг по пьянке на подарки
училке-полюбовнице спустил получку!

Это уж слишком! Кобель и эта штучка
вызываются на открытое партсобрание —
разыгрывается драма забивания
козла коллективом... Дальше — все, как надо:

ОН — приносит домой зарплату,
садятся они у окошка, выпивают немножко,
за полем картошки садится солнышко...

6. Французская кинокомедия. Сплошные герои:
ночью в одном купе — трое:

Бельмондо, Марина Влади и Луи де Фюнес.

Рано утром ей сходить. Времени в обрез.

Влади говорит Бельмондо: “Угу!”.

Луи де Фюнес закусывает губу.

Следующий кадр: темно... женская нога...

голос Бельмондо: “Ну давай?” — “Ага...”.

Следующие полчаса: сладкие стоны,
воплъ восторга!.. Поцелуи... Но — что это?!

Дверь открывается — и входит... Влади!

Бельмондо вскакивает — мускулы в помаде —
включает свет...

Фюнес на кушетке,
в позе лишенной девства нимфетки,
сдвинув ноги в колготках, прикрылся ладошкой...

Пауза... Общий хохот. В окошко
стреляет шампанское, и до утра
во всех вариациях — амур ле труа...

(1985)

НАГАРИЯ

Даже когда не слишком звенит в кармане,
приятно видеть ашкеназские лица
и город, построенный выходцами из Германии
в шести километрах от ливанской границы.
Полупустое кино. Крутят американский шлягер:
человек-летучая мышь снижается на врага!..
Сорок лет назад здешние дюны, как рулон бумаги,
развернули — и написали название городка.
Теперь у этого места вполне антропоморфный вид.
Собственно говоря, мы вернулись туда, где были.
Нам хорошо. И будь я Тит.
Я бы примерно две тысячи раз перевернулся в могиле.

(1989)

БАЛЛАДА О НЕВРОЗЕ

Как ныне прощается с теплом душа...

Л. Посев

Нет, я не растерян, я как бы убит —
душа хочет к телу вернуться,
а тело не хочет, лежит и грубит,
и ноет призывно, как Надсон.
Благие порывы, глухие позывы,
а годы уходят, как жены, желтеют, как нивы.

А мозг не приучен так долго болеть —
он слишком классичен, как русский балет,
ему слишком много свободы.
На линзу надежд и таких перспектив
опыт натягивает объектив,
а годы проходят — как мертвые роды, как смена

погоды.

Сказать, что не сдамся, — пустить петуха.
Противник, как прежде, безвиден.
Чего-нибудь стоила б эта тоска,
когда бы была на иврите.
Россия не Рим, и лет десять не в моде
консервы "Овидий в Тавриде".

Имперских претензий высокий невроз.
неадекватность и русский вопрос —
роднее, чем пальма и кактус.
Отречься от вас — все равно что предать
словосочетание "еб твою мать",
скандал, карнавал и катарсис.

Нет, я не растерян, я как бы убит,
душа хочет в тело вернуться,
а тело не хочет, лежит и грубит...

(январь 90)

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ"

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow--Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ОБМЕНЕННЫЕ ГОЛОВЫ

(продолжение, начало в № 68)

5

Нет, это не она, я увидел женщину, ничего общего не имевшую с только что полулежавшей в этом кресле. Читатель, наверное, хоть раз смотрел тот мюзикл, который я уже ни видеть, ни слышать не могу, — *My Fair Lady* — и помнит сцену появления Элизы Дулитл перед отъездом на бал. Преображение Доротеи Кунце было равноценным, я беру назад свои слова про вдову костоправа, с которой ей только-то и осталось коротать время. Вошла чертовски эффектная женщина (тип Зары Леандер, хотя эта роль — многолетней вдовы юного офицера, урожденной фон Клюгенау — скорее бы подошла Марлен Дитрих), по виду не старше пятидесяти, по моим расчетам чуть меньше шестидесяти. И конечно, голос — таким надо петь "Хабанеру" (в одноименном фильме), а не изъясняться прусской аристократке... Короче, при вторичном появлении Доротеи Кунце хотелось воскликнуть: черт возьми! А женщины мгновенно это чувствуют, они же хищницы успеха, произведенное ими впечатление — это их пища, их добыча.

Она извиняется за то, что меня испугала. А он-то вообразил, что все наоборот, "выдает" меня Петра; — ее она называет "швигермуттер" — он-то вообразил, что швигермуттер приняла его за привидение. Привидение... в самом деле? Я считаю, что похож на привидение?

Ну... может быть, на призрак Банко я и не похож, а так, на кого-нибудь попроще, в качестве потомка какого-нибудь старого еврея, сожженного на костре... Готлиб. Прошу прощения за внезапное вторжение, но дело, по которому я прибыл ("прибыл", а не "пришел" — я хранил какое-то подобие инкогнито), совершенно удивительное, я бы сказал, сенсационное.

Петра идет готовить еще ранее обещанный мне чай — как раз вовремя: на дворе фэйф-о-клок. Она уже все это слышала, ей интересней послушать, что ответит мне швигермуттер (а пока что можно заварить чай). Я искушен все-таки по части взаимоотношений свекрови с невесткой — последняя, со всей своей кажущейся эмансипированностью, не на шутку па-

совала перед свекровью — еще бы, это тебе не моя мама; вот и хотела позлорадствовать, глядя, как та будет перед кем-то пасовать сама. Я только не понимал причин: почему так уж должна была прийти не по душе в этом доме моя — по выражению Петры — "благая весть"? От нее пострадала бы репутация Кунце-нациста в кругу затаившихся единомышленников, к которому принадлежала и сама Доротея Кунце? Нет, этот сюжет оставим для немецкой сатиры пятидесятих годов.

Я положил перед ней на широкие подлокотники кресла по фотографии (как будто магически приковал ее ими). Это довольно известное фото — мне об этом ей говорить не надо. Чего она, возможно, не знает: оно было обнаружено в обломках сгоревшего немецкого самолета. Самолет сгорел вместе с экипажем, но промыслом Божиим эта карточка уцелела, став в сознании человечества одним из символов еврейской трагедии...

Еврейская трагедия! Для всех существует только еврейская трагедия — Боже упаси вспомнить о немецких слезах. А разве у экипажа этого самолета не было матерей, жен, детей? Ведь даже имена этих людей неизвестны, не так ли?

Боюсь, что так, — сделавший эту фотографию навсегда останется безымянным; кто знает, из каких побуждений он снимал, — может быть, хотел сохранить для потомков правду о трагедии... Тпрр! Я прошу простить мою бестактность: говорю исключительно о еврейской трагедии в доме, где уже тридцать пять лет не снимают траур... но сейчас она все поймет — почему я об этом говорю именно с ней, я повторяю, у меня есть совершенно сенсационное сообщение.

Она извиняется в свою очередь и просит продолжать. Продолжаю. А на этом снимке крупным планом лицо того же самого человека. Шляпа, к сожалению, надвинута на глаза — наверное, сбилась, задел футляром, когда поднимал руки. (Лицо под съехавшей шляпой не выражало ни страха, ни каких-либо иных сильных чувств. Объектив выхватил — и удержал — миг, частность, тогда как лишь из череды таких мгновений складывается знакомый нам обобщенный образ: ужаса, радости, боли; в отличие от фотографий, на полотнах художников такие мгновения условно сведены воедино.) Это мой дед, единственное сохранившееся фото — вот как бывает. Йозеф Готлиб, мне кажется, это имя ей должно быть знакомо — я одновременно и Гамлет, и Горацио, она — Клавдий, пьеса "Мышеловка, или Убийство Гонзаго". Ну конечно, всякому, мало-мальски

знакомому с биографией Готлиба Кунце, имя этого австрийского скрипача не может не быть известно. Так, выходит, я внук "маленького Готлиба"? А это он сам... Гм, какие удивительные бывают на свете совпадения — она провела рукой по лбу.

Но самое невероятное впереди, если только она действительно не знает, о чем идет речь, что, признаться, для меня удивительно — ведь следующий акт трагедии... или так, один из следующих актов (я всего еще не знаю) разыгрался здесь, в этом самом доме, в сорок третьем году. То есть у нее на глазах. Вы действительно ничего не знаете?

Нет, она совершенно не представляет, что я этим хочу сказать. Ее глаза полны недоумения, которое, правда, дешево стоит — что оригинал, что подделка.

Тогда я повел свой рассказ. Дед остался в Харькове, и для всей нашей семьи (семьи! пусть думает, что нас еще много) было очевидно, что погиб. Эта фотография, когда о ее существовании стало известно, ужаснула нас своей наглядностью, а в остальном — ничего другого мы и не ожидали. Но вот я узнаю, что Йозеф Готлиб в 1943 году работал в опере в Ротмунде, неподалеку отсюда, мало того, он был в тесном контакте с Готлибом Кунце, который его, попросту говоря, спасал, пользуясь своим именем и связями. Среди коллег-музыкантов мой дед выдавал себя за русского немца, которого наступавшие немецкие части буквально вырвали из лап большевиков, собиравшихся его — и подобных ему — вот-вот уже расстрелять. Без Кунце, конечно, столь примитивную легенду не приняли бы на веру те, от кого зависело поддерживать порядок — как он понимался в третьем рейхе. Однако дед чувствовал себя за его спиной настолько в безопасности, что мог позволить себе ссориться — публично — со своим шефом Карлом Элиасбергом, человеком деспотичным, беспощадным с неугодными ему музыкантами, впридачу членом партии, но — трепетавшим перед великим Кунце. Этого Элиасберга, вероятно, она знает — кажется, он здесь бывал. (Она не помнит, слишком незначительная фигура — здесь бывали такие дирижеры, как Вилли Ферреро, Ганс Кнаппертсбуш.) О да, я понимаю, просто забыла — Элиасберг даже был зван на траурную церемонию в связи... я вынужденно касаюсь этой незаживающей раны... с гибелью ее мужа Клауса, но премьеры там чего-то... погодите... сейчас вспомню, "Воскресшего из мертвых" Вольфа-Феррари этому помешала. Жалкий композитор Вольф-

Феррари, я знаю две его оперы (чуть не раскрыл себя, сказав "у нас в Циггорне шли две его оперы" — "Секрет Сусанны" и "Sly". Но главное, на этом траурном торжестве среди прочих был и Йозеф Готлиб.

Да нет же, это совершенно невозможно. Она встала и, обернувшись, увидела Петру, я-то видел ее давно — чай, наверное, уже остыл. Петра, отставив поднос, рискну сказать, получила истинное наслаждение от нашей беседы. Все было, как она предсказывала. Доротея Кунце и слушать не желала о том, что родители ее мужа, погрязшие в нацистском грехе (или, может быть, верные идеалам германской нации?) спасали в годы войны еврея (или, точнее, какого-то вонючего еврея?), причем, слушать-то не желала, да робела передо мной, на этом настаивавшем. Это было явно. Иначе бы со мною долго не разговаривали здесь — вопрос еще, разговаривали бы вообще.

Увидя Петру, спрашивает ее, где внук, и я слышу, как Петра начинает оправдываться в том, что позволила сыну куда-то пойти, — вот тебе и Маргарета фон Тротта.

Ей угодно показать мне список приглашенных в отель "Кайзерпфальц" в тот печально памятный для нее день. После службы в Мариенкирхе — Клаус ведь был католик — еще состоялся поминальный обед. У нее все сохранено, даже салфетка с черной каймой (идея Кунце). В этом доме уже ничего не выбрасывалось и не менялось после двадцать девятого февраля 1944 года. (Я догадался, что это дата смерти композитора.)

Иду следом за ней — Петра стоит, как дура, со своим красноватым чаем — и попадаю... в лифт! Это одна из причуд Кунце-строителя: вилла планировалась и строилась строго по его указаниям. Только в одной из башенок есть узкая винтовая лесенка, ведущая прямо в его кабинет, расположенный обособленно; изнутри в него можно подняться лишь в лифте. Сейчас мы проследуем (так и сказала "проследуем") наверх, сейчас я увижу рояль, за которым были написаны пять последних струнных квартетов, "Квинтет на темы "Форели" Шуберта" — и предсмертное сочинение, оратория "Плач студиязуса Вагнера", по завершении которой и грянул в этом кабинете выстрел... (Вагнер — персонаж "Фауста" Гете — оплакивает судьбу неудачно сконструированного им гомункула.)

Кабинка лифта скорей, чем самое себя, напоминала роскошное купе ("отделение") спального вагона какого-нибудь

”Норд-экспресса” или ”Ориент-экспресса” — те 20-30 секунд, которые предстояло проводить пассажиру по имени Кунце в этом снаряде, были окружены комфортом, более или менее бессмысленным. Достаточно упомянуть плед и подушечку на миниатюрном бархатном диванчике (Эстетический идеал Кунце в концентрированном виде: апология вторичности через тотальную нефункциональность; ваза с отборными фруктами в парадной гостиной — к которым никогда никто не притронется; плоды трудов искуснейшего ремесленника-раба, на которые, возможно, даже не упадет взгляд господина. Беда Кунце в том, что представляясь сам себе таким пресыщенным господином, он был как раз-то искуснейшим рабом. По крайней мере, мне так вдруг показалось — отсюда всю жизнь поза).

Небось, Тобиас катается теперь вверх-вниз? Укоризненный взгляд. *Нет, конечно.*

Из лифта вы попадаете прямо в кабинет. Поздней Петра позовется: она повела вас в святая святых — даже Инго без спросу в кабинет не входит. Нет, что-то здесь нечисто.

Я почтительно примостился, по ее знаку, на краешке огромной низкой, расшитой восточными узорами оттоманки, приглашавшей лечь, а не как я — почти что на корточках сидеть. На стенах множество экзотических предметов неведомого мне назначения, более уместных в доме состарившегося этнографа, нежели его сверстника композитора; а из картин: неразборчиво-ночное полотно в духе Беклина (а может, его самого) и — юнге, юнге, как говорят немцы, — портрет горячо любимого вождя, словно в кабинете какого-нибудь группенфюрера... да, постмодернизм возник не вдруг и не сегодня. Правда, она предупредила, что с сорок четвертого года здесь ничего не менялось, — и все-таки (можно тысячу раз говорить о постмодернизме) я был шокирован. Немудрено, что она никого сюда не выпускает. В наши дни такой портрет Гитлера я готов представить себе разве что в подпольном неонацистском капище. Но чтобы Кунце, каким бы поборником ”нового порядка” он ни выступал, сочиняя своего ”Вагнера”, имел перед глазами это неизменное украшение железнодорожных станций и почт — в песочного цвета униформе, с повязкой на рукаве?! Ничего не понимаю — кроме одного, пожалуй: Доротея Кунце хотела продемонстрировать мне всю бездну морального падения ее свекра, дабы у меня не осталось никаких иллюзий относительно его готовности прийти на помощь еврею. Она следила за

моей реакцией — я, естественно, и бровью не повел: Гитлер и Гитлер, портрет маслом, приблизительно 150 x 80, в нижнем углу подпись (похожая на репинскую) и дата: 43.

Может быть, она боится, что эта история, вскрывшись, нарушит какой-то уже установившийся баланс злодейства и гениальности? Что, поставив под сомнение безусловность первого, возмущается пересматривать и последнее? Мир уже свыкся с Кунце *таким* — это как на старости лет без крайней нужды вдруг отучать себя от нездоровых, но глубоко укоренившихся привычек. Но ведь Кунце отнюдь не дутая величина, не будь за ним дурной славы, убежден: это имя владело бы сердцами культурной части человечества куда более полно. Я пытаюсь это как-то объяснить ей — с помощью, допускаю, весьма близких ей соображений: вот тогда только его и поднимут на щит те круги, которые создают сегодня общественное мнение, — разве она не знает, в чьих руках пресса? Если даже без их поддержки, вопреки бойкоту Израиля, Кунце остается тем, кем был всегда, то легко себе представить, какой бум — газетный, журнальный — поднимется вокруг его имени, когда он начнет исполняться — тогда уже с триумфом — в Израиле. Так же, довольно прозрачно, я намекнул, что определенные выгоды из этого извлекут близкие к Кунце люди, — и пожалел. Ей кажется, что определенные выгоды из этого в первую очередь извлекут люди, близкие к Йозефу Готлибу. Ей кажется, что вообще это все отдает попыткой устроить сенсацию по предварительному сговору... Нет, она еще не кончила: я, верно, чего-то не понимаю, предлагая ей "вспомнить" то, чего не было. Ей слишком дорога немецкая культура и история — какая ни есть, — чтобы заниматься ее фальсификацией.

Мне необходимо обидеться с благородным видом или от этого я освобожден так же точно, как, скажем, освобожден от уплаты церковного налога? Пожалуй, слегка все же обижусь. Нет, я абсолютно все понимаю (то есть насколько человек вообще вправе так о себе говорить). Я даже понимаю, что ее раздражает моя настырность — за евреями, говорят, это водится, сами евреи этого не чувствуют, но это, в конечном итоге, вопрос стиля, а не содержания. Тому, что я сегодня здесь, много причин: любовь к истине, любовь к музыке, возможно, еще любовь к чему-то или к кому-то — но среди этих причин нет ни одной меркантильной.

Я задаюсь вопросом: она действительно ничего не знает или

врет? Скорее врет. Потому и демонстрирует гитлеров — а сейчас достает из стенного сейфа что-то... (Скальп, собственноручно снятый Кунце?) Все, только бы убедить меня: человеконенавистник Кунце не мог укрывать и не укрывал никакого Готлиба. Рвение, среди нас двоих избобличающее истинного обманщика. Кстати говоря, неверно, что совсем уж так здесь ничего не менялось после смерти Кунце. При нем на сейфах таких замков не было: кнопочный набор, как в подъездах или на телефонах, взамен упраздненных дисков. Сыграв сама с собой партию в "крестики-нолики" — я еще заметил, что "нолики" выиграли, — Доротея Кунце вынула из сейфа ветхую папку, с мраморными прожилками, на тесемочках. Думаю, она уже поняла свою ошибку: если я прохожимец, меня следовало немедленно вытолкать вон, а не пытаться разуверить в том, во что я и сам-то не верю. Логика же никакой.

В этой папке все, относящееся к тому дню, когда Клаусу были возданы последние почести. Я могу здесь найти список гостей, тексты произнесенных речей: что сказал с амвона его преосвященство архиепископ Фазольтский и Фафнерский (по-другому, конечно, зовут, но похоже), вот выступление бургомистра Крошке, выступление господина Юлиуса Штрайхера, почетного директора нюрнбергского "Штюмера", где Клаус много печатался, — да-да, вы не думайте, он печатался там... выступление фрау Клан ("Всенемецкий союз слепых"). Согласно этому рисунку стояли столы; указатель мест — кто где должен сидеть. Я упомянул Карла Элиасберга? Верно, его имя вычеркнуто. Меню... Можно посмотреть? Да я могу эту папку всю просмотреть. (Меня взяло любопытство, что же они ели? Ведь "человек есть то, что он ест" Markkloßchensuppe, Schmorbraten. Как я вижу, никакой Йозеф Готлиб в тот день здесь не находился. Вот телеграмма, которую прислал Йозеф Геббельс (Федот, да не тот), — Геббельса ждали собственной персоной, но что-то ему в последнюю минуту помешало приехать, очевидно присутствие Штрайхера. Я, вероятно, до конца не представляю себе ни характера, ни взглядов Кунце, ни его места в обществе — раз уж ему, как и Ясперсу, прощали его брак — ибо понимаю я все... Что тогда? Тогда бы я не явился к ней с утверждением, будто здесь укрывали евреев.

Боясь выдать свое невежество — наверное чудовищное: кто такой Ясперс? — я уже не спрашиваю, почему Кунце надо было прощать его брак. Но Геббельс — она продолжает

— приезжал сюда в другой раз, в первых числах марта 43-го... А-а, так вот по какому случаю был приобретен этот портрет — странно, казалось бы, Кунце не нуждался в демонстрации своей лояльности, да еще такими чиновничьими средствами. Или все же нуждался?

После этого она меня быстро отсюда уводит. Словно испугалась: что я еще замечу такого. Я уж вовсе стрелял глазами уходя. Но с портретом я, видно, угодил в самую точку — хотя с моей стороны это вышло без всякого умысла, просто портрет был здесь неуместен и датирован сорок третьим годом.

Я не могу спросить у Доротеи Кунце напрямик, почему она меня обманывает. Ведь я уже старался, объяснял ей, что первой ей же самой выгодно эту тайну разгласить... По прошествии тридцати пяти лет на поверхность всплывает невероятная история (даже если ей лично она почему-то там неприятна — мало ли, друзей разочарует). Это же новое вино в старые меха — под старыми мехами подразумевается, конечно... ладно, замнем для ясности. Вышло же, что я хочу ее купить. Значит, нужны факты в ответ на ее "факты из мраморной папки". Мне было документально доказано, что никакого еврейского дедушки среди "арийских" бонз, торжественно и по ранжиру оплакавших антисемитского журналиста Клауса Кунце, — *не было*. Понятно, что не было. Он где-то в собачьей конуре сидел, но к семейному чаю, погрызть сахарку, вышел.

Все это мне напоминало вот что: по местной программе раз в неделю шла детективная серия "Коломбо". Там каждый раз повторялось одно и то же: одnogлазый, в засаленном плаще, с дурными манерами сыщик (Питер Фальк — наверное, мой соплеменник) пиявкой впивается в напыщенного богача или "знаменитость", которые отбиваются от него с наигранно-брезгливым раздражением, покуда шаг за шагом он не прижимает их, в действительности коварных и расчетливых убийц, к стенке. Такое разоблачение Доротеи Кунце не грозило, но в остальном у нас намечился психологически-сходный поединок, где я постепенно брал верх, не понимая над кем, над чем — настырный приставучий плебей... Но брал же!

В лифте. Интересно, отдохнуть на этом диванчике, запахнувшись пледом, кому-нибудь уже удавалось? (Плебей становится развязней. Она не отвечает.) Дело в том, что — возвращаясь к теме — о чудесном и совершенно необъяснимом

для меня перемещении из ямы под Харьковом в оркестровую яму в Ротмунде моего деда Йозефа Готлиба имеются некоторые свидетельства, игнорировать которые я не могу. Первое...

Я рассказываю — в безличной форме, — как "был обнаружен" в ротмундских нотах автограф с рисунком, идентичный автографам деда, датированный сорок третьим годом. Подтвердить это сообщение оказалось невозможно, автограф — исчез! Нет, вполне прозаически, под чьей-то резинкой, какого-то оркестрового санитаря. Как есть в Германии тетеньки, которые с утра до вечера чистят свои квартиры — с такой неимоверной энергией, что сами всю жизнь пахнут потом, — так же в немецких оркестрах есть дяденьки, которые с неменьшим остервенением что-то постоянно стирают в нотах. Я продолжал розыски и вскоре познакомился с флейтистом, проживающим свой век в сельской местности. Этот потомок Пана мне подтвердил, что да, правда, в конце войны у них, т.е. в Ротмунде, время от времени играл один русский немец, в *последний момент спасенный нашими "из-под расстрела"* (как видите, негатив известной фотографии). Он носил мою фамилию. У меня был с собой снимок деда — чтоб показать флейтисту... Я смотрю на нее, как на шар, застывший над лузой. Следующим ударом я загоню его — это понимает и шар. Петра невозмутима, не поднимает от чашки глаз, какой вкусный чай... Но Глазенапп — так звали флейтиста — был слеп.

Но и это не все. Есть письмо Кунце, я его читал. Какое письмо? Неизвестное письмо Готлиба Кунце? Я не знаю, известно оно или нет. Оно хранится в частной коллекции, у некоего Боссэ.

Факт существования неизвестного (ей) письма Готлиба Кунце приводит фрау Кунце в сильное волнение. Каково же его содержание? На письме дата — у меня хорошая память на числа — двадцать первого-первого-сорок второго. В нем Готлиб Кунце благодарит этого мерзавца, Карла Элиасберга — вы его не помните совсем? Поверьте, мерзавец — проштрафившихся музыкантов гнал на фронт... благодарит его за выражение соболезнавания, пишет о своем душевном состоянии, о своем внуке Инго, о жене, которая, не будь Йозефа Готлиба рядом... Там так и стоит — "Йозефа Готлиба"? К сожалению, не совсем, только инициал. Ну, так это ничем не подкрепленная догадка. Нет, только в том случае, если фрау Кунце сможет расшифровать этот инициал по-другому. А почему, собственно,

она должна расшифровывать? Да потому что она здесь жила, она не может не знать человека, который пользовался таким влиянием на Веру Кунце, таким исключительным влиянием — согласно письму. Про которого написано, что гибель Клауса он переживает как гибель собственного сына. Если я неправ, фрау Кунце, кто же этот загадочный Й., работавший под началом Элиасберга, — ответьте, назовите, вы здесь жили.

Она должна видеть это письмо, заглазно она ничего сказать не может — а вдруг это фальшивка, фальшивок тьма. Ее правда, сам недавно видел одну. Так где хранится письмо? С моих слов она записывает телефон Боссэ.

Ее чашка пуста, моя тоже, чайник тоже — она не сомневается, что я еще дам о себе знать, учитывая напор, который я сегодня выказал. Возможно, ей действительно удастся что-то вспомнить, о чем она совершенно забыла сейчас, а пока... "А пока" она ничего сказать не может, "а пока — прощайте" — так следует понимать "а пока..." Вопрос сугубо светский, на прощание: я остановился прямо здесь, в Бад Шлюссельфельде? Нет, я сейчас еду в Циггорн. В Циггорн? Машиной? Нет, поездом. Мне повезло (считает Доротея Кунце — "Зара Леандер"), ее невестка как раз сейчас едет в Циггорн. В самом деле? По выражению лица Петры ясно, что это чистой воды импровизация. Ну да, ты же сказала, что собираешься быть дома еще сегодня, — или мне послышалось? У меня на глазах самым беспардонным образом свекровь выставляла из дома невестку, и та безропотно повиновалась (может быть, даже радуясь в душе такому повороту событий). Я интересуюсь: а что Тобиас, остается у бабушки? Конечно, каникулы, он здесь будет до конца недели, а потом отец его заберет — в Бад Шлюссельфельде замечательный воздух. А Тобиасу она скажет, что мама уже уехала, он вряд ли будет сильно страдать.

Зачем это ей понадобилось, так хищно использовать подвернувшийся под руку случай? Обычно человека спрашивают, если кого-то ждут. Значит, предстоял незапланированный визит — Доротея Кунце не терпелось рассказать про меня кому-то?

Снова "фольксваген" с развеселой бумажной сосиской на стекле — неожиданно послужившей мне отмычкой: "Вольный имперский город Цвейдорферхольц". Миллионы машин бегают по Германии с аналогичными наклейками: придурковатыми, серьезными, лирическими — на все вкусы. Петре наклеивать игри-

вую сосиску было даже как-то и не к лицу — ей бы подошло что-нибудь свободололюбивое, по-испански: Куба си — янки но! Впрочем, сосиску мог приклеить за нее и кто-то другой — сын? муж?

Едва мы оказались прижаты друг к другу в капсуле "фольксвагена", как она спросила: заметил ли я, что ее только что бесцеремонно прогнали? Я лицемерно удивился: как, разве она не собиралась уезжать? Нет, но и слава Богу, ей невыносима эта обстановка. Только ради Тобиаса она сюда приезжает, воздух здесь, это правда, сказочный (Ерунда — воздух, властная бабушка так хочет; и потом, как уже подмечено было, наперекор себе самой все же гордилась, чей Тобиас правнук). Чем же она это может объяснить, такую странную выходку со стороны свекрови? Ну как чем, а что, сам я не заметил, в каком она была состоянии, — совершенно потеряла самообладание. Еще до упоминания об этом скрипаче-еврее — моем деде, падает в обморок, приняв меня за грабителя. Я вставляю: приняв меня за привидение. Нет уж, привидением Доротею Кунце не проймешь. Ну хорошо, а вот, зная ее, что она считает, все эти ее "нет" — это было вранье? Вранье... паническое вранье! Или не знаю что, но она свою свекровь не узнавала: вдруг повела меня в кабинет Кунце (выясняется, что кабинет Кунце — место заповедное, туда входа нет). И отчего же это все, спрашиваю я Петру. Ничего нового она мне сказать не может: она меня уже предупреждала, что в этом доме за такую историю мне спасибо не скажут. Правда это или неправда, было это или не было — этого *не должно было быть*. И матушка Доротея в лепешку разобьется, чтобы доказать, что это все вздор — ее обожаемый Готлиб Кунце, как истинный немец, на такое отступничество не был способен.

В лепешку чуть не разбились мы, когда прямо на нас из какого-то закоулка выпрыгнул "ягуар" и исчез в том направлении, откуда мы только что приехали. Во всяком случае, о степени риска, которому подверглись наши жизни, свидетельствовало далеко не изящное "шайсе!" Петры (за рулем унификация пола полная). Дальнейших нелестных эпитетов по своему адресу владелец "ягуара" избежал потому лишь, что был вдруг опознан: это же... это же Доротеин "бой-френд", теперь понятно, почему ее, Петру, понадобилось выпихнуть. Спешит — она, наверное, к нему позвонила... А что, у нее было в жизни много друзей-мужчин — судя по тому, как она себя держит и как выглядит — да?

Я очень заблуждаюсь, наделяя Доротеей Кунце естественными человеческими свойствами. "Бой-френд" было сказано в шутку — платонически влюбленный в нее всю жизнь один старый холостяк, который, если она прикажет: прыгай в пропасть — прыгнет не задумываясь, как в свое время, не задумываясь, прыгнул бы за фюрера. Овдовев двадцати одного года отроду и с мужем прожив "нетто" от силы несколько месяцев, она затем всю жизнь блюла свое вдовство, превратив его в фетиш. С ее внешностью? Она, верно, пользовалась колоссальным успехом и соблазны подстерегали ее... Бросьте, какие соблазны. Она кукла, ее главный соблазн был — стать Кунце. Держать сто процентов акций этого имени в своих руках — почему ее так и задела история с моим дедом, с каким-то письмом. Про Кунце она знает все — более того, она и сама уже часть его мемориала: немецкая трагедия, немецкая верность, немецкая вдова. Она принесла свою жизнь в жертву этому праву — стать живым продолжением мифа. Она, Доротея Кунце, — весталка, если это слово мне о чем-то говорит.

Ну я не совсем варвар. Только не кажется ли ей, что — от большой ли любви к свекрови, по традиции ли, берущей начало в немецком романтизме, — она все несколько схематизирует. Заданность, стереотип — это черта немецкого мышления не только в эпоху политических катаклизмов, но и при позднейших попытках в них как-то разобраться (Сказано сие в отместку за "весталку" — не за то, что допускалось, что я чего-то могу не знать, а за тон, которым это допускалось. Эрих, восточный немец, помню, кипел: один его западный родич, показывая ему свои апартаменты, стал объяснять назначение биде — так сказать подстраховался. Да-с, вот так разница в амбициях может весталку приравнять к биде).

Разговор перешел на Германию, на немцев — в глазах еврея, в частности в моих глазах. Что я думаю о немцах? (Я думаю о них много чего, одно противоречит другому.) Тема, в разговоре с немцами отработанная мною до мелочей. По обыкновению, я становился между дьяволом и его раскаянием. Это как поется в одной детской песенке: "Поросята бывают разные, чистые и грязные". Видите ли, я хоть, конечно, и израильтянин, но вырос я в городе Харькове, среди всенародного упоения собственными добродетелями, официально санкционированного, но при этом абсолютно искреннего. Коллективная вина немцев воспринимается мной как то же самое, только со

знаком минус. Что до моих личных переживаний, то опять же жизнь под советским солнцем научила меня есть за одним столом с таким количеством вероятных палачей — и не заходить в праведной истерике... Как я могу! Как можно вообще находить аналогию нацистской Германии? Это безнравственно!

Это она меня?.. В безнравственности?..

А собственно говоря, почему это безнравственно? Почему по классовому признаку убивать более нравственно, чем по расовому? То есть я, в принципе, понимаю логику: первый случай оставляет выход, всегда можно перейти на сторону классового врага и тоже убивать. Помимо того что это преимущество сомнительное в моральном смысле, оно и на практике плохо реализуется.

И мне ничего не мешает в немцах? (В действительности мне мешает в немцах лишь одно — что они говорят по-немецки, но уж это в них не исправишь.) Вместо ответа я смотрю на часы: вечер только еще начинается. Я ей нравлюсь, этой стриженной мартышке, жене хирурга из Цвейдорферхольца, "внучатой невестке" Готлиба Кунце. Наша физиология уже тут как тут — наготове и протягивает лапки. Но — изыди сатана. Покрыть замужнюю женщину, в качестве прелюдии обсудив с ней моральный аспект геноцида, сталинского и гитлеровского, — это как плюнуть себе в морду.

Поэтому снова о Германии. Мир немецкой культуры естественно простирался от Балтики до Адриатики и от Лемберга до Страсбурга — пока попытка зафиксировать это политически все не погубила. Как бутерброд, что "по закону подлости" (так говорили в Харькове) падает всегда маслом вниз, Германия оказалась исторически опрокинутой на свою надстройку: поверх романтической культуры — и в полном согласии с ее эстетикой — создавалась государственность. И получилось, что псы, которыми у Клейста Пентезиля травит Ахилла — дабы отвратить его крови, — становятся прообразом немецких овчарок Аушвица.

Она уже не перечила. Интеллектуально я положил ее на лопатки — и уже прикидывал, чей телефон сейчас наберу, чтобы безотлагательно закончить начатое с нею; начались съезды на Циггорн: Линденгартен, следующий на центр — веселившийся в свете рождественских витрин, толкавшийся в торговом таборе на Марктплац, осовело пялившийся из-за столиков на официантов, вальсирующих с гирляндами пивных кружек или с го-

рами жаркого; в опере давали сегодня "Скрипача на крыше" — Шор играет хасидские мелодии, сцена убрана под Шагала, подземный гараж ломится от "мерседесов" богатого мышиноного цвета.

Я остановился в гостинице? Я молчу. Случайное прикосновение к моим пальцам. Но в случайности я не верю, как уже говорилось, а в случайные прикосновения и никто не верит, со времен Адама и Евы. Кого же сейчас можно застать дома? Воскресенье, у веснушчатой Дорис дежурство в больнице — сестра милосердия... Ласково: так где же я остановился? Зеленый свет, мы тронулись в общем потоке, прикосновение к моей руке было коротким, но обязывало меня произнести свое *jamais!* что я и сделал не колеблясь: она замужем, мать двенадцатилетнего сына, а я человек твердых правил.

Пусть думает: азиатская ментальность — она же болеет душой за третий мир, значит "поймет".

Поняла и успокаивает меня: на этот счет я могу совершенно не волноваться: они с мужем практически уже давно разведены, не живут вместе.

Я тоже с женой был практически разведен — и даже не практически. Тем не менее возникла мучительная аналогия. Разведены и вместе не живут, да? А тринадцатого декабря еще жили вместе и как ни в чем не бывало всей семьей собирались к бабушке Доротее на *Wochenende* — это когда ее мужа Инго вызвали на срочную операцию и пришлось остаться дома.

Поначалу безмолвие, в продолжение которого я укорял себя за длинный язык, ведь теперь мне предстоит выбирать между израильской спецслужбой и частным немецким сыском: трудно сказать, что хуже в ее глазах, а честно рассказать, кто я и что я и что учу Дэниса Рора играть двумя пальцами "Собачий вальс" и как раз тринадцатого декабря от Роров узнал то, что, собственно, и сказал ей, — значило свести воедино мое настоящее и мое прошлое. Я этого не желаю ни под каким видом. Для Циггорна, для Роров, для Шора, для Ниметца у меня не было прошлого.

Ах, за ними за всеми установлена слежка? По какому праву! Ну ясно, какое тут может быть право. Отлично! Она предпочитает, чтоб за ней следили издали, — с этими словами меня ссадили с корабля, к счастью, не на необитаемый остров, а вблизи остановки трамвая. Глупо.

Дома перед телевизором: по первой — спорт, по второй —

мыльная опера со взрывами бутафорского смеха за кадром, по третьей — дискуссия с участием Петры (даже двух) и еще нескольких добрых людей. О чем? Я уже не стал вслушиваться. Может быть, почитать книжку?

У меня был страшно неприятный осадок, хотя — я в этом себя убеждал совершенно справедливо — на больший успех, чем сегодня, рассчитывать просто не приходилось. Полный успех был бы пресный, без тайны, без загадочного сопротивления, без портрета Гитлера (черт побери!). А так, глядишь, и разгадка будет ого какая! А на Петру плевать — плевать! плевать! плевать! Делу это не помеха, а в остальном — плевать! Я переживал. Гитлеры, геббельсы, Доротея Кунце, живое их продолжение, — ко всему этому я относился с академическим бесстрастием, а здесь переживал. И пусть себе думает, что каждый ее шаг фотографируется, — есть, наверное, чего испугаться. Так что же, почитать книгу или послушать музыку?

По УКВ первая же станция передавала дуэт Юдифи и Саломеи — сцена во рву: среди груды обезглавленных тел они ищут Олоферна и Иоханана, чтобы вернуть их к жизни. Готлиб Кунце, "Обмененные головы". Случайностей нет, меня дразнят. Я вспомнил, что хотел привести женщину, и с четвертой телефонной попытки преуспел, сговорившись с одной продавщицей (мой сераль! продавщицы или сестры милосердия — символично, не правда ли?)

На следующий день телефонный звонок прервал мой второй сон — первый сон был на совести моей гостьи, к девяти спешившей на работу. Кто ко мне мог звонить: какой-нибудь оллендорфский театр, с предложением — за которое я ухвачусь со спортивной жадностью? Шор — хочет махнуться спектаклем: Рождество его, "Сильвестр" мой? Мамаша ученика: придти им сегодня на урок или у меня тоже каникулы? Почивавшая у меня продавщица просит два билетика на "что-нибудь хорошее"?

Но звонок был из Израиля. Эся получила мое письмо и спешила высказать все, что она по этому поводу считает. Институту "Яд Вашем", откуда она звонила, — не из дому же, да и разговор, можно сказать, служебный — ее соображения стоили марок под сто (курс падающей лиры мне более неведом, небось, "земля стремительно приближалась").

Я совсем рехнулся — изображать Кунце спасителем евреев. Понимаю ли я, какой это (в нос, по-французски) *masacre*? Или

здесь, в Германии, у меня уже все чувства окончательно атрофировались? Кун-це!.. Из-за которого ее несчастный отец так настрадался, этот типичный садист, а что он в тридцатые годы говорил! В тридцать восьмом они-таки сорвали ему в Париже премьеру... И — страшно выговорить: Праведник мира. Остались ли у меня хоть толика святого в жизни? Сомневается. Немецкая свинина — вот теперь моя святыня. Это до такой низости надо дойти, чтобы утверждать, что человек, который **сфотографирован** идущим на смерть, родной дед, вовсе не был расстрелян, а здравствовал и процветал все это время в Германии, на скрипке играл. А приветал его — Кунце! О, она понимает, почему я это затеял. Кое-кто за эту идею с большим удовольствием ухватится. Как же, сам внук раскопал. Так вот, чтоб я знал: этому не бывать. Она дочь и родной кровью торговать не позволит.

Я слушал, не пытаюсь — даже смешно — отвести от себя этот поток брани, оскорблений — обескураживающе чудовищных. Но когда, исчерпав, видимо, содержимое собственных болячек, она принялась вскрывать мои: не удивляется Ирине и очень даже за нее рада, три недели как свадьбу сыграли, в "Леиша" ("Тебе, женщина") было напечатано, кто был приглашен... — тогда я просто положил трубку.

И рухнул на кровать, натянув на голову подушку. Она своего добилась, загадка Юзефа Готлиба, включая антураж, сопровождавший попытки ее как-то разрешить: кормление с ложечки Глазенаппа, ночлег в "Гаване", "неизвестный автограф Бетховена", Доротея Кунце, которая знает все, но почему-то молчит — или потому и молчит? — короче, все это вдруг почернело, съежилось, и осталась на утро лишь горстка золы да кусочек олова — как в сказке Андерсена.

Я-то думал, что уж все, выкарабкался. Когда приходил этот тип из *Judische Gemeinde*, со мной ничего такого не произошло ведь. На сей раз, правда, специально нерв не искали — чтоб не дать все же "чувствам окончательно атрофироваться". Не буду продолжать — переписывать первую главу; ибо состояние этих дней было близко к тогдашнему, разве что не выразилось в попытке прибегнуть к огнестрельному оружию, а ограничилось лишь тихим скулежом. Этими днями стали двадцать четвертое и двадцать пятое декабря — классический контрапункт для "тихого скулежа". Потом, конечно, я кое-как разогнулся, отряхнулся и двинулся дальше. Только еще какое-то время отвечал

на телефонные звонки с опаской — боялся услышать Эсин голос.

В седьмом потомке я воскресну
И в семь часов опять исчезну.
Таков мой рок, и горе той,
Кто станет вновь моей женой.
(Честертон, "Обреченный род")

6

Новый импульс к своему продолжению эта история получила в начале следующей осени. До этого я и в мыслях к ней не возвращался. Если те, кого она касалась непосредственно, две шестидесятилетние женщины, заупрямились и слышать ни о чем не желают, и в этом вопросе, при всей своей тотальной несовместимости, солидарны — то, спрашивается, чего же я лезу? Я в глаза не видел несчастного Юзефа Готлиба, тем более не моя забота реабилитировать Кунце — то чужой, совершенно замкнутый мир (куда ты пытался влезть), со своим уставом, непосвященному неведомым, со своим безумием, со своим здравым смыслом, со своими ересями. Тебя не приглашали ни с какой стороны, не просили соваться.

И я больше не сунулся. Даже думать не хотел об этом. Время шло, жизнь шла дальше — продолжая укоренять меня в пластмассу косвенной речи. Иногда на меня находило что-то. Вдруг я написал стихотворение. В другой раз написал страницу прозы — перечитал, харьковский Томас Манн, все корни наружу; сперва креститься надо, а после уж в русские писатели подаваться. А то говорящая голова, без туловища. Вместо него трубки, капельницы, целая комната аппаратов. Это сравнение оправдано. Мое самосознание — это действительно самосознание отрубленной головы, живущей в лабораторных условиях. Самому не то что не прервать этот ад, даже шеи нет, чтоб шевельнуться.

Ладно. Слишком мрачно. Мидори Ито уезжает, вышла замуж за какого-то виолончелиста из другого, тоже оперного оркестра. Нередки внутрицеховые (внутримузыкантские) браки между японками и немцами. Что из этих браков получается, не знаю — пока еще они все новенькие, блестят как из магазина (ведь даже в "Мадам Баттерфляй" между первым актом и финалом опе-

ры, согласно либретто, проходит несколько лет). Сердце Дореми к тому же завоевал виолончелист, а они из музыкантов, по-моему, более других предрасположены к экзотическим бракам. Если б американские части во Вьетнаме состояли из одних виолончелистов, им для отступления понадобилось бы вдвое больше самолетов.

Мидори устроила в кантине отвальную для "своих", в том числе и меня. Ее муж на этой квази-свадьбе сидел среди шуток, шума, застенчиво улыбающийся, как невеста. Огромный, потный, накачивавшийся пивом в течение целого дня в объемах, позволяющих перефразировать Архимеда, Ниметц (не будучи "своим", то есть из группы первых скрипок, он присутствовал по праву вездесущего инспектора), Ниметц провозгласил тост за то, чтоб на освобождающуюся вакансию непременно взяли снова японку, и принялся комически причитать: Мидори уходит от нас!.. Часом позже он же, прощаясь со мной — мы оба жили на казенных квартирах в домах по соседству, — сказал: японок больше в оркестр пускать нечего, шеф не хочет, и правильно — что это, немецкий оркестр или "ауслендерамт"? Но тут же подмигнул: к концертмейстерам это, конечно, не относится.

Коль скоро действительно существует такое понятие: *deutsche Erlichkeit* — насколько же двуличны должны быть остальные европейцы? Об этом я спросил бельгийца Шора, который наедине со мной не стеснялся пустить шпильку по адресу немцев. Мы с ним просматривали корреспонденцию в связи с конкурсом, объявленным на место Мидори. В ответ Шор неожиданно заступился за немцев, за их право гордиться своей честностью — с оговоркой, что, может быть, только конкуренции с вами, русскими, они не выдерживают, а так... Пожил бы я с французами, затосковал бы по немцам. Французы, узнав, откуда ты, еще имеют обыкновение спрашивать: "*Comment pouvez-vous vivre parmi ses Boshes?*" "Ах, как вы можете жить среди этих бошей?" — таким тоном, как будто говорят: "Как вы можете одеваться у этого портного?" Помолчав, взглянув на меня, Шор прибавил, что точно так же пятьдесят лет назад говорили: "Как вы можете водиться с этими евреями?"

Вступившись за немцев, клевать которых за пределами Германии считалось чем-то само собой разумеющимся — едва ли не правилом хорошего тона, Шор тем не менее отнюдь не кинулся исполнять пожелание Лебкюхле относительно японок: он работал в Циггорне уже тысячу лет, у него были какие-то ста-

рые счета с Лебкюхле ("этой швабской задницей"), за чистоту немецкой крови ни мне, ни ему опять же ратовать было ни к чему — словом, мы послали приглашения играть конкурс сразу трем японкам и одной кореянке. Другое дело, попасть к нам им было все равно что богатому, по известной поговорке, попасть в рай — при нынешних умонастроениях Лебкюхле (и других — вдруг запаниковавших: во что скоро превратится наш оркестр!). Кумико Сакаи, "старейшая" наша японка и первая в истории Циггорнского оркестра скрипачка, качала укоризненно головой по этому поводу: "немецкие мужчины..." — деликатно подменяя предрассудок национальный предрассудком общечеловеческим, как бы более простительным.

Свободное время мое "было в пролежнях". Это российское — правда, скорее "незамужнее", чем "неженатое": дома — исключительно лежать. С книгой я лежал реже, больше — слушая музыку. Интересное чтение всецело поглощает внимание (все это так), но среди интересных книг хороших мало — и наоборот. Короче говоря, литература требовала усилий, музыка же, как искусство истинно христианское, врачевала душу, не требуя ничего взамен. Чтоб не есть в одиночестве, я включал телевизор, приурочивая свои трапезы к последним известиям или каким-нибудь политическим программам (а что еще смотреть — как кривляются загримированные мужчины и женщины по давным-давно утвержденным канонам?). Судя по телевизионным передачам, Германия продолжала и продолжала оттягиваться налево, с тем большей стремительностью обещая сорваться в обратную сторону. Демонстрантам лица одолжила Крестьянская война — одежду даже не потребовалось. По чистому недоразумению еврей в их сознании — свой, поскольку жертва их врагов (а врагов — поскольку "фашизм есть диктатура наиболее империалистических элементов финансового капитала..." до сих пор помню, всем классом заучивали). Но скоро, думаю, это недоразумение разрешится: толпа идеалистов под любым флагом к вечеру кончает еврейским погромом. Уже сейчас можно дать выход своей антисемитской похоти, не понеся при этом морального урона; наш театр, например, чуя спрос, инсценировал ораторию Генделя "Иеффай" в духе пацифизма. Как раз вошло в моду многозначительно обносить сцену колючей проволокой, действующих же лиц одевать в солдатские шинели. Наш циггорнский Мейерхольд — он же интендант, милейший человек с лицом скопца, — милитаризировал так опер пять: "Дон-Карлоса",

"Фиделио", "Лоэнгрин", еще что-то, еще что-то. Но до "Иеффая" обличение зла было весьма абстрактным (действие Дон-Карлоса разворачивалось в какой-то банановой республике). В "Иеффе" же происходило следующее. При полном затемнении зала шумовая иллюстрация фронта: автоматные очереди, разрывы бомб, режущий звук проносающегося истребителя. Сквозь проводочные заграждения пробивается девочка-подросток и, отыскав в траншее какой-то свиток, при свете фонаря читает: "И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, *что* выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. И пришел Иеффай к аммонитянам — сразиться с ними, и предал их Господь в руки его. И порастил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми. И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпанами..." Увертюра. Колонна на марше — в касках, с автоматами. Впереди Иеффай, через плечо перекинута танковая гусеница (Лично у меня сразу возникла ассоциация с генералом Ариэлем Шароном). Хор мальчиков в черных лапсердаках, круглых шляпах, размахивая израильскими флажками, встречает победоносную армию Иеффая-Шарона. Из дома, как и обещано, выходит дочь, которую он теперь должен убить во исполнение кровавого обета. Как жертвенный камень, посреди сцены скрижали с еврейскими письменами, повсюду люди в касках — пощады не жди. Правда, добрый Гендель, вопреки менее доброму еврейскому Богу, в последний момент посылает ангела — спасти несчастную от заклания. Но надо видеть этого ангела: с большими, как уши, крыльями и дымящимся пулеметом в руках — словно в пути повстречал эскадрилью сирийских "мигов".

Этот спектакль, "насквозь проникнутый", "смело воплотивший" — видимо, в расчете на такую реакцию передовой польской критики, — мы везли в Польшу. То есть они — без меня. Циггорн был побратимом Глодному Мясту (раз в год "местком" собирал по две марки для детей тамошних оркестрантов). Один спектакль планировался в Глодном Мясте и три в Варшаве, в рамках музыкального фестиваля "Варшавская осень". В Советском Союзе "Варшавская осень" — это звучало. Из Харькова в составе делегации Союза советских композиторов всегда кто-нибудь ехал, а потом на "встрече" со студентами музучилища

делился впечатлениями: крайний формализм, локтями на рояле играют. Вообще, Польша это уже Америка.

Кроме "Иеффая", они еще везли с собой "Ариадну на Наксосе" и "Котку польскую" ("Польскую кошку") — оперу Казимежа Жуликовского, в партитуре которой, по счастью, не было скрипок.

Репетиции начались в июне, перед самым отпуском. В отпуску я недурно набил карманы фиалкового смокинга — облачения музыкантов куроркестра, с трех до пяти игравшего разные поппури, польки, вальсы в кургаузе Баденвейлера. Правда, Шор, вагнерианствовавший в это время в Байрейте, заработал раза в полтора больше. Из новых ощущений этого лета назову, для меня самого же неожиданное, посещение игорного дома — в лиловом смокинге... Но — не за то меня отец порол, что играл, а за то, что отыгрывался. Сказав себе наперед: проигрываю двести марок — я, в надежде их вернуть, то призрачной, то, казалось, уже реальной, просадил полторы тысячи. Злой на себя не могу передать как, на следующее утро я зашел в какой-то банк и пожертвовал сотню на борьбу с раком (мама). После этого, выйдя на улицу, я понял, что прощен: со стены противоположного дома на меня смотрела мемориальная доска с надписью порусски: "В этом доме пятнадцатого июля 1904 года скончался Антон Павлович Чехов". Сегодня было как раз пятнадцатое июля. Это неважно, что я никогда не любил Чехова (слишком уж все им было ясно со мной, этим русским писателям). Это неважно...

Гастроли циггорнской оперы в Польше оборачивались для меня дополнительными двумя неделями отпуска в сентябре, на который я думал (увы, должен был) махнуть в Израиль, продлить паспорт — кстати, это мой израильский паспорт явился причиной того, что вторым концертмейстером вместо меня в Польшу ехал концертмейстер из Либенау. Первоначально предполагалось, что я эти две недели буду играть за него в Либенау, — и я уже снова потирал руки. Но — долго объяснять почему — сорвалось. А тут, ввиду неудачной попытки договориться с израильским посольством о вторичном продлении паспорта (один раз они его уже продлевали), мне все равно предстояло паломничество на Святую Землю — вот я и решил воспользоваться образовавшейся дырой в моем расписании. Я уже заказал билет в "Люфт Ганзе", и что же — за двенадцать часов до вылета, моего в Тель-Авив и циггорнской оперы в

Польшу, заменивший меня либенаузский концертмейстер попадает в аварию. Слепой случай? Нимецц ворвался ко мне в квартиру с полицейской непосредственностью, благо жили мы рядом: все, я еду с ними, никаких Израилей! Гастроли под угрозой срыва (ну это он загнул). Звонили уже в Варшаву, в МИД — в виде исключения в мой недостойный польской визы израильский паспорт, так уж и быть, они ее шлепнут. Прямо в Глоднем Мясте... Э, так дело не пойдет, нет, нет, нет. У меня билет оплачен в Израиль, это не шутки, это сумасшедшие деньги (Я не стал уточнять сколько, потому что на самом деле деньги не такие уж и сумасшедшие, но Нимецц, которому Израиль представлялся краем земли, страной антиподов, охотно этому верил. Это его жена, выгуливая однажды своего сеттера, спросила меня: а собаки в Израиле есть?)

Нимецц сначала пытался атаковать меня с помощью каких-то параграфов, обязывающих и т. д. Но я знал, что это блеф — от него же, месяцем раньше объяснившего мне, что как раз все эти параграфы действуют только в пределах ФРГ. Поэтому меня "легче обязать эти две недели работать сторожем в театре, чем играть "Ариадну на Наксосе" в Варшаве". Когда я напомнил ему эти его слова, он стал — с моего любезного позволения — звонить к интенданту, обладателю интеллектуального лица. Впервые мне выпала честь побеседовать с этим господином, заверившим меня, что конечно же, конечно же и еще раз конечно же — я могу решительно не опасаться. Как израильтянин, я решительно опасался ехать в столь недружественную моему отечеству страну, это в первую очередь, и уже во вторую очередь опасался, что мне не будет возмещена стоимость моего тель-авивского билета — приобрести который я был абсолютно вправе, поскольку существуют параграфы... Ну конечно же, забота о моей личной безопасности будет входить в "компетенцию", а что до тель-авивского моего билета, то — гм... Он не может обещать мне возмещения стоимости билета, по крайней мере, не проконсультировавшись с господином финансовым директором, который уже вылетел в Глодне Място, но совершенно уверен, что его друг, директор циггорнского отделения "Люфт Ганзы" — его большой друг, — поможет мне изменить дату полета на любую приемлемую, ведь все равно я должен буду лететь в Израиль, продлевать паспорт — хотя, *конечно же*, он убежден, что вскоре при поддержке театра у меня уже будет (очень сладко) немецкий паспорт.

Ну, чего ради немецкого паспорта не сделаешь — даже в Польшу поедешь. Я спросил у Ниметца про либенаузского концертмейстера. Будет жить, куда подсоединен ко всяким трубкам, капельницам. Целая палата приборов — нет, слуга покорный, чем так жить, лучше умереть. А я что думаю?

Либенаузский концертмейстер, каждый год, как и Шор, ездивший в Байрейт, лет пятидесяти, очень подвижный, всегда тебе подмигивающий, мнимый симпатяга — этакий балагур с камнем за пазухой; но при этом в антракте, вопреки своему "имиджу", достававший аккуратно завернутый в фольгу (женой?) небольшой чиновничий бутерброд — два ломтика черного хлеба, проложенных сыром — и съедавший его с непроницаемым лицом. И вот он убит. Из-за меня. И на кой же дьявол меня понадобилось гнать в Польшу?

Как описать эту поездку — шаг за шагом? Это было бы примерно то же, что путевые заметки внутри детектива. Если б я вернулся, а в Циггорне меня кто-то ждал: расскажи, как съездил, как это было, в Польше-то? Или: папа, расскажи, какие были интересные случаи? Но по возвращении домой меня окружала та же немота, что и в крохотном номере многоэтажной гостиницы на Круче — возведенной еще, надо думать, при жизни Лучшего друга польского народа.

Какие же были случаи? Самолет советского производства, румынской авиакомпании, совершающий спецрейс в Польшу над территорией Чехословакии, поскольку ГДР "не дала" какой-то коридор. Я боюсь показаться вольноотпущенником — нуворишем свободы, отводящим душу среди бесправия своих же собственных, в прошлое отбрасываемых теней. То же относится и к восприятию явлений чувственного мира. Гвоздь, натуральный гвоздь, зачем-то вбитый в подлокотник моего кресла. По выходе из самолета (на эту планету) запах, "знакомый до слез", о котором, однако, никогда прежде не подозревал, — советского бензина. Впрочем, счастье узнавания длится полторы секунды, после чего воздух уже не воспринимается как своего рода инопланетный газ. Цвет, вернее его отсутствие — к нему зато глаз отказывается привыкать. Если б только речь была о дорожных знаках, полиграфии, расцветке кофточек. Но сама листва, казалось, подержи еще с мгновение палец на соответствующей кнопке дистанционного переключателя — сама листва делается вот-вот черно-белой (может быть, этому есть объясне-

ние "экологического характера"?). На центральной площади Глодного Мьяста вроде бы даже прибрано, и все равно грязь. Это не пестрый мусор Запада, это грязь, заметаемая по углам нерадивыми рабами.

Во-от. Их рабство и делало нас в этой стране абсолютными господами, рабство, а не бедность — чего никто из моих соработничков не понимал. Даже побывавшие в *той* шкуре проявляли поразительную забывчивость. Несопоставимость правовая, социальная, прокладывала дорогу той несопоставимости материальных возможностей, которой господа артисты из Западной Германии пользовались всюю, но с чувством, что совершают что-то противоестественное. Но безнаказанно. Отсюда та странная антипатия к собратьям по скрипкам и тромбонам из местного оркестра, когда те подходили к нам лизнуть руку, — отсюда, а вовсе не потому, что, дескать, не такие уж они бедные и голодные — как сами наши же пытались это себе объяснить. Словно готовились увидеть жителей Биафры — а недостаточно отощавшие поляки чувствовали, как на них смотрят, про себя думали: вот немцы — сволочи, тем не менее привезенный им кофе — каждый получил пятисотграммовый кулечек — хватали, как если б в этих кулках заключалось спасение их жизни: благодарили, кланялись, прикладывали руки к груди.

Наши суточные равнялись их десятидневному заработку. А за сотню марок пугливые — впрочем, только с виду, согласно каким-то своим правилам игры — спекулянты готовы были пролить на тебя дождь из золотых. Поставленные перед необходимостью во что бы то ни стало опустошать содержимое своих бумажников, "немецкие мужчины" (о Кумико!) робко косились — но не более того — на захудалых польских проституток. А так — предавались обжорству. На этой почве были заболевшие.

Я наблюдал за неким Шойбле — то был экстраординарный скупец, который к деньгам относился, как иные к хлебу. Всякий расход для него был глубоко нравственным переживанием, причем, добрый христианин, чужие копеечные убытки он принимал к сердцу так же близко, как и свои собственные. Этот польский разврат его убивал.

Отправившись в первый же вечер на прогулку, я, где только мог, высматривал приметы постылого советского социализма. Это не представляло большого труда, и, видимо часа через полтора, вокруг меня образовалось мощное антикоммунистическое поле. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Когда,

стоя на черной пустынной улице, я рассматривал в окне государственного учреждения стенд с совершенно невероятными хаями и надписью над ними: "Изберем в Сейм достойнейших" — сзади слышались шаги, и меня попросили предъявить документы. Глядя в противоположную сторону той, в которую протянул паспорт, я ожидал, пока этот лингвист кончит его поворачивать вокруг своей оси (человек в гостинице "Гавана" был куда сообразительней). Есть вопросы? (По-прежнему в сторону.) На польского милиционера русский язык в сочетании с израильским паспортом действует, как водка с шампанским. Отдав честь, он, покачиваясь, удалился.

Вопреки напутствию, даваемому советским гражданам перед отбытием их в Речь Посполитую — что лучше плохой польский, чем хороший русский, — я ко всем исключительно обращался по-русски. И ничего, не побили. Даже не всегда презирали — зато говори я по-немецки, ненавидели бы всегда. Я же человек слабый, предпочитаю ненависти презрение (и если какой-нибудь психолог позволит себе в этом усомниться то мой ему ответ: не у всех потребность в реванше берет верх над защитной реакцией).

Сыграв и спев перед глоднемястинцами "Ариадну на Наксосе", мы автобусами польского туристического бюро "Орбис" уехали в Варшаву. По прибытии сильно поскандалили — отель не понравился, хоть и считался для иностранцев. Наверное, для других иностранцев. Действительно, у входа стояли два летчика в знакомой форме — сперва я решил, что товарищи работают на линии "Улан-Удэ — Варшава", но, взглядевшись, увидел большие красивые значки с Ким Ир-сеном. Между тем администрация "Орбиса" в лице суперэлегантной пани, у которой шляпка, пальто, платье, чулки и туфли были "в тон" — одинакового лилового-сиреневого цвета, — принесла нам свои извинения. Сиреневая пани долго объясняла, почему так вышло (я еще забыл упомянуть перчатки сиреневого цвета и темносиреневые волосы на ногах). К двум ким-ир-сеновским соколам присоединилось еще столько же, потом еще столько же стюардесс, что не помешало им поместиться в подъехавшую "Волгу" с дипломатическим номером и уехать. Мало-помалу кольцо вокруг представительницы "Орбиса" редело. Другая дама какое-то время энергично прогуливалась мимо компании оркестрантов, уныло расположившихся в креслах и на диване. Не достигнув желаемого результата, она наконец воскликнула, поддев кула-

ком воздух: "Ну что же вы, мужчины!" Так культработник, желая расшевелить своих подопечных, предлагает спеть хором что-то бодрое.

Чуть позднее я испытал то же, что — Робинзон Крузо, обнаружив след человеческой ноги на своем острове. Сзади меня, а я стоял перед прилавком с сувенирными безделушками — в основном Шопеном, но также и серебряными ложечками в виде сирен — произошел диалог по-русски (шепотом): "Послушай, а туалеты здесь бесплатные?" "Нет, но у них здесь на сознательности все. Блюдец стоит, и никто не проверяет". Когда восточной, т.е. в данном случае кавказской наружности дама ушла в направлении заглавной литеры D wie Deutschland, я поинтересовался у другой, откуда они. Другая смутилась вначале, но потом доверчиво поведала, что "они" — музыкальная делегация на фестивале "Варшавская осень". От Советского Союза. Состав многонациональный: есть и русские, и армяне, и из Средней Азии — кто хочешь. Они с мужем — это он вообще-то в составе делегации, а она туристка, — так вот, они из Харькова.

Так неожиданно я повстречал своего училищного преподавателя музлитературы Эдуарда Петровича Совенко. Затем на протяжении нескольких дней разыгрывалась очередная версия гоголевского "Ревизора". Руководительнице группы я был представлен Совенко как его бывший студент — без лишних комментариев. На вопрос о месте моего проживания я, помявшись, ответил, что ну в настоящий момент здесь. Эта неопределенность направила мысль партийной чиновницы по ложному следу. Не забудем, что мы находились в Варшаве, где бдительность требовалась иного рода, нежели в Мюнхене; где страшны местные, а незнакомец, заговоривший по-русски, от которого в Мюнхене следовало бы шарахнуться, как партизану от полиция, — к нему здесь, в Варшаве, было как раз полное доверие: свой. И если этот "свой" уклонялся от ответа на какой-то вопрос, значит *так надо*. А тут я угостил всю честную компанию билетами в кино — они рвались на фильм ужасов с Катрин Денев в роли вампириши. Партийная амеба вконец разамебилась: так сорить иностранными деньгами мог... Не берусь судить, что она думала — кто я, но вела себя со мною после этого точно, как городничий с Хлестаковым. Степень их материальной стесненности не поддавалась никакому описанию. Поляки были их западными немцами. Какое это безрадостное чувство: великану

свести знакомство с лилипутами, минуя промежуточную инстанцию — Гулливера. И даже не великану. Лилипуту-мутанту.

Но это был "народ, что на моем говорит языке" (это, кажется, цитата из Гете: "Das Volk, das meine Sprache spricht"). Я провел с ними в качестве почетного гостя — принимать которого одно удовольствие: там винцом угостит, там эскимо купит — два дня, даже съездил в Желязову-Волю. Лично я никому не лгал, просто меня никто ни о чем не спрашивал, все — "понимали". Супруги Совенко все понимали тоже и хранили тайну, справедливо полагая ее уже не столько моей, сколько своей: все-таки я не мог бывшего учителя, харьковчанина, оставить на три недели с одной тысячей злотых в кармане; теперь таких карманов у него стало двадцать.

Не обошлось и без "немой сцены" — все по Гоголю. Чета Совенко захотела побывать на западногерманской опере, мало того, на Рихарде Штраусе, который в Советском Союзе на сцене не ставился, наверное, в течение полувека. Польша в этом смысле недалеко ушла от России: "Саломея" в последний раз исполнялась в Варшаве в тридцать пятом году, "Ариадна" — никогда. Билеты были распроданы. Члены советской делегации, которым доставались лишь контрамарки в полупустые залы, даже мечтать не смели о том, чтобы попасть на наш спектакль. Я попросил Ниметца устроить мне два билетика. До сих пор немцы только хитро поглядывали на меня, внедрившегося в русское общество, но "не узнавали", хорошо понимая деликатность ситуации. Умение вести себя в деликатных ситуациях — черта сугубо западная. Поэтому я никак не ожидал, что Нимец пожелает лично вручить билеты на "Ариадну" да еще с таким церемонным видом, будто закладывал основание грядущей русско-немецкой дружбы. Он рад пригласить друзей своего коллеги по Циггорнской опере господина Готлиба на сегодняшнее представление.

Немая сцена. Жрица от идеологии близка к обмороку. Остальные в порядке идейной дисциплины следуют ее примеру, но видно, что больше симулируют. Супруги Совенко, не растерявшись, изображают людей, оскорбленных в лучших своих чувствах. Они не знали! Они же, ей-Богу, ни о чем не знали! Это не мешало им побывать в театре и после спектакля не без смущения передать от их слабонервной атаманши пятьдесят злотых, она возвращала мне стоимость ее билета в кино — она просит сказать, что такие большие деньги не может принять от иностранца.

Больше мы не виделись. Наутро их увозили в пятидневную экскурсию по стране: Краков и т. д. Вот будет о чем в дороге посудачить и над чем позлорадствовать. Втык-то за потерю бдительности ожидал не их, а дуру-начальницу. Той теперь надо было поторопиться: успеть самой на себя настучать, прежде чем это сделает кто-то другой, быть может тот же Совенко.

"Иеффай" уже в Варшаве был исполнен (удостоился ожидаемой рецензии), "Ариадна" тоже. Оставалась "Котка Польска" Жуликовского — без участия скрипачей. Их, т. е. нас, не дожидаясь окончания гастролей — ждать пришлось бы еще несколько дней, — отправляли поездом (через Берлин) в Циггорн, совершенно одичавший, надо полагать, за двенадцать дней без оперы. Ехали сутки, больше, коротая время гэдэзровским пивом, картами, мечтами о скорой встрече с родными и близкими, а кто пива не пил, в карты не играл, родных и близких не имел, тот занимал себя разными мыслями, верней, это только так говорится: "разными" — одной-единственной мыслью, ибо за два часа до нашего отбытия (17.40) я уже знал, зачем понадобилось меня тащить в Польшу (такой страшной ценой: концертмейстер из Либенау отправился к своим древним германцам даже раньше, чем я был приглашен — на другой день по возвращении из Варшавы — сыграть вместо него оперетту "Марица". Тогда же мне рассказали обстоятельства несчастного случая: он не остановился на "треугольнике", и его протаранила машина. А что тот, второй шофер? Оказывается разбил себе фару и бампер помял, вот и все).

Утром, выйдя из гостиницы: советские люди уже уехали, оставив по себе весьма жалкие воспоминания; до отхода берлинского поезда было полдня. Куда себя деть? Тут я вспомнил, что сегодня, кажется, *йом киптур*. Кто мне это мог внушить — может быть, включил вчера польские последние известия? Случайно увидел в руках одного из наших немецкую газету, а там заголовочек? Не знаю, но я вспомнил, что сегодня Судный день, — и проникся элегическим чувством. Не спеша обогнул гостиницу, обменялся приветствием со вчерашним валютчиком — у которого купил двадцать тысяч для Совенко. Интересная деталь: прежде чем свершить сделку, этот тип довольно испуганно попросил меня перейти с ним на немецкий. Я же говорю — у них какие-то свои правила игры. Еврейские ангелы по-прежнему кружили над моей душой. Йом киптур... Варшава, Германия, Израиль, Харьков. У меня вдруг задрожали губы, я взял такси и поехал к памятнику гетто.

Я был не так уж и оригинален. Каждые четверть часа к памяtnику варшавского гетто — о художественных достоинствах его лучше умолчать — подъезжал западный автобус. Присев в некотором отдалении на скамейку, я дожидался, пока очередная группа, на сей раз американских дядюшек и тетюшек, очень клетчатых, все время сморкающихся, отбудет — выслушав объяснения своего гида. Или это был просто местный старожил, случайно оказавшийся здесь: маленький человечек в берете, с палкой, которой он по ходу своей лекции тыкал в пространство. Да, конечно, они здесь встретились случайно. На прощание все полезли в карманы, в портмоне... И разошлись. Одни, не переставая сморкаться, сели в свой автобус, другой, налегая на палку, побрел прочь.

Я подошел к монументу. Человечек появился снова. Вачале он меня не замечал, просто пришел в *этот* день на *это* место. Постоять, помолчать. Потом встретился со мной глазами. Аид? Я кивнул — и был вознагражден рассказом о том, что выпало ему пережить во время войны. Отец, мать, двенадцать братьев и сестер... а он уцелел только благодаря... Сам он женат на католичке, жена очень болеет.

Я понимаю, он говорит это всем. Подкарауливает туристов, и те, как я, дают ему что-то в твердой валюте. (Странно, что их даже не несколько таких, пять-шесть человек скажем, все с палками, все рассказывают историю своей жизни. Может быть, они установили очередность.) Но я знаю и то, что рассказ его — сущая правда. Это действительно было. И было с ним. Ибо куда было ему деться. Русского он не понимал, и говорили мы — он на идиш, я по-немецки. А откуда я? (Из Израйля.) А что я здесь делаю? (По работе.) Ага... Я упомянул, что до войны моя мать жила в Варшаве, Бернардинская, семнадцать. Ах, совсем рядом с ним, он живет на Радомской, Бернардинская, семнадцать — это где прачечная. А что, разве эта улица вообще сохранилась? Сохранилась, да, и дом тоже. До войны там жили небедные люди. А он живет на Радомской, восемь, это рядом.

Подъехал голландский автобус. Я сказал "шалом" и ушел — чтоб не мешать ему побираться именем десяти колен Израилевых. На месте еврейского гетто стояли построенные в пятидесятые годы бетонные коробки. Больше здесь делать было нечего. Я сел в покорно ожидавшееся меня такси: Бернардинская, семнадцать, это недалеко от Радомской. Знам, знам.

Я знал, что у них был длинный чугунный балкон. Вот он, на

втором этаже. Прачечной же почему-то не оказалось — да и трудно себе было ее представить в этой мрачной, до кирпичного мяса ободранной трущобе. Кто и как еще мог здесь жить! Впрочем, можно подумать, что сам я рос в Сен-Жерменском предместье. Еще как могли жить — и жили. Почему бы, собственно, не подняться на второй этаж и не зайти в квартиру. Маме было четыре года, когда они сюда въехали (Эся была еще меньше). В этом доме они прожили ровно двадцать лет. Я знал, сколько у них было комнат, как выглядел кабинет отца, какая комната была ее, какая Эсина, где была "людская" (комната для прислуги — все это время у них служила русинка из Галиции, ее привезли из Вены). Мне много чего рассказывалось об их варшавской жизни. Все было, конечно, идеализировано, представлялось как земной рай. Меньше я знал о своей бабке. По существу, только то, что ее звали Верой и что она умерла в год их переезда (1919). Мама ее совсем не помнила. Так вот он, этот дом. Так же, с этого места, лет сорок назад, на него могла смотреть мама. Или наоборот, смотреть на меня с этого балкона.

Я поднялся на *их* этаж. В потемках, не найдя звонка, я громко постучал по листу фанеры, заменявшему отсутствующее стекло в двери, еще старой, — ручаюсь, здесь еще можно было отыскать их следы.

Какая-то бабка открыла мне — и давай пятиться: пан профессор... пан профессор... не... не... Крестьясь при этом. С перепугу едва ли не готовая умереть. Не-е... пан профессор... не-е...

Такое со мной уже во второй раз, меня уже однажды за привидение принимали — теперь, по крайней мере, я знаю за чье. Очень твердо, очень четко выговаривая по-русски каждый звук: меня зовут Иосиф Готлиб, я внук Юзефа Готлиба, профессора скрипки, сын его дочери Суламифи. Мне вспомнилось вдруг имя русинки: Галина? Вас зовут Галина, моя мать рассказывала о вас. Вы ведь приняли меня за своего хозяина? Я похож на него?

Полный рот воды — провела лишь рукой по лбу. Тот же самый жест! Тот же самый жест был у Доротеи Кунце...

В квартире еще кто-то жил, в России бы здесь точно ютилось несколько семей. Из глубины донесся резкий голос: кто там? Это к ней — старуха подтолкнула меня в свою комнату. Маленькая, значит это и есть "людская". Так и прокуковала в ней всю жизнь. В комнате было посветлей, аккуратно засте-

ленная кровать под тюлевой занавесью с горкой подушечек, стол, шкаф, в углу православный образок.

Пусть она не пугается, я всего лишь внук. В Варшаве по делам, и захотелось взглянуть на дом, где мать выросла. Мама умерла несколько лет назад. А что пан Юзеф? Погиб в войну... только неизвестно точно как. А она-то думала, слава Богу, пан Юзеф с дочкой в России схоронился. Ой, что тут они с жидами делали. А пани Эся что — как коза была шкодливая, сама до Парижу уехала... В Ерузалеме! Боже мой... А пани Сулю, значит, Бог прибрал — крестится.

Я повторяю свой вопрос: что, так уж я похож на своего деда? Сейчас она сейчас покажет мне его фото — я сам увижу.

Сохранились, выходит, еще фотографии, кроме той — "растрельной". Беру, смотрю. Фотография, как снимались когда-то, — не стесняясь позировать. Во фраке, со скрипкой, строгий взгляд, в ответ требующий серьезности. Обратная сторона была типографским способом разлинована под почтовую карточку. Косая надпись в две строки по-русски: "Галине Куковаке, с пожеланием счастья в жизни", дата (27 г.), подпись и скрипичный ключ — из-за которого минувшей зимой весь сыр-бор разгорелся. Но это все детали, главное не это. Теперь мой черед наступает падать в обморок: в точности как мой — шрам на лбу!

Описание охватившего меня ужаса нуждается в самых простых и самых банальных выражениях: мороз подрал по коже, голос пресекся, дыхание перехватило. Пока я смог взять себя в руки и издать хоть слово, прошла банальнейшая вечность.

...Я этого не знал. Как это так может быть? У меня... у меня это несчастный случай... на военной службе.

Этот след у пана Юзефа — значит, это так было. Когда случилось у него это несчастье с супругой, в Вене, она ведь была уже, дай Бог, на шестом месяце. Это было на Пасху, католическую Пасху. В среду или в четверг. Пана профессора не было, принесли письмо в середине дня. Супруга его как прочитала, так сразу велела вызвать извозчика. А пана-то Юзефа нету и нету. Вечер уже, я сама. Появляется наконец — и лица на нем нет. Не спрашивает, где фрау Вера, а сразу: где детки! А детки были у одной фрейляйн — он забыл. Я тогда ему сказала, что фрау Вера... он только рукой махнул и пошел в кабинет. Я не знаю, накрывать на стол или нет. Прямо как подсказало что-то — пошла спросить. Постучала, открываю дверь.

Мне тогда восемнадцать лет было, молодая совсем. Открываю и вижу: он стоит с револьвером у виска. Я закричала — он и промахнулся. Но после долго был плох. Все лежал с завязанной головой, кто к нему ни приходил — никого не хотел видеть. Только как успокоился да получше ему стало, сказал, что уезжает в Варшаву и если я хочу, то могу тоже ехать. Ну, к деткам я привязалась уже, работы другой все равно не было...

А как произошло, что она умерла? Отчего? Умерла — кто, фрау Вера? Она не умерла, она ушла. Оставила мужа с двумя деточками, сама на шестом месяце будучи, только от другого. К нему и ушла.

Согласитесь, мне было о чем подумать в поезде. Полностью переписывалась наша семейная история. И мама, и Эся, они-то все знали (теперь я понимаю, что значило Эсино "тебе *тоже* крикнули под руку?") Воображаю себе ее состояние, когда она меня увидала). Конечно, ревностно оберегаемой семейной тайной это, строго говоря, назвать было нельзя. Какая тайна, когда в свое время пол-Вены об этом знало. Просто в доме повешенного никогда не упоминалось о веревке. Дочери об этом не говорили, как поздней мама не говорила об этом со мной, а других источников, в Харькове... Кроме того, между катастрофой в масштабе одной венской семьи и моим рождением пролегли гекатомбы Освенцима и Гулага, сгорела Европа. Может быть, мой харьковский учитель — ученик деда — об этом что-то и слышал, из третьих рук, еще до войны. Но там, сообщая с мамой, деду воскурался фамилам, совершенно несовместимый с пересудами такого характера. То, что бабка умерла в Вене молодой, оставив деда с двумя крошечными дочерьми, для меня было фактом столь же несомненным, как существование этих самых малюток, деда, Вены. (Интересно, как сложилась ее жизнь, кто был счастливым соперником — может быть, она действительно умерла в том же году, например от родов? Это было бы весьма литературным выходом из положения и не очень бы противоречило тому, что говорилось мне. Старая служанка, тоже ведь литературный образ: Эвриклея, узнавшая Одиссея по шраму, — ничего не знала. Уехали и все, больше она в Вене не была.) Вообще-то обман исходил от мамы — не от Эси. А вдруг Эся была уверена, что я все знаю, мы с ней не так уж и часто встречались в Израиле, чтобы обо всем успеть переговорить.

Сквозь стук вагонных колес и звуки немецкой речи, так славно себя не стеснявшей, мои мысли фильтруются. Доро-тея Кунце... И она утверждает, что не была знакома ни с каким Йозефом Готлибом? Впрочем, что она лжет, было с самого на-чала ясно. Просто все стало на свои места — этот ее шок при виде головы в зеркале, во мраке прихожей... варшавская старуш-ка ведь тоже увидала меня не в лучах юпитеров. А шрам — это облегченная редакция ((Eossia) пишут в нотах) зияющей крова-вой раны, без которой уважающему себя привидению стыдно по-казаться.

Поразительно параллельны наши судьбы с дедом, словно я об-речен был мистическим образом повторить его жизнь. Продол-жить прерванные розыски, чтобы узнать свое будущее? Оно то-го не стоило. Оно представлялось настолько серым и пресным, насколько в былые годы виделось ослепительно-радужным, голо-вокружительно-праздничным, Парижем духа. Для того чтобы я вновь подрядился играть "Эркюля Пуаро и Агату Кристи в од-ном лице", положительно требовалось нажать на другую клави-шу, как это и случилось на вокзале в Берлине.

Не знаю, как у кого, а в моей жизни — я это не устану твер-дить — все подстроено. На первой западной станции, "Берлин — Зоологический сад" (эвфемизм для обозначения капиталис-тических джунглей), поезд стоял минут двадцать. Я вышел на перрон — порадоваться перемене обстановке. Дошел до газет-ного киоска, где за нормальные деньги, на которые польская семья могла бы кормиться три дня, купил газету. Называлась она "Русская мысль". Если не считать симпатичного шрифта, которым это название было набрано, больше всего мне нрави-лась в ней светская хроника: "Союз русских кадет во Франции рад сообщить своим членам и членам их семей, что традицион-ная чашечка чая состоится в этом году на кладбище Сент-Же-невьев де Буа". Или объявления — меж которых уже, правда, не встречалось гениального: "Даю уроки рояля за право поль-зоваться ванной" — но все же из номера в номер кто-то с на-стойчивостью судна, терпящего бедствие, предлагал за умерен-ную плату уроки русского языка плюс несложные услуги по хо-зяйству (т.е. сетку с продуктами тяжелее полутора килограм-мов бедняга уже поднять не мог). А редактировал эту газету не какой-нибудь Иванов-Петров-Семенов, но княгиня Беловеж-ская-Пущина.

Но и помимо всех этих эмигрантских виньеток, в "Русской

мысли” могло попасться что-то занятное. Ну вот хотя бы... ”Свободная трибуна” (рубрика), на целый разворот. Я еще стоял на перроне — кто-то повернулся спиной ко мне (в окне), освобождая путь пробирающемуся по коридору пассажиру с чемоданом. Говорю это к тому, что, увидя, о чем и что со ”свободной трибуны” вещает, я еще мог под предлогом, что ”встретил знакомого” (”Как, снова знакомого!” — воскликнет сосед-кларнетист, намекая на мой, уже всему оркестру ставший известным гоголевский опыт в Варшаве), перебраться в другой вагон, от всех подальше, и там прочитать — в обратном переводе с английского — статью Валерия Лисовского. Наверное, тоже сперва ее Ирине читал... Прилагается фотопортрет автора, парящего над миром с закрытыми глазами, ухватившись одной рукой за дирижерскую палочку.

”Нам не надо представлять любителям музыки Валерия Лисовского. За короткое время имя этого дирижера, выпускника московской консерватории, приобрело громкую славу. ”Роберт-Дьявол” на сцене и он же за дирижерским пультом”, писала торонтская ”Дейли Мейл” после его выступления в Мейлитоппол Хоуз. ”Со времен Бруно Вальтера венцам еще не доводилось слышать столь совершенного исполнения ”Линцской” симфонии. Невероятно, но композитор и дирижер на сей раз встретились как два равноправных партнера”, замечает критик газеты ”Винер Музикцайтунг”. Не так давно на страницах популярного израильского еженедельника ”Джерузалем Тауэр” появилась статья Валерия Лисовского по вопросу, вызывающему горячие споры среди израильской общественности: быть или не быть в репертуаре израильских концертных залов сочинениям таких композиторов, как Р. Вагнер, Р. Штраус и Г. Кунце. Уже из названия статьи следует, что высокоодаренный музыкант говорит ”нет” в самой категорической форме (статья называлась ”Не быть”). Напоминаем нашим читателям, что эту нелегкую проблему, стоящую сегодня перед израильянами, решать со временем предстоит и нам. И у нас были, да и продолжают быть, свои Кунце, свои Рихарды Штраусы — во всех сферах культурной деятельности. Какая судьба ожидает их произведения в грядущей, неподсоветской России?

Не быть. (Сокращенный перевод с английского Иды Каминки я сокращу еще в полтора раза.) В государстве евреев — народа, давшего миру бесчисленное число выдающихся музыкантов — не звучит музыка трех немецких композиторов (...). Нет закона,

который бы запрещал ее к исполнению. Однако попробуйте выставить в программу концерта любое сочинение любого из вышеперечисленных композиторов, и вся страна вскрикнет, как от боли. Зальется краской стыда — как от плевка. Сегодня раздаются голоса: игнорировать во имя некой абстрактной культуры болевые рефлексы нации. Но боль, как известно, защитная реакция любого живого организма, притом реакция непроизвольная, так что доводам рассудка неподдающаяся. Можно, правда, вызвать усиленные наряды полиции. Другими словами, связать, привязать к стулу вопящего от боли, одновременно просвещая: нам (полиции, муниципалитету, правительству) не по душе желание этих господ исполнить "Траурный марш" из "Гибели богов", но мы готовы умереть за их право это сделать. Потому что мы — свободное демократическое государство. Да... свободное демократическое государство, как и любое другое, — даром что еще немногим больше четверти века назад эти самые марширующие "боги" за нами не признавали права на жизнь. Теперь нам позволено стать "как все". Станем? Будем как ни в чем не бывало слушать "Путешествие Зигфрида по Рейну"? "Культурный альтруизм евреев заслуживает похвалы", — писал Ницше — превратимся в сверхчеловеков, для которых есть только одна мука: быть отлученными от некой абстрактной формулы прекрасного? Довольно! Нет абстрактной красоты, красоты для сверхчеловеков, — вернее, мы знаем, какой ценой за нее приходится платить. Дело не в личностях реальных носителей этой надзвездной культуры, пребывающей по ту сторону добра и зла, хотя их безнравственность глубоко симптоматична. (Следует тем не менее основательный пересказ расовых теорий Вагнера и отдельных эпизодов из дневников Козимы Лист.) (...) Дело отнюдь не в характере и даже не в поступках этих людей, а в том, что притягательность их музыки для человечества — притягательность огня. "Ах, Вагнер велик", — толкуют на все лады его апологеты. "Ах, Кунце пленителен". Ясно, если б Вагнер не был "велик", если б Кунце не был "пленителен", если б они были посредственностями, они не принесли бы в мир и малой части того зла, которое истребительный механизм нацизма сумел так чудовищно и так полно реализовать. Что если б нищий художник и заурядный антисемит Шикльгрубер не ходил в Вене, как маньяк, на все подряд представления "Тристана и Изольды", до одурения, десятки раз — валяясь потом на диване и заходясь от восторгов, — может быть, *ничего бы*

вообще не было? По мне, так это совсем не исключено. Мой тезис: не Гитлер убил шесть миллионов евреев, а Вагнер сделал это его руками. Мелодии из опер Кунце запоминались современникам как "Love story" или "Yesterday", а с ними в душу западал и текст: "Привет тебе, мой рыцарь! Но если меч твой обогрен еврейской кровью, то тысяча тебе приветствий". Антисемитизм Кунце отличала особая изощренность: к старой католической выучке, к новейшей немецкой фразеологии прибавлялись еще замашки декадента. Если угодно, в нем было что-то от сексуального убийцы, в отличие от обычного убийцы, стремящегося любовно обладать своею жертвой. Отсюда женитьба на еврейке, женитьба, которой предшествовала многолетняя дружба с ее первым мужем — евреем-скрипачом Йозефом Готтлибом. Неофитский пыл его перешедшей в католичество жены граничит с безумием (по слухам, на Страстной неделе у нее появлялись стигматы). Ее экзальтированный антисемитизм позднее позволил всяким гиммлерам и розенбергам начисто забыть о происхождении видной нацистской гранд-дамы (между тем как ее первый муж в 1941 г. будет расстрелян). Погибший на Восточном фронте сын Кунце успешно сотрудничает в "Штюрмере", страшно умилая этим своих родителей. "В "Штюрмере" и только в "Штюрмере", мать, мое место", — сказал мне Клаус. Он вылитый отец: утонченный предельно и при этом не боящийся прослыть вульгарным среди тех, кто, прячась в клозетах, читает панегирик убийце Шиллера". Так пишет Вера Кунце своей приятельнице Матильде Глинке (внучке Менцеля). Поверившая, как и многие в те годы, что Гете убил Шиллера, она имеет в виду запрещенный в нацистской Германии роман Томаса Манна "Лотта в Веймаре". И далее с нарочито геббельсовской интонацией восклицает: "Долой эстетику художников-педерастов!" Кунце боготворил эту женщину: считал своей музой, поощрял ее экстремизм, ее дурную экстравагантность — питая этим собственное творчество. Она пишет для него либретто "Медеи". Счастливая детоубийца Медея — это она сама, отрекшаяся от своих детей от первого брака. Убийство детей для Медеи — акт разрыва с соплеменниками, поклоняющимися лишь золотому руну. Старая песня, да и исполнена не очень оригинально — слишком уж явная аналогия с золотом Нибелунгов. "Медея" не имморальна, — скажет Кунце. — Это таинство рождения новой морали. Как из хлеба и вина рождается новая сущность, так восстает, пройдя очищение кровью, изменой, та мораль, что

возвещена нам со страниц Нового Завета: не мир Я принес вам, но меч. Этот меч и куем мы сегодня — меч Христа-Зигфрида". (...) Как и Вагнер, Кунце прекрасно отдавал себе отчет в деструктивности своего гения — не в пример тем, кому хочется представить его сочинения таким иносказанием добра и красоты в модных по тогдашним временам экспрессионистских одеждах. Может быть, не будем притворяться и назовем вещи своими именами: сторонники исполнения Вагнера и Кунце в Израиле — под флагом ли борьбы с обскурантизмом, по причине ли их "художественных достоинств" — суть те же Медеи, пожелавшие любой ценой освободиться от своего еврейства. Пускай освобождаются, это их дело. Но не у нас. Непотребно, кощунственно проводить подобные сеансы в Израиле — Израиль еще и дом для шести миллионов погибших (...) Талант, даже самый великий талант — еще не индульгенция. Наоборот, это тяжкая ноша, которая не каждому по силам. И потому при мысли об ином гении вздыхаешь: лучше б он не родился. Вагнер и Кунце из их числа".

В рубрике "Свободная трибуна" обычно помещалось и контрмнение. Оппонировал Лисовскому его земляк — в прошлом и настоящем — какой-то инженер из Хайфы. "Русская мысль", всегда скорая на редакционный комментарий, в данном случае держала строгий нейтралитет, как бы говоря: это спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, вопрос, которого не разрешите вы. И так постоянно, когда дело касалось Израиля: казенный дифирамб — или молчок, чтобы, Боже упаси, русскими устами не ляпнуть чего. Воображаю, что *на самом деле* думала обо всем этом — и вообще, и в частности — княгиня Беловежская-Пущина, умудрившаяся когда-то написать, что во время погромов в России не погиб ни один еврей. Ведь она была в этом искренне убеждена — любопытно, в чем еще. Не скажет, боится.

С другой стороны, чего хотеть от несчастного русского эмигрантского официоза, когда — это было перед летом — смотрю большую передачу: на смерть одного знаменитого метафизика, который в тридцатые годы не хотел упускать свой шанс стать вторым Аристотелем при втором Александре Македонском. Смотрю и вижу: на роль плакальщиков приглашены еврейка и испанец. Наоборот, "горькую же правду" говорил с экрана человек с баварским акцентом. Психологически еще похлеще "Версальского мира": откармливать нацию, как каплунов, и чтобы

при этом изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие — из минуты в минуту! — нация твердила о том, как она сама себе отвратительна. Поглядим, чем это кончится на сей раз. Во всяком случае, когда на месте "стран народной демократии" раньше или позже возникнет новая Австро-Венгрия, а Германия — воссоединится, о, она еще это припомнит.

Я отвлекся. Верней, попытался себя отвлечь. Возражения инженера из Хайфы были беспомощны до того, что казалось, сам Лисовский их и написал. То есть я хочу сказать, что они ему играли на руку: ...надо уметь отделять реакционное мировоззрение композитора от созданных им шедевров, каковые уже более не есть собственность определенной идеологии, ибо мировая культура — процесс неделимый, она наше общее достояние, евреев как раз всегда отличала широта взглядов, восприимчивость к, казалось бы, чуждой эстетике, чем и объясняется непропорционально огромный вклад их, то есть наш (спор-то домашний, между своими) в мировую культуру, которая — процесс неделимый, она наше общее достояние... Тут инженер попадает в заколдованный круг, из которого вырваться ему удастся только заявив, что мы не какие-нибудь там коммунисты, это они все запрещают у себя.

Купе, где я думал уединиться, выбрано оказалось неудачно. Его делили со мной два кувейтских студента. Мой израильский паспорт в сочетании с газетной кириллицей вызвал у них горячее желание со мной подискутировать. И я, только чтобы меня оставили в покое, поспешил со всем согласиться: да, я русский, перешедший в иудаизм, да, мой израильский паспорт — комедия, да, не бывает в культуре незначительных явлений (это уже явное издевательство над моим чтением, прямо как во сне), для антрополога культура бушменов представляет не меньший интерес, чем французская. А я в этот момент читаю: "Русская культура для еврея была не менее дорога, чем собственная".

Хотел у них спросить по ходу чтения: а как у антропологов, боль — это рефлекс? Но они бы не так меня поняли и все бы перевели в сферу арабо-еврейских отношений.

(Окончание следует)

ПО СТРАНИЦАМ ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

Джозель Гринберг

ГОД, КОГДА ИНТИФАДА ОБРАТИЛАСЬ ПРОТИВ САМОЙ СЕБЯ

”Мир забыл о нас, — печально говорит палестинец. — Мы уже никого не интересуем”.

Кто бы мог поверить, что на территориях еще придется услышать такие слова? Два года назад, когда интифада только-только начиналась, ее неожиданный взрыв, потрясший тогда Израиль и приковавший внимание всего мира, казалось, должен был навсегда покончить с той безнадежностью, которая 20 лет царила на Западном берегу и в секторе Газы.

Сегодня, два года и сотни жизней спустя, палестинцы с тревогой наблюдают, как внимание мира переключается с их все еще не разрешенного конфликта с Израилем на мирную революцию в Восточной Европе. Вступив в свой третий год, интифада описала полный круг, снова приведя палестинцев к тому, с чего они начинали.

Ими снова овладевает отчаяние. Дипломатические достижения первого года интифады: провозглашение независимого палестинского государства, признание Арафатом Израиля, начало американо-палестинского диалога — все это не облеклось в конкретные результаты, и палестинцы сегодня столь же далеки от завоевания независимости, как и два года тому назад. Они снова сталкиваются с суровой реальностью своей полной зависимости от наличия работы в Израиле, от лицензий, разрешений и проездных документов, выдаваемых военной администрацией, от ограничений, которые она ввела, чтобы покончить с гражданским неповиновением. Они снова оказались во власти собственных раздоров и анархического насилия. Второй год интифады запомнится как год, когда она обратилась против самой себя и список палестинцев, павших от рук своих же собратьев, начал расти с угрожающей быстротой. К середине ноября прошлого года число так называемых ”коллорабационистов”, убитых ”мстителями” в масках, достигло 118 человек; за весь первый год интифады их было всего 18.

Националистическое руководство на территориях утратило

контроль над новой разновидностью жестоких уличных "активистов", которые навязывают улицам, кварталам и целым районам свою гангстерскую власть, отвергая всякие призывы к сдержанности. Группы юнцов в масках развязали настоящее побоище, с садистской безнаказанностью забивая, удушая, убивая топорами, ножами и выстрелами в затылок всех, кого они подозревают в сотрудничестве с израильскими властями. Попутно они убивают подозреваемых в проституции и в торговле наркотиками. Попутно они взимают жесточайшие поборы с насмерть запуганных местных жителей — якобы на благородные цели интифады. И попутно, в яростных вооруженных схватках друг с другом, сводят свои давние и новые политические и личные счёты.

Некогда спонтанное и открытое движение вышедших на улицы палестинских масс, интифада превратилась сегодня в террористическую активность крохотных уличных банд, состоящих, как правило, из десятка-другого убийц в масках. Как и до начала интифады, борьбу с Израилем все больше ведут сегодня не массы, а именно эти тайные, жестоко организованные террористические ячейки, пользующиеся всего лишь пассивной поддержкой населения, которое они уже не могут поднять на массовую кампанию гражданского неповиновения. Сами палестинцы говорят сегодня об отсутствии у интифады эффективного руководства и продуманной стратегии действий. Но что говорить об интифаде, когда само палестинское общество, пожираемое внутренним насилием, все менее способно сохранить свою собственную инфраструктуру. Люди, которые живут между камнем и пулей, между солдатами и террористами, в состоянии растущего хаоса и анархии, уже не способны организовать свою повседневную жизнь, не говоря уже о независимом государстве. Они живут от минуты к минуте, без завтра и без вчера.

По мере этого перерождения интифады между Израилем и палестинцами возникло новое равновесие, за которое обе стороны уплатили дорогой ценой. Относительно низкий уровень конфликта, сохранявшийся предыдущие 20 лет, сменился рутинной хроническим насилием на несколько более высоком уровне, с которым, однако, все уже постепенно примирились. Министр обороны Рабин недавно назвал это состояние новой "войной на истощение". По его словам, она может продлиться еще пару-другую лет.

Наблус, или, как его еще называют, Шхем, — самый большой город на Западном берегу, который порой именуют "столицей интифады". "Наблус — это карающий меч восстания, — несколько

напыщенно говорит местный журналист Зухейр Дери. — Это интифада в ее хорошем и в ее дурном”.

Его слова прерывает длинная автоматная очередь за окном. Она на миг заглушает выкрики торговцев и шум уличного движения. В окно видно, как несколько человек, пригнувшись, перебегают улицу. Впрочем, уже через несколько секунд все возвращается к обычной норме. Торговцы продолжают во весь голос расхваливать свой товар, покупатели — прицениваться к нему. Жизненный ритм кажется совершенно не нарушенным, хотя позже выясняется, что только что в армейский джип была брошена бутылка с зажигательной смесью. Она пролетела в нескольких миллиметрах от крыши джипа и взорвалась на обочине, никому не причинив вреда. Пролети она немного ниже, и могли бы погибнуть десятки людей, но — угроза миновала, и все тотчас о ней забывают. Таково это новое равновесие.

На следующий день мы становимся свидетелями того, как рождаются мифы о героях и мучениках интифады. Расходится весть, что Айман аль-Рузе, выросший в закоулках наблусского рынка и возглавлявший печально знаменитую банду ”Красный орел”, застрелен израильскими солдатами в соседней деревне Инейд. В Наблусе все знают, что аль-Рузе собственноручно убивал подозреваемых в ”сотрудничестве” земляков; тем не менее его торжественно провозглашают ”героем” и ”мучеником” палестинского дела. Его дом тотчас становится центром массового — Впрочем, не всегда добровольного — паломничества. На стенах дома уже вывешены палестинские флаги и самодельные изображения красного орла, обрамленные фотографиями гранат и автоматов; рядом — машинописные копии двух поэм, которые уже сочинили в честь павшего ”героя” местные поэты; его сестры с гордостью рассказывают всем пришедшим, что их брат успел перед смертью ранить израильского солдата. Жители Наблуса идут отдать почести убитому. Среди них — и вдова того человека, которого он собственноручно задушил как ”коллорациониста”.

К вечеру разносится слух, что ранен ножом человек, которого заподозрили в выдаче аль-Рузе; раненый доставлен в больницу, и его охраняют родственники, которые боятся проронить лишнее слово о произошедшем.

Страх властвует в Наблусе. ”Убита еще одна коллорационистка!” — театрально выкрикивает подросток у входа в проулок, где собралась толпа людей; здесь, прислоненная к стене,

в луже крови, полусидит-полулежит женщина, которую только что застрелили юнцы в масках. Убийство произошло при свете дня, на глазах у прохожих, в самой гуще толпы. Израильский патруль появляется на месте происшествия только через час. Все это время прохожие демонстративно пинают и столь же демонстративно оплевывают коченеющий труп.

Армия не успевает контролировать события — она лишь реагирует на них. Не проходит и часа с момента убийства "коллаборационистки", как Наблус поднят на ноги очередной сенсацией: некий "коллаборационист" якобы убил мать десятирех детей в отместку за свою, подожженную ее сыном машину. В больнице, куда мы отправляемся проверить этот слух, никто ничего ни о какой убитой женщине не знает. Персоналу не до слухов — только что в операционную доставили смертельно раненного юношу; машина и люди, доставившие его, все еще находятся во дворе, и вокруг них постепенно начинает сгущаться возбужденная толпа. Очередная жертва столкновения с солдатами на какой-то из городских улиц. Все усилия врачей спасти его оканчиваются безрезультатно. Через несколько минут носилки с телом выкатывают из операционной. Мы слышим, как в переполненном больничном дворе поднимается истерический вопль: "Алла акбар! Кровью отомстим за смерть мученика!". Несколько людей в масках торопливо перекладывают труп с носилок в красный "мерседес", который тут же исчезает за углом.

На обратном пути из больницы мы едем по заваленной камнями улице. Потом брошенный кем-то камень попадает и в нашу машину. Это тоже часть нового равновесия. Как часть его — и те арабские рабочие, которых мы видим несколько часов спустя в израильской стекольной лавке, где они сменяют витрины, разбитые камнями их же соплеменников.

Это обычный наблусский день. И именно его обычность красноречиво свидетельствует, что палестинцы по-прежнему не могут — или не хотят — отказаться от насилия. Что они не могут — или им не дают — вернуться к мирным формам гражданского неповиновения, которые только и могли бы потрясти израильское общественное мнение. И в то же время они не могут и полностью отмежеваться от Израиля. Объявляя бойкот израильским товарам, они продолжают их покупать, и разбивая израильские витрины, они возвращаются затем их чинить. Это дорога в никуда. Это путь, ведущий в тупик безнадежности и отчаяния. Вот почему на третьем году своего существования ин-

тифада все чаще и яростнее обращается против самой себя, своих прежних целей и своего собственного народа.

Иосеф Гиолль

УГРОЖАЕТ ЛИ ИЗРАИЛЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ ОПАСНОСТЬ?

Приверженность израильского общества своим демократическим устоям подорвана двумя годами интифады — таков вывод руководителей опроса общественного мнения, данные которого опубликованы в зимнем выпуске журнала "Израильская демократия", издаваемого Институтом Израиля и диаспоры.

Главным основанием для такого вывода послужил установленный опросом факт: все больше израильтян предпочитают сильное руководство методу демократических компромиссов. 45% из 1200 опрошенных согласились с мнением: "В нынешних условиях наведение порядка в стране требует сильного руководства, которое не будет зависеть от выборов или результатов голосования в парламенте".

Прежде всего я не вполне понимаю, что означает этот вопрос-утверждение. Если бы его задали мне, я скорее всего указал бы опрашиваемому на дверь. Впрочем, это, конечно, придирики. Действительно, опрос показал, что по сравнению с 1987 годом число согласных с вышеприведенной "авторитарной позицией" выросло на 17%.

Но говоря уже без придинок, а серьезно, я не разделяю ни пессимизм издателей журнала, ни их характеристику этой позиции как "авторитарной" и "антидемократической". Общественность действительно жаждет сильного руководства. Но это не имеет ничего общего с принципиальным разочарованием в демократических ценностях. Это всего лишь выражение глубокого разочарования и озабоченности неспособностью нашей демократии выдвинуть из своих рядов эффективное руководство, которое могло бы решить возникшие перед нами проблемы. Я думаю, эти настроения общественности говорят скорее о ее врожденном здравом уме.

В нашем столетии демократические системы рушились в двух случаях: под напором вражеских армий или в результате разочарования граждан в способности демократии выдвинуть эф-

фективное политическое руководство. Если и существует какая-либо угроза израильской демократии, то она состоит в ширящемся среди граждан ощущении беспомощности, растерянности и неспособности нашего нынешнего, демократически избранного нами руководства справиться со своими прямыми обязанностями.

Строго говоря, тот факт, что Израиль вообще является демократической страной (и притом одной из самых демократических среди примерно тридцати подлинных демократий в мире), сам по себе уже граничит с чудом. И тут не помогут ссылки на якобы "врожденную демократическую природу древнего еврейского общества"; подобные хвастливые утверждения имеют столько же оснований, что и аналогичные им заявления о "врожденном африканском социализме" или "древнеплеменном арабском социал-демократизме". Все это исторические мифы одного порядка.

Подавляющее большинство еврейского населения Израиля прибыло из авторитарных восточноевропейских или ближневосточных стран. Израильское арабское меньшинство выросло в абсолютно антидемократической арабской политической культуре. И если Израиль тем не менее начал свою жизнь как демократия, то это прежде всего заслуга его восточноевропейских сионистских отцов-основателей, многие из которых были пылкими поклонниками западноевропейской, в частности — британской, парламентской демократической системы и постарались добросовестно скопировать ее — сначала в рамках сионистского движения, а потом — в рамках собственного государства. Израиль продолжает оставаться демократией, потому что на протяжении большей части 42 лет существования страны ее политическая система обеспечивала нам относительно эффективное руководство и демонстрировала свою поразительную приспособленность к характеру и политической культуре нашего, преимущественно эгалитарного пионерского общества.

Стоит напомнить, что некогда Израиль был одним из многих новых государств, возникших после второй мировой войны. И буквально все эти государства начинали свою жизнь с декларации своей приверженности демократическим принципам. Однако сегодня Израиль оказался в том, увы, ничтожном меньшинстве, которое эту верность действительно сохранило, — почти все остальные стали жертвой военных переворотов и политических путчей и ныне управляются различного типа диктаторскими или авторитарными режимами. Достаточно взглянуть на наших

арабских соседей, чтобы в этом убедиться.

Выводы опроса, будто "эрозия израильской демократии" (на мой взгляд, несуществующая) вызвана двумя годами интифады (хотя этому нет прямых доказательств, как отмечается в самом журнале), поднимают интересный вопрос: что происходит с демократическими системами в условиях войны? Приводит ли это к "эрозии демократических ценностей"? И если да, то "в какой степени"? Но на мой взгляд, еще более интересный вопрос состоит в следующем: как избежать такой "эрозии" (если, разумеется, отказаться от мысли о добровольной капитуляции, которая сделает сомнительной сохранение самой рассматриваемой демократической системы)? Эту проблему Институт Израйля и диаспоры (равно как и значительная часть израильской "левой" общественности) предпочитает игнорировать. Возможно, она слишком неприятна; возможно, их ответы даже им кажутся слишком утопичными. Но мы имеем дело не с утопией, а с реальной демократией, находящейся в состоянии реальной войны и желающей сохранить свои этические и социально-политические идеалы. И подлинная реальность израильской демократии состоит, мне кажется, в том, что в своей затяжной войне с арабами и палестинцами она на самом деле показала себя куда лучше, чем, к примеру, американская — во время второй мировой войны (достаточно вспомнить массовое интернирование американских японцев или меру допустимости оппозиционных мнений в американской жизни в те годы), а израильская пресса сегодня пользуется куда большей свободой, чем, скажем, пресса демократической Великобритании во время войны за Фолклендские острова (находящиеся, кстати говоря, в тысячах километров от собственно британской территории).

Никто не спорит: израильская демократия далека от идеала. Не говоря уже о неэффективности ее нынешнего руководства, у нее есть и другие серьезные недостатки — прежде всего, ее отношение к своему арабскому меньшинству. Но я готов утверждать, что даже и в этом своем самом слабом месте израильская демократия все же демонстрирует куда лучшее отношение к своим арабским гражданам, чем, скажем, та же американская — к своим черным, и это несмотря на тот очевидный факт, что у израильтян есть достаточно серьезные основания подозревать часть своего арабского меньшинства в подрывных и враждебных тенденциях, тогда как черные граждане Соединенных Штатов никакой угрозы их существованию не представляют.

Мой упрек журналу "Израильская демократия" состоит в том, что его авторы почти неприкрыто заангажированы. Они ощущают почти извращенное желание доказать, что израильской демократии угрожает опасность. А когда такое желание существует, факты уже нетрудно соответствующим образом истолковать. К тому же это их толкование исходит из не явного и ничем не обоснованного допущения, будто "подлинно демократическую" (в противовес "авторитарной") позицию занимают лишь те участники вопроса, которые высказали "голубиные" взгляды по палестинскому вопросу. А это уже просто необъективно.

В заключение своих выводов журнал пишет: "Если демократические правила не распространяются на сотни тысяч жителей территорий и рано или поздно будут нарушены в самом Израиле, то не время ли вообще отказаться от этих правил?" Поразительное заключение! Разумеется, длительная оккупация демократической страной большой территории с враждебным населением порождает всякого рода проблемы. Но демократические правила не распространяются на палестинцев именно потому, что территории, на которых они живут, находятся в состоянии вооруженной оккупации, а не аннексированы Израилем; и еще потому, что эти правила политической демократии вообще чужды арабской и палестинской политической культуре. Израиль не лишал палестинцев их "демократических прав" — палестинцы с самого начала не были демократичны.

Взаимоотношения демократического оккупанта и оккупированного населения чреваты всякого рода последствиями, но это еще не дает никаких оснований утверждать, что демократические правила "рано или поздно будут нарушены и в самом Израиле". Тот, кто утверждает подобное без достаточно серьезных на то оснований, неизбежно обрекает себя на недоверие и подозрительность читателей.

Ализа Оденхаймер

СОВЕТЫ МИЛЬТОНА ФРИДМАНА

Экономика, а не политика, вот подлинная причина интифады, — говорит Нобелевский лауреат Милтон Фридман.

Эти и другие нестандартные утверждения прозвучали в его интервью, которое он дал израильской прессе под занавес сво-

его очередного визита в Израиль на конференцию, посвященную сразу двум темам: "Пути перехода от регулируемой экономики к рыночной" и "Роль предпринимателей в абсорбции иммигрантов".

В этом приветливом, открытом и терпеливом собеседнике трудно угадать человека, которого неокейнсианские экономисты объявляют врагом бедняков, выразителем интересов богачей и главным противником идей социальной справедливости.

В свою защиту Фридман говорит, что его не понимают. На самом деле он вовсе не защищает капиталистов, как раз наоборот. "Свободная рыночная конкуренция — единственный способ избежать чрезмерной власти крупного бизнеса. Это единственный способ подчинить его эффективному контролю".

Об интифаде Фридман вспомнил из-за министра финансов Переса, который в докладе на конференции использовал название книги Фридмана "Свободен выбирать", чтобы объяснить, почему израильское правительство не может сократить свои расходы. Сославшись на невозможность сократить оборонный бюджет, Перес сказал, что Израиль не свободен выбирать экономические, потому что он не свободен выбирать политически.

Фридман считает, что все обстоит в точности наоборот: израильский политический выбор ограничен его неправильным экономическим выбором.

Под экономическим выбором он понимает прежде всего экономическую политику, которая осложняет отношения между Израилем и территориями. Эта политика предполагает вмешательство израильских властей в экономическую жизнь территорий и навязывание им иных экономических правил, чем в Израиле. "Неодинаковые налоги, неодинаковые доходы, неодинаковая свобода выбора на рынке труда, неодинаковая свобода передвижения и так далее — все это ставит арабов территорий в невыгодное по сравнению с израильянами положение, создает базу для политических трений и сужает возможности политического маневрирования..."

Но, по мнению Фридмана, ошибочная экономическая политика Израиля сузила возможности его политического выбора и в более принципиальном смысле: "Ваши социалистические тенденции — вот что ограничивает экономический рост страны и ее привлекательность для евреев диаспоры. Если бы в 1955 или 1960 году Израиль встал на путь свободной рыночной экономики, как это сделал, например, Гонконг, его население и на-

циональный доход были бы сегодня вдвое выше, чем сейчас. Какую свободу политического выбора он бы имел!"

Разумеется, без социалистического идеализма отцов-основателей Израиль вообще бы, возможно, не возник. Но сегодня, считает Фридман, сохранение "социалистического идеализма" может привести страну к гибели. Распространенное мнение, будто социализм означает равенство и помощь бедным, ошибочно. Именно в социалистических странах беднякам приходится хуже всего. Верно, и в Америке есть бездомные, безработные и нищие. Но, во-первых, их число сильно преувеличено; во-вторых, если оно и велико, то потому, что очень высок уровень жизни, с которого начинается отсчет, а в-третьих, во многом повинны такие элементы социализма в американской системе, как государственные программы жилищного строительства, бесплатного образования, всеобщего велфэра и поощрения матерей-одиночек.

Израилю Фридман предлагает "программу спасения", состоящую из шести пунктов: немедленная отмена контроля над обменным курсом; ликвидация всех таможенных барьеров и субсидий экспортерам; снятие всякого контроля над ценами и зарплатами; продажа в частные руки всех государственных и профсоюзных предприятий и компаний; продажа большей части земель, принадлежащих государству и Еврейскому агентству; ликвидация всех картелей и монополий.

Фридмана особенно возмущают израильские монополии. "Какая дикость — иметь на всю страну одну-единственную фирму, которой разрешается ввозить автомашины данной марки! И как, интересно, вы собираетесь обеспечить жильем своих репатриантов, если у вас существует ограниченный список фирм, которым разрешается строить жилье?.. То, что существует в Израиле, даже социализмом назвать нельзя — это просто мафия частных монополистов, которая с помощью правительства наживается на интересах всего остального общества. Конечно, такие явления существуют и в Соединенных Штатах. Но американцы, к счастью, достаточно богаты. А для израильтян это непозволительная роскошь".

У Фридмана есть свое мнение и о путях абсорбции: нужно, чтобы правительство полностью устранилось от этой задачи. Пусть репатрианты сами себя абсорбируют. А помогать им должны деловые круги и частные институты, вроде Еврейского агентства. Израильскому правительству Фридман вообще не очень доверяет: он уверен, что, несмотря на все свои завере-

ния, оно все же будет пытаться регулировать расселение и трудоустройство репатриантов. "Но с советскими евреями это не пройдет, — говорит он с улыбкой. — Они большие мастера обходить запреты, советская жизнь их этому научила".

Единственное, чем правительство может помочь в решении жилищной проблемы, — это снятие ограничений, благодаря которым появились строительные монополии и картели. "Освободите свою экономику! — призывает Фридман. — Освободите ее, и эта волна репатриации станет для вас благословением, а не камнем на шею".

Все эти радикальные рекомендации не очень-то благосклонно воспринимаются израильскими лидерами. Но для Мильтона Фридмана это не новость: он достаточно хорошо знает израильскую реальность. "Время для радикальных реформ вы уже упустили, — говорит он почти со вздохом. — Сейчас вам нужно хотя бы с толком использовать то, что у вас еще осталось".

Джулиан Саймон

БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛИИ

Сегодня, когда из СССР идет новая массовая волна еврейской репатриации, кое-где в израильских кругах приходится порой замечать те же самые тревоги и опасения, которыми когда-то, в начале 70-х годов, встречали первую волну советских евреев. К счастью, сегодня мы уже лучше подготовлены к тому, чтобы доказать, что массовая алия — это благословение, а не бедствие для экономики страны. Проведенные за минувшие годы статистические исследования обогатили нас фактами, которые куда весомее расхожих массовых предрассудков. Эти исследования показали, что иммиграция повышает, а не понижает уровень жизни страны; что она дает больше прибыли от уплачиваемых ею налогов, чем потребляет в сфере социальных услуг; что она повышает производительность и конкурентоспособность экономики; что она **не грозит** местным жителям утратой их рабочих мест.

Чтобы не быть голословным, стоит привести те фактические данные, что были собраны за эти годы в отношении еврейских репатриантов из СССР, прибывших в Израиль в 70-е годы. Прежде всего оказалось, что 47% этой первой репатриантской

волны составили люди в возрасте от 15 до 44 лет; среди израильтян эта наиболее перспективная возрастная группа составляет лишь 42%. Далее выяснилось, что доля работающих среди этих репатриантов составила свыше 60%, тогда как среди израильтян соответствующая цифра была всего 48% (эта огромная разница частично объясняется большей долей работающих женщин-репатрианток). При этом 66% искавших работу репатриантов нашли ее в течение первых двух месяцев и 90% — в течение первого года после прибытия.

Советские репатрианты привезли с собой новый уровень профессионализма. За плечами 61% из них было 13 и больше лет образования; среди израильских старожилов людей с таким уровнем образования всего 26%. Напротив, людей, которые имели за плечами меньше 8 классов школы, среди репатриантов было всего 13%, а среди израильтян таких, напротив, 29%. Добавим к этому, что 25% новоприбывших из СССР были специалистами в ключевых для экономики профессиях: инженеры, техники, врачи, архитекторы, дантисты, медсестры и т. п. Разумеется, не всегда их анкеты соответствовали их реальным данным, но в целом эта алия несомненно обогатила Израиль многими нужными специалистами.

Данные исследований убедительно доказывают, что репатрианты практически не вытесняли старожилов с их рабочих мест и уж совершенно не потеснили тех израильтян, которые были заняты низкоквалифицированным или низкооплачиваемым трудом. Эти данные показывают, что новая алия не только занимала, но и создавала рабочие места, причем создавала больше, чем занимала, поскольку требовала расширения сферы услуг и увеличила спрос на товары. По своей покупательной способности, по выплачиваемым ими налогам новые репатрианты оказались чрезвычайно выгодным приобретением для страны: среди них, как уже было сказано, больше процент работающих и у них выше средние зарплаты. В итоге новые репатрианты внесли в общую копилку государства больше, чем взяли из нее в виде социальной помощи, льгот и пенсий. (Добавим, что львиная доля этих льгот и прочих расходов на первоначальное устройство репатриантов была покрыта за счет финансовой помощи мирового еврейства.)

Как показывают те же исследования, репатрианты из СССР, как правило, демонстрировали более высокую производительность труда и наличие свежих технических идей; их дети выше

среднего проявляли себя в школах и университетах; а в следующем поколении эта алия дала больше научно-технической интеллигенции, чем в среднем дает население Израиля, что несомненно способствовало повышению научно-технического уровня страны в целом. О значении ее вклада в оборону (как в прямом, физическом смысле, так и в финансовом и технологическом плане) не приходится и говорить.

Это не означает, что советская алия не имела определенных отрицательных последствий. Одним из важнейших в этом плане было "разбавление общественного капитала", а проще говоря — увеличение количества людей, которые пользуются государственными дорогами и средствами транспорта, государственными банками и учреждениями, а также средствами профсоюзов (в результате чего доля вложенного в эти секторы общественного капитала, приходящаяся на каждого жителя страны, стала, естественно, меньше). С другой стороны, однако, прибавочная стоимость, созданная этими репатриантами в частном секторе израильской экономики, основными владельцами которого являются старожилы, принесла повышенные дивиденды этим владельцам.

Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то выясняется следующее. Средства, выплаченные репатрианту на жилье и абсорбцию (за счет старожилов), составили около 10% среднего заработка такого репатрианта в первый год его работы и 5% после этого. Вклад репатрианта в оборону (прямым участием и посредством налогов с зарплаты) составлял 9, 22, 26 и 30% в первые четыре года соответственно и 30% после этого. Потери старожилов от "разбавления общественного капитала" были равны 10, 17 и 12% в первые три года и упали до нуля на седьмой год, когда благотворное влияние репатриантов на развитие экономики страны начало проявляться в подъеме общего благосостояния.

Суммируя, мы приходим к выводу, что в терминах инвестиций "скорость возврата" средств, вложенных в русскую алию, составила ошеломительные 80% в год. В переводе на общепонятный язык это означает, что Израиль мог бы давать репатриантам в 6(!) раз больше денег, чем дает сейчас, и все еще получать обратно 15% в год.

ПЯТЫЙ ПУНКТ В ИЗРАИЛЕ

Дмитрий Миттельман, недавно репатриировавшийся в Израиль из Кишинева, никогда не слыхал о Бялике и не читал его поэмы о погроме. Но он говорит, что в Кишиневе царит предпогромная обстановка и "евреи дрожат от страха". Семья Миттельманов учит иврит в ульпане Центра абсорбции в Хайфе, в классе номер 13. "Странный класс, — говорит Миттельман. — 25 учеников, все — новые репатрианты из СССР, и только 10 из них признаны "кошерными" евреями, все остальные — "евреи под вопросом". Стесняются показать свои удостоверения личности — из-за поставленной там печати".

Эта печать известна в определенных кругах как "записал Дери", поскольку именно министр внутренних дел Арье Дери, один из лидеров ультраортодоксальной религиозной партии ШАС, является автором этого "гениального" изобретения. "Записка Дери" — это специальный вкладыш в удостоверение личности, свидетельствующий о том, что чистота еврейского происхождения обладателя удостоверения находится под вопросом. Феликс-Эфраим Газран, его жена Елена-Илана и их 6-летняя дочь Тали недавно получили такую "записку Дери". Сотрудники министерства потребовали у них метрики. У Эфраима она была, у жены и дочери — нет, поэтому было решено, что они на всякий случай получают удостоверения со вкладышем. С тех пор Илана не может успокоиться. В Харькове они мечтали обзавестись в Израиле вторым ребенком, но кто теперь знает, что будет завтра. "Если я рожу сына, — говорит Илана, — раввины могут не позволить сделать ему обрезание".

Новые репатрианты пишут оставшимся в СССР друзьям и родственникам, и те приходят в панику, когда узнают, что пресловутый "пятый пункт" преследует многих из них и в Израиле. Хорошо еще, что пока что страх перед возможными погромами пересиливает страх перед израильскими раввинами. Между тем работники Министерства внутренних дел получили четкую инструкцию указывать национальность репатрианта только на основании его метрики. Председатель Объединения репатриантов из СССР Роберт Голан говорит, что министерство совершает непоправимую ошибку: ведь известно, что многие советские ев-

реи вынуждены были записываться русскими, чтобы получить, к примеру, возможность попасть в вузы или университеты. "Неужели министерство хочет, чтобы советские евреи обращались к своим властям с просьбой поменять им пятую графу в паспорте?"

Броня Райхман из хайфского Общественного комитета "В помощь евреям из СССР" считает, что политика Дери наносит большой ущерб как новоприбывшим, так и потенциальным репатриантам. Новички бегут к Броне с жалобой: "В вашем министерстве делают то же самое, что в СССР, только наоборот". Броня успокаивает перепуганных и обещает им, что все будет в порядке. Те же слова она адресует своим далеким абонентам, которые звонят со всех концов Советского Союза и с тревогой спрашивают, правда ли, что израильские власти не признают их еврейское происхождение. "Они не понимают, как может быть, что после всех страданий, которые им принесло их еврейство в России, здесь их будут считать не-евреями", — говорит Броня. Не случайно новые репатрианты уже прозвали работников министерства "инквизиторами".

"Я вынужден отметить, что политика министров Перетца и Дери принесла людям немало горя и волнений, — говорит Арье Харель, бывший посол Израиля в СССР и активист движения за свободу репатриации из Советского Союза. — Стоит репатриантам ступить на израильскую землю, как министерство начинает свою "охоту за ведьмами". Репатриантов буквально вынуждают встречаться с представителями религиозных кругов уже в аэропорту. Членов же нерелигиозных общественных организаций туда не допускают. Министерство абсорбции не только отказывает нам в доступе в зал встречи новых репатриантов, но и не позволяет познакомиться со списками и адресами этих людей для установления последующего контакта с ними. Оно мотивирует свой отказ ссылкой на неуместность вмешательства в личные дела граждан. Но от репатриантов мы узнаем, что вмешательству в эту жизнь религиозных кругов министерство отнюдь не препятствует".

Дело в том, что когда новый репатриант прибывает на арендованную квартиру или в Центр абсорбции, он обязан обратиться в местный филиал Министерства внутренних дел для получения удостоверения личности. Вот тут-то ему и устраивают "допрос с пристрастием", выясняя чистоту его еврейской крови и решая, считать его "полноценным евреем" или "евреем под вопросом".

Министр религии Хаммер, побывавший недавно в СССР, упокаивал там советских евреев, встревоженных политикой израильского Министерства внутренних дел. Он обещал им, что все будет в порядке. Не дал ли он им обещаний, которых не сможет выполнить? Хаммер уклоняется от ответа на этот вопрос. Чувствуется, что он сам в этом далеко не уверен. Министр абсорбции рав Перетц и министр внутренних дел Арье Дери продолжают настаивать на необходимости "выявлять" некошерных евреев, и "записка Дери" является еще одним подтверждением серьезности их намерений. Но есть и другие факты. Захар Бойко, его жена, сын, невестка-полуеврейка и внук давно уже ждут вызова из Израиля. Насколько им известно, этот вызов заказывался их друзьями в Израиле уже трижды, но семья Бойко его так и не получила. Ходят слухи, что определенные круги производят предварительную "селекцию" вызовов и прилагают все усилия, чтобы "сомнительные" советские граждане их не получали. Захар Бойко и его жена говорят между собой на идиш, они выросли в уважаемых еврейских семьях, а во время войны воевали в партизанском отряде в белорусских лесах. Год назад Бойко позвонил своему другу Якову Гриншпану в Тель-Авив и попросил вызов. "Мы должны срочно уехать отсюда, — сказал он другу, — тут земля горит под ногами". Сара Смоляр, 20 лет проработавшая в Министерстве абсорбции и полгода назад, после выхода на пенсию, занявшаяся общественной деятельностью в пользу советских евреев, рассказывает, что сама помогала Гриншпану оформить все необходимые для вызова документы. Через месяц выяснилось, что в Министерстве иностранных дел они даже не зарегистрированы. Та же история повторилась со вторым вызовом. На третий раз Гриншпан уже затребовал официального разъяснения. "Ему сказали, что кому-то не понравился тот факт, что внук Бойко родился от полуеврейки. да и сама фамилия не пришлась по вкусу — какая-то слишком украинская..."

Давид Бартов, руководитель отдела связи с евреями СССР при Министерстве иностранных дел, утверждает, что вызовы семье Бойко у него не зарегистрированы, — возможно, они затерялись в какой-нибудь "предварительной инстанции". "Бойко — это "гойская" фамилия. И имена Захар и Наташа тоже звучат не по-еврейски. Вполне возможно, что они вообще не евреи. А закон о возвращении на не-евреев не распространяется. Вполне возможно, что какая-нибудь глупая работница ми-

нистерства решила, что Бойко — не еврейская фамилия, и не передала нам их документы...”

Однако Роберт Голан утверждает, что никакой случайности тут нет. “Существует определенная система предварительной селекции, и она действует разрушительно”. По словам Голана, в его Объединении уже скопилось множество жалоб новых репатриантов, которым пришлось пережить унижительную процедуру “проверки на чистоту расы” в Министерстве внутренних дел.

Два месяца назад Высший суд справедливости вынес решение, что “записка Дери” является незаконной. Но министра так и не удалось сломить: он развил бурную деятельность и провел через Кнессет закон, который легализовал его “изобретение”. Начиная с января 1990 года, “записка Дери” все чаще появляется в удостоверениях личности новых репатриантов из Советского Союза.

Элиезер Беркович

ИСТОРИЯ И ГАЛАХА

Как ортодоксальный раввин, строго придерживающийся установлений Галахи, я, разумеется, не могу согласиться с основными утверждениями И. Гиолля в его статье “Необходимость раввинатской перестройки”. В то же время я целиком разделяю те гуманистические еврейские позиции, с которых эта статья написана. Действительно, позорно, если советский еврей, которого многие отказники характеризуют как “лучшего преподавателя иврита в СССР” и “нынешнего лидера заново складывающейся советской еврейской общины”, опасается репатрироваться в Израиль, потому что знает об отвратительном обращении, которому подвергаются здесь нееврейские члены репатриантских семей.

Важно, однако, понять, что эта ситуация возникла не в силу каких-то органических недостатков иудаизма или установлений Галахи. Появление каждой новой волны массовой национальной репатриации ставит перед нами не столько вопрос: кого считать евреем? — сколько вопрос: что составляет еврейский народ? каков смысл еврейского существования? чему учит нас еврейская история, продолжающаяся вопреки столетиям бесчис-

ленных преследований и погромов, которые давно стерли бы с лица земли любой иной народ?

Возникновение государства Израиль после Катастрофы европейского еврейства, возвращение считавшегося затерянным колена эфиопских евреев, а теперь — совершенно неожиданная репатриация огромного числа советских евреев с точки зрения любого верующего еврея составляют необходимые этапы метафизического аспекта еврейской истории и еврейского существования. Они представляют собой проявления неуничтожимости еврейского народа, которую можно понять только в контексте исторического призвания иудаизма и еврейства. Это следствие Завета, заключенного между Богом и Его народом.

Именно таков был смысл возвращения в Сион эфиопских евреев. На протяжении многих столетий они составляли забытую и изолированную ветвь еврейского народа, которая тем не менее продолжала самоотверженно сохранять свою идентичность и преданность путям иудаизма. Вернувшиеся наконец в Сион, они несомненно заслуживали самого теплого приема, братской любви и всяческой поддержки в деле укоренения среди еврейского народа в Израиле. Вместо этого они были унижены в их человеческом достоинстве. Ссылаясь на Галаху, определенные авторитеты предъявили им требования, в которых совершенно не учитывалась уникальность того исторического пути, что в конце концов привел их на родину.

Массовая репатриация советских евреев бросает нам еще более серьезный вызов. В течение 70 лет эти евреи не знали никаких живых образцов еврейского поведения. У них не было ни еврейского образования, ни еврейской культуры, ни еврейской цивилизации. Все это было запрещено законами советского государства. И тем не менее, даже спустя два поколения, эти евреи, ничего не знаящие об иудаизме, каким-то поистине мистическим путем потянулись к осознанию своего еврейства. С огромной самоотверженностью они начали изучать основы еврейской жизни и в конце концов во всеуслышание заявили о своем стремлении вернуться в Сион и Иерусалим. И тогда неожиданно перед ними открылись ворота.

Несомненно, всякий верующий еврей увидит в этом направляющую руку Господа. Лишь недавно все это считалось невозможным, и вот — невозможное свершилось. И разумеется, советские евреи, ныне возвращающиеся к своему народу, тоже заслуживают самой теплой встречи и братского приветствия всех евреев Израиля.

Естественно, среди этих людей очень много смешанных браков. И что тут удивительного? Куда более следует удивляться тому, что даже дети нееврейских матерей зачастую воодушевлены своим новообретенным еврейством. Таковы эти люди, которых Бог снова возвращает к Своему народу.

Нынешняя ситуация уникальна. Она не имеет себе подобных во всей еврейской истории. Разумеется, некогда, во времена Эзры и возвращения евреев из вавилонского пленения, тоже было много смешанных браков. И как известно, Эзра приказал их расторгнуть. Но это происходило в совершенно иных условиях. Те евреи жили внутри своих общин, у них были свои учителя, они знали, что смешанные браки противоречат Божьей воле, они сами выбрали Эзру своим наставником и они сами признали свои прегрешения. Закон звучал вполне однозначно, и они нарушили его сознательно.

В случае советских евреев дело обстоит принципиально иначе. Законы еврейской жизни были им незнакомы. Их жизнь вообще претерпела глубочайшую трансформацию. В Галахе нет подходящих рекомендаций для подобных случаев. Нечего и думать заглянуть в "Шулхан Арух" и найти там готовый закон. Советские репатрианты заслуживают нашего восхищения и братской любви. Разумеется, их случай порождает многие галахические проблемы. Но одно совершенно ясно: нельзя использовать Галаху, чтобы унижать их еврейское самоуважение. Нам следует как минимум 20 ближайших лет терпеливо помогать им вращать в жизнь еврейского народа в Израиле. За это время они познакомятся с еврейской историей, еврейской традицией и принципами иудаизма. Тогда они смогут избрать своих представителей, которые найдут решение их проблем в духе взаимного уважения и взаимного понимания.

Что же касается возможных проблем с отдельными конкретными браками или разводами, то ими не следует заниматься до тех пор, пока с помощью новаторской, творческой галахической работы не будут утверждены решения для ситуации такого фундаментального преобразования в рамках священного предназначения еврейского народа.

СУДЬБЫ ИДЕЙ

Дора Штурман

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ФОБИЯХ

(Окончание, начало в № 68)

5. *Опасен ли ксенофобный соблазн.* Итак, в некоторых русских печатных материалах наших дней отчаяние, порожденное тупиковым строем, нацелено на традиционные для шовинистического обскурантизма объекты — на либерального интеллигента и на еврея. Тут не поможет даже анекдотический всхлип: "Не бейте меня, я не еврей, у меня просто интеллигентное лицо!" Шафаревич, правда, не призывает никого бить. О.Шпенглер в книге "Прусская идея и социализм" тоже не призывал высшую расу физически уничтожать низшие цивилизации. Он лишь констатировал духовное превосходство немцев над другими народами, провозглашал монопольное право немецкой культуры на неопределенное будущее и утверждал, что "существует только ОДИН исход вечной борьбы — смерть. Смерть одного лица, смерть народа, смерть культуры". Кто, что и как принесет побежденным эту смерть, он не уточнял, ибо философствовал более или менее отвлеченно. Но всегда находятся горячие и прямолинейные толкователи, которые доводят такого рода идеи до их практического предела. ПОТОМ Шпенглер стал в оппозицию к реальному нацизму. Но было уже поздно. Заметим, что Шафаревич эмоционально очень усилил свой монолог проникновенными словами о том, что не мог бы умереть спокойно, не открыв своему народу глаза на угрожающую ему опасность. Как не откликнуться делом на такой крик души?

Кроме этого финального стога, подвигающего на немедленную реакцию, в тексте "Русофобии" есть еще одна чреватая немалой ответственностью идея. Шафаревич пишет, что если нынешняя атака еврейства (в данном контексте это определение "малого народа" разночтений не допускает) против органической России отбита не будет, то гибель последней предпрешена: другого случая спасти себя ей уже не представится; жизненные силы нации на исходе.

Иногда приходится радоваться тому, что слово не всемогуще, ибо какой ужас (я снова не нахожу другого слова) начнется, если русские поверят Игорю Шафаревичу, что настал их "последний и решительный бой", и ринутся истреблять Зло, персонифицированное на этот раз не в помещиках и капиталистах, а в евреях? Хотя, повторяю, Шафаревич не зовет убивать — он зовет всего лишь к "созданию оружия духовной защиты". Но есть ли гарантия, что страх и ненависть не заставят, как это уже не раз бывало в подобных случаях, человека массы искать оружия сподручней и проще? Что этот поиск не сомкнется в какой-то момент с тенденцией власть имущих?

Можно сколько угодно раз повторять себе, что ВСЕ национальные фобии алогичны, что они эмоциональны до физиологичности, а не рациональны, но невозможно, будучи человеком, не апеллировать к разуму. Поэтому снова и снова возникает вопрос: неужели же исторический опыт не говорит образованным антисемитам-патриотам, что если даже огромный многонациональный российский конгломерат стопроцентно очистится от собственных западников и от евреев (что практически невозможно) или их полностью социально и культурно нейтрализует (тоже — утопия), то положение русских не станет несколько легче и лучше? Напротив: тяжесть его усугубится, ибо процессы очистки и нейтрализации такого рода не могут не быть кровавыми.

Мне уже приходилось в этой связи упоминать: сосуществование, а в немалой степени и кровное смешение евреев и русских, еврейская ассимиляция в русской культуре и в русском языке, и тем более — западнические тенденции и связи в русской (восточноевропейской!) культуре — это, хороши они на чей-то вкус, или плохи, долговременные исторические данности. Подчинить Россию (РСФСР? СССР?) принципу "юденфрай" было бы не проще, чем то же в нацистском Рейхе. Если не сложнее: евреев в России больше, чем было в 1933 году в Германии, и степень межнационального смешения выше. Убить же западничество российской европейской, пусть даже евроазиатской, культуры вообще невозможно. Разве что вместе с этой культурой. Рискуя быть заподозренной сторонниками неувядающего национально-органического идеала в спасительной для евреев уловке, повторю: осуществление подобных процессов губительно не только для их жертв. В принципе речь идет о

тотальной очистке общества от его, по мнению сторонников очистки, врагов. Большевистское завоевание России и сталинский террор тоже были, по сути, такого рода процессами, хотя и классовой, точнее — идеологической, а не национальной этиологии, и тоже нравственно искалечили своих разноплеменных осуществителей. Не меньше, чем, например, в Камбодже — единоплеменных.

В истоках своих, по замыслу, коммунизм — это "очищающее" уничтожение классов, а не наций. *Но развернувшись во всю свою мощь, цепная реакция классового уничтожения неизбежно оборачивается геноцидом для всех втянутых в ее орбиту народов.* Когда пытаются представить дело так, будто в гражданской войне, коллективизации и "большом терроре" евреи с помощью своих нееврейских ставленников целенаправленно истребляли генофонд русского народа, — это невежество или сознательная ложь, очередной кровавый навет. Еврейская религия, культура, традиция, оба языка: идиш и иврит — были почти полностью истреблены в СССР большевиками, в том числе — и евреями-коммунистами, в 1918—1953 годах. Знаменитая "евсекция" при ЦК КП(б) играла в этом ведущую роль. Такая же зловердная фикция — миф о русском шовинистическом геноциде против украинцев в 1930—1933 годах. Первый истребительный большевистский удар был обрушен на крестьянство собственно России в 1918—1921 годах. В 1929—1932 годах Московская область насильственно коллективизировалась быстрее других районов страны. То, что такой компетентный исследователь советской истории, как Р.Конквест ("Жатва скорби", ОРІ, 1988), мог хотя бы отчасти принять толкование голода начала 1930-х годов как русской имперской геноцидно-шовинистической акции против нерусских ареалов страны, поразительно и весьма прискорбно. Повторяю: цепная реакция уничтожения классов ведет *все втянутые в нее народы* к геноциду. Исключений из этого правила нет. И руководят уничтожением классов силы политико-идеологические, денационализаторы, а не националисты.

Могут ли книги, ставящие мировоззренческую и социально-политическую по своим истокам трагедию на почву национальных фобий, отрицательно повлиять на развитие духовных процессов, а значит, и событий в СССР? Боюсь, что могут: такие книги дают наукообразное, вроде бы доктринальное и, главное, нравственное (справедливая ненависть!) обоснование эмоциям, при-

сутствующим и в массах, и в образованном слое. Эти эмоции поощряются и какими-то группами в верхах. А любое, самое натянутое и лживое, но по видимости нравственное обоснование весьма облегчает разного рода насильникам и грабителям их трудное дело. Отсюда их постоянная нужда в демагогии. Вспомните: "Собственность — это кража" (Прудон); "Экспроприаторов экспроприируют!" (Маркс); "Грабь награбленное!" (Ленин). Вспомните, сколько усилий потратила нацистская пропаганда всех жанров и стилей на внедрение в сознание массы немцев мерзко-порочного муляжа еврея. Мне пришлось уже здесь, в Израиле, знакомясь с историей западной средней школы, прочесть сборник нацистских методических материалов для учителей. Преподавателям начальных классов предлагалось рассказывать детям изо дня в день длинную историю "Die kleine hassliche Judin" ("Маленькая безобразная еврейка"), снабженную соответствующими рисунками. Ее отвратительная малолетняя героиня совершала злые садистские преступления против немецких детей. Детям ради их душевного равновесия надо было внушить, что их убийцы-отцы всего-навсего истребляют опасную мразь. И это делалось достаточно впечатляюще. А коммунистические пропагандистские муляжи "буржуя", "белогвардейца", "попа", "кулака", "империалиста", "вредителя", "врага народа", "изменника родины", "безродного космополита" и пр. и пр.? Враг должен быть таким плохим, чтобы его не жалко и не стыдно было унижать, грабить, мучить и убивать.

Нам и в жизни легче видеть плохими тех, кого мы почему-либо обидели, ущемили.

Силы, действительно *вынужденные* защищать физически себя или какое-то общее (а иногда и чужое) ПРАВОЕ ДЕЛО, создания таких муляжей себе не позволяют. Поэтому в США до сих пор не изжит вьетнамский синдром; поэтому так мучительно раздвоен бывает израильский солдат на контролируемых территориях; поэтому вообще столь нерешительны в своей самозащите и в защите тех, кого атакует насилие, все демократии. И здесь выбора нет: даже вынужденный использовать крайние меры самозащиты порядочный человек должен при этом знать, что необходимость так поступать страшна. Он вынужден и обязан следовать этой необходимости, но в то же время — стремиться к изменению обстоятельств, ее порождающих. Невероятно трудно

совмещать понимание этого парадокса с боеспособностью, но другого выхода нет.

Может быть, эта — вопреки всему — неизжитая потребность в нравственном самооправдании хорошо рекомендует человечество в целом. Но ее великолепно используют в своих целях те, кому так угрожающе легко удастся то на одном, то на другом плацдарме Зла избавлять людей от голоса их Совести.

Многие просвещенные русские патриоты убеждены в том, что носителей юдофобии в русском народе и его образованном слое мало и потому это настроение не так уж опасно. Им представляется, и это их представление часто эксплуатирует разноликий советский официоз, что русских напрасно оскорбляют, а евреев напрасно запугивают призраком активного антисемитизма и, главное, его мнимой массовостью. Я не могу с ними согласиться: мне все-таки представляется, что соотношение стихийного антисемитизма, его доктринальных и беллетристических обоснований и верховной реакции на него в нынешней РСФСР угрожают приблизиться к таковым же в Германии конца 1920-х — начала 1930-х. Сопоставление этих двух ситуаций — отнюдь не демагогия или проявление русофобии. Слишком многие факты и материалы об этом свидетельствуют. К тому же отчаяние, утомление и раздражение масс в СССР конца 1980-х годов вряд ли меньше, чем в Веймарской республике начала 1930-х годов. Канализировать эти чувства против евреев (там, где евреев нет или мало, их успешно заменяют аборигенам русские, месхи, крымские татары, лезгины и любые другие инациональные вкрапления, к чему мы еще вернемся), не так уж трудно.

Очень часто говорят и пишут, что миропонимание "Памяти" и уж тем более просвещенных ее попутчиков не сводимо к жидомасонской мании, что в их риторике есть положительные моменты. Я спешу согласиться: есть. Но тут же возникает вопрос: а в словесности большевиков и нацистов их разве не было? У них были и, казалось бы, оправданная критика капитализма и общественного неравенства, и патриотические мотивы, и рвение к справедливости. Но все внимание аудитории концентрировалось на том, КТО ВИНОВАТ во всех ее бедах, и адрес давался ЛОЖНЫЙ! А интонации были сугубо агрессивными и провокативными, как и у нынешних "отчасти справедливых" носителей всех без исключения национальных фобий. Вряд ли на этот раз измученная и раздраженная стихия станет отвеивать смертонос-

ную половину от зерен истины. "Отчасти справедливая" и при этом агрессивная ложь страшнее и эффективнее абсолютного неправдоподобия: ее труднее расшифровать и опровергнуть.

Опасность нынешних внутрисоветских межнациональных антагонизмов отрицается еще и с других позиций. Некоторые авторы доказывают, что откровенного антисемитизма и прочих национальных и расовых фобий хватает и в США, и в Канаде, и в Западной Европе и т.д., что эти явления — неизбежные спутники демократии в многонациональных странах и что никаких катастрофических последствий это сегодня даже в самых свободных обществах не вызывает. Значит, нечего бояться "Памяти", "Русофобии", Сумгаита, Алма-Аты, Карабаха, Тбилиси, Ферганы, Узеня, Сухуми, Баку и т.д. и т.п.: это издержки демократизации советской системы.

Напомним: демонстрации (по разным поводам) того же масштаба, что и петроградские хлебные волнения марта 1917 года, для многих свободных западных стран XX века если не обыденное, то и не чересчур экстраординарное явление. Митинги типа тбилисских 1988—1989 годов — на Западе вообще не всегда привлекают к себе внимание власти. Забастовки, подобные июльской, 1989 года, забастовки советских шахтеров, тоже не заставляют западных лидеров ловить воздух ртом и предупреждать свои парламенты о возможной утрате контроля над положением и о нежелательности (следовательно и неисключенности?) "крайних мер" (Новочеркасск? Тбилиси? Пекин?).

Демократия представляет собой парадоксально длящийся равновесный момент в постоянной тяжбе противоборствующих тенденций. Последние воюют между собой, как правило, посредством отработанных процедур, предусмотренных Законом и контролируемых правовым государством и свободой слова. Тенденции эксцессов, преступность и монополистические устремления в демократических обстоятельствах есть всегда, но обычно они взаимно нейтрализуются и ограничиваются государством и обществом достаточно своевременно для того, чтобы не вызвать катастрофического крушения. Здоровая, устоявшаяся демократия гибка и упруга в своей нестабильной, но тем не менее все же стабильности. Иное дело — авторитарный режим в пору своей либерализации, да еще осложненный какой-то особой конкретикой (Россия начала века, шахский Иран конца 1970-х годов и т.п.). Несбалансированная (в силу своей незрелости, эконо-

мического кризиса, нравственного упадка или других разрушительных обстоятельств) демократия тоже порой теряет стабильность и тем или иным образом превращается в нечто себе не тождественное (октябрь 1917 года в России, 1932—33 годы в Германии, начало 1920-х годов в Италии и т.п.). *Пока что*, как правило, западные демократии со своим внутренним конкурентным разнообразием далеко не идеально, но все же справляются. Но ведь СССР не демократия! Это внутренне напряженный конгломерат, состоящий из доброй сотни народов и многих взаимно антагонистических слоев, относительная стабильность которого сегодня обеспечивается только государственным насилием. Механизмов, способных этот тотальный патронаж немедленно подменить, пока что нет. Во избежание катастрофы подмена насилия правовым демократическим механизмом самоуправления не может ни на миг отставать от демонтажа Системы. Но демократические процедуры реализации и разрешения как социальных, так и национальных конфликтов пока не обеспечены в СССР ни юридически, ни фактически. Никто не может сказать с уверенностью, во что разовьется внутрисоветская напряженность и не сорвет ли какой-то случайный выстрел лавину, как это бывает иногда в покрытых снегом горах. И чем обернется такая лавина — долгой смутой или сначала террором, а потом уже смутой с непредсказуемым результатом? На мирную положительную эволюцию, на мирное разрешение нарастающего хаоса, пока еще заключенного в жесткую скорлупу тоталитаризма, много ли надежд? В этих обстоятельствах всплески национальной ненависти, всегда слепой, чрезвычайно опасны.

Поэтому снова и снова приходит на ум оскорбляющая многих патриотов России грозная аналогия: образованные слои Германии начала 1930-х годов (в том числе и глубоко ассимилированные немецкие интеллигентные евреи) беззлобно посмеивались над национал-социалистами, давно буянившими в пивнушках Мюнхена, и весело напевали эстрадный шлягер: "Ein Tapenziereger wird niemals Fuhrer". Но "маляр" фюрером стал, войдя со своей партией в рейхстаг на демократических выборах. И его благословил демократически избранный президент — стать канцлером. Ленин тоже казался многим умным и культурным людям в России весны и лета 1917 года если не клоуном, то гротескным маньяком: Плеханов брезгливо назвал знаменитую ленинскую речь "с броневи́чка" бредом. А чем обернулся бред?

О любом бесноватом, маниакально ориентированном на политическую демагогию, можно было бы сказать: "Не обращайтесь к нему внимания. Что с него взять?" — если бы человечество не шло так охотно и часто именно за бесноватыми такого рода. И потому их надо неумоимо опровергать — в том числе и на языке их массовых аудиторий.

Я отнюдь не хочу сказать, что антисемитизм в русской среде — явление тотальное. Я не сомневаюсь, что В.Сендеров и Ф.Светов на равных приняты в свою среду, к примеру, авторами "Письма из Москвы", о котором ниже, как в свое время — евреи Шестов, Франк, Фондаминский и др. — их русскими единоверцами-христианами и коллегами. И это позволяет В.Сендерову, Ф.Светову и многим другим ассимилированным российским евреям и полуевреям, ориентируясь на свое свободное от предрассудков окружение, считать опасения тех, кто боится нынешнего интеллектуального и уличного русского антисемитизма, преувеличенными. Мне хорошо знакомо по личному опыту это чувство утешительной безопасности: у меня всегда было и сегодня есть много друзей и единомышленников — русских и украинцев. Но не стоит ли иногда вспоминать и другое: в газовых камерах евреи-христиане гибли вместе с иудеями-ортодоксами, евреями-атеистами, абсолютными ассимилянтами и полукровками. Солженицын в своем маленьком "Крестном ходе" тепло писал о еврейских лицах в ограде русского православного храма. А в Париже недавно известный и даже несколько демонстративный юдофил, русский западник и православный, сетовал полшутя-полусерьез на то, что и в церкви "от них" не спрячешься. Думаю, что и рафинированному И.Шафаревичу, и ныне оппозиционному В.Солоухину*, "деревенщикам" и "памятникам" (единым и расколовшимся, с их несусветной путаницей в головах, позволяющей многим не принимать "Память" всерьез) легче переносить еврея в синагоге, чем в церкви. В первом случае "чужой" хотя бы не маскируется под "своего".

*Предвижу протест: причем тут Солоухин? Отвечаю: сведение коммунистического террора к целенаправленному антирусскому геноциду (Солоухин, "Читая Ленина") я считаю такой же взрывоопасной нелепостью, как сведение Р.Конквестом коммунистического уничтожения крестьянства в начале 1930-х годов к шовинистическому антиукраинскому геноциду, осуществленному русскими империалистами в обличье большевиков.

И поэтому мне, уехавшей из соображений профессиональных и политических, а не национальных (но все же в Израиль, а не в США), все время хочется сказать тем, кто решительно чувствует себя "русскими еврейского происхождения": это *вы* так чувствуете, а не окружающие. Не обольщайтесь: вы приняты меньшинством; как поведет себя большинство, еще — в лучшем случае — неизвестно.

Я всего этого очень боюсь, ибо мы уже видели, как могут развернуться события, в чем-то аналогичные событиям в нынешнем СССР. Боюсь за все народы СССР, причем не только за "малые", но и за "большой". Я не вижу автоматически гарантирующих противовесов этой опасности. Во всяком случае — противовесов, достаточно широко и активно задействованных.

Г. Андреев ("Русская мысль", 28 июля 1989 г.), подобно многим другим современным альтруистам, черпает надежду на оптимальное развитие событий в СССР в массовом возвращении русского народа и его просвещенных слоев к христианству. Выскажу свой (очень предположительный) взгляд на этот вопрос. Конечно, альтруистические мыслители имеют в виду христианство, заповеданное Христом, а не — нередко искаженные исторические интерпретации. Но в СССР живут и многочисленные нехристианские народы. Кроме того, инквизиция, войны против ересей, а часто и сами эти ереси, насильственные крещения, походы против иноверцев, погромы, кровопролитное противоборство конфессий, борьба со старообрядчеством, современная "теология освобождения" и другие религиозные социалистические движения, сервилизм ряда легализованных коммунизмом церквей — все это никогда не отказывалось от христианского словаря. Любая охота на ведьм может при желании и необходимости опереться на любую фразеологию. Разве Ленин и Сталин (первый — напутствуя продотряды, второй — своих хлебозаготовителей) не манипулировали штампом "крестовый поход"? Разве не утверждал Ленин, повторяя Маркса, что именно коммунисты и только они в конце концов приучат людей соблюдать заповеди? Вера — великая опора для человеколюбия и нравственности, но только тогда, когда ее возвышающие и примиряющие постулаты восприняты и провозглашаются без недостойных уловок и целей. Посмотрите, как митрополит Киевский и Галицкий Филарет, экзарх Украины от Русской православной церкви, в "Московских новостях" от 30 июля 1989 года тракту-

ет историю и нынешнее положение Украинской католической (униатской) церкви. Не знаю, христианин ли его оппонент Сергей Филатов, научный сотрудник Института США и Канады АН СССР (там же), но его позиция, на мой взгляд, куда достойнее, чем позиция православного пастыря Украины. А 15-го сентября 1989 года, в московской телепрограмме "Взгляд", совершившей немало героических прорывов цензурной блокады, выступал православный священник-журналист отец Марк (фамилия названа не была). Этот симпатичный молодой священнослужитель, говоря о возвращении верующим и восстановлении разрушенных и поруганных храмов, благодарно помянул Ленина — в ряду перво-большевистских радетелей о сохранности памятников старины. Поверить в то, что образованному русскому православному священнику наших дней неизвестна ленинская беспощадно террористическая политика по отношению к русской православной церкви, я не могу. Как видим, и здесь религиозность не боится от криводушия. Такие примеры продолжают множиться.

В любом вероисповедании каждый человек так или иначе наполняет субъективно осмысленным содержанием исходные религиозные определения Добра и Зла. В каждом конкретном шаге и слове он осуществляет выбор. И спасительно предопределять этот выбор может только огромная непрерывная духовная работа, личная и соборная. Пути, масштабы, исход этой работы ни в одной из великих религий мира не представляются сегодня однозначными. Боюсь, что перспективы тревожнее, чем хочется думать.

6. Русский вопрос. Крайне симптоматично, что статья Г. Андреева о "Русофобии" напечатана в "Русской мысли" от 28 июля 1989 года почти рядом с "Письмом из Москвы в Конгресс США и в Совет международного вещания США" за подписями В. Аксютчица, Г. Анищенко, св. Д. Дудко, Ф. Светова, В. Сендерова и В. Тростникова. Как это, казалось бы, ни противоестественно, но концепция И. Шафаревича и позиция американского руководства русскоязычных радиоголосов в этих двух материалах выглядят принципиально тождественными.

Прежде всего, обе идеологические установки основаны на избирательных, тенденциозно трактуемых, произвольно вырванных из исторического контекста комбинациях фактов и домыслов. Именно из такого подхода к теме и растут обычно исторические предрассудки, национальные и социальные.

И. Шафаревич стремится обезопасить от мнимых врагов русский народ, закрывая ему тем самым глаза на Зло, которое сегодня толкает в пропасть все народы СССР, в том числе и русский, оставляя им все меньше времени для поисков выхода.

Руководители западных русскоязычных "голосов", посредством тенденциозного и некомпетентного подбора материалов и комментаторов, в ряде случаев не столь уж редких, словно бы специально ориентируют нерусские народы СССР против такого же мнимого их врага — против русских, чем тоже закрывают своим слушателям глаза на действительное Зло — на режим наднациональной коммунистической партократии.

Впрочем, и в обращении к своим собственным народам западные интерпретаторы советского феномена упорно "русифицируют" мировое зло социализма-коммунизма, чем обезоруживают и свои страны против опаснейших тенденций их внутренней жизни и внешней политики. В целом концепция сугубо русского генезиса коммунистического тоталитаризма сводится к ироническому названию популярного в 1930-х годах романа американца Синклера Льюиса: "У нас это невозможно". Тогда это относилось к нацизму, теперь — к коммунизму: "Живите спокойно: коммунизм возможен только у русских. Такой нехороший социализм тоже мог получиться только у них и под их началом, ибо очень уж они сами нехороши". Это, разумеется, не цитата, но достаточно точное изложение ложной, опасной и на диво живучей версии. С тех пор как игнорировать свидетельства о реальном социализме-коммунизме стало невозможно, западные социалисты и просоциалисты с помощью таковых же из СССР относят все зло, о котором узнали и продолжают узнавать, на счет психологической, нравственной, исторической ущербности русского народа. Игнорируя все нерусские опыты коммунизма и национальную многосоставность РСДРП(б) — КПСС, они закрывают глаза на истинные истоки и масштабы Зла всему человечеству, обезоруживают последнее перед глобальной опасностью, прорастающей буквально в каждой стране. Это — крайнее недомыслие.

Я разделяю мнение авторов "Письма" о том, что монополия "Памяти" среди русских патриотических движений, которой западные средства массовой информации склонны наделять этот многоликий конгломерат и все, что к нему на разных уровнях образованности тяготеет, является взрывоопасной фикцией. Объявляя флагами "русской идеи" исключительно воинствующих антисемитов и антизападников, многие комментаторы

внутрисоветских событий (пусть и в критическом зеркале) фактически предоставляют трибуну только националистам-экстремистам. Они игнорируют и тем лишают возможности взойти на эту трибуну конструктивные, просвещенные и благородные русские патриотические силы, которые проявляют себя сегодня с полной определенностью. Солженицын пытался объяснить это руководителям "голосов" и вообще западной медиа долгие годы и замолчал, потеряв, по-видимому, надежду их убедить.

Весьма характерно, что главы из однозной "Русофобии" напечатали первыми журнал еврейской интеллигенции из СССР в Израиле "22. Москва — Иерусалим" и гордящийся своим, действительно, почти безграничным плюрализмом международный эмигрантский журнал "Время и мы" (оба, разумеется, с критическими комментариями). Националистическое "Вече" (Мюнхен) последовало уже **за ними**. Немедленно остро критически откликнулась "Страна и мир" — наиболее близкий внутрисоветской леволиберальной интеллигенции эмигрантский журнал, тоже издающийся в Мюнхене. На страницах этих (исключая "Вече", скорее родственное И. Шафаревичу) изданий идея русской исторической и психологической этиологии тоталитаризма XX века аргументировалась неоднократно (из чувства справедливости отметим: как и другие, альтернативные, версии). Но я что-то не припомню публикации на страницах вышеперечисленных эмигрантских журналов хотя бы выдержек из программ российских патриотов-демократов или обзора этих программ. Не знаю, передавались ли таковые когда-нибудь по зарубежным русскоязычным "радиоголосам". А ведь именно их, а не только риторику "Памяти" и ее разноликих попутчиков, надо доводить, и как можно шире, до внутрисоветских слушателей. "Континент", "Вестник РХД", "Русская мысль", "Посев", "Голос Зарубежья" и другие русские зарубежные издания, нередко обвиняемые в "правизне", в консерватизме и даже в шовинизме, эти действительно либеральные национально-патриотические программы и размышления постоянно публикуют. Но у них, насколько я знаю, нет радиотрибуны. Чтобы не быть голословной, приведу самую малость высказываний российских патриотов-демократов, опубликованных в "Вестнике РХД" и в "Посеве" (органе НТС, особенно часто обвиняемого в шовинистических тенденциях).

Вот выдержка из статьи М. Широкого "Перестройка, национальная проблема в СССР и русское патриотическое движение" ("Вестник РХД", X 153 (19887), Париж. С. 194-195):

”Отождествление русского патриотизма с шовинизмом — недопустимо. Между тем такое отождествление очень часто проводится в многочисленных публикациях в некоторых ”либеральных” советских органах прессы, а также за рубежом. Русских патриотов стремятся представить как некую консервативную силу, которая выступает за самодержавные методы управления (чуть ли не сталинизм), отвергает демократию и западную цивилизацию. Иногда русский патриотизм приравнивают к антисемитизму.* Мы не будем здесь касаться причин такого преднамеренного смешения совершенно различных понятий. Нередко оно диктуется элементарной русофобией. Отметая подобного рода измышления по адресу русского патриотизма, мы выдвигаем следующие предложения, которые могли бы положить конец всякой двусмысленности и лечь в основу программы русских национально-патриотических сил.

1. На нынешнем этапе русским патриотам следует бороться совместно с представителями всех национальных и демократических сил Советского Союза за победу подлинной плюралистической демократии в СССР. Демократия, тесные контакты с Западом являются необходимым условием для возрождения русской нации, для преодоления того кризисного состояния, к которому ее привел советский режим.

2. В то же время ясно, что в такой супермногонациональной стране, как Советский Союз, демократия всегда будет нестабильна, непрочна, чревата обострением межнациональных противоречий, что в свою очередь может привести к восстановлению диктатуры с целью предотвращения раскола страны на отдельные национальные государства. Дабы не подвергать страну таким испытаниям, русские национально-патриотические силы должны осознать, что для свободного демократического развития России необходимо создание либо русского национального государства в границах нынешней РСФСР, либо Славянской федерации в составе России, Украины и Белоруссии.

3. Государство (в рамках РСФСР) имело бы население почти 150 млн., подавляющее большинство которого было бы русским (с учетом вернувшихся из других частей СССР), что давало бы право называть его русским национальным государством. Национальным меньшинствам в нем была бы предоставлена административная и культурная автономия. Обладая огромной территорией, многочисленным населением и богатыми ресурсами, Россия по-прежнему входила бы в число великих держав. Отказавшись от вмешательства в дела других народов и стран, русский народ мог бы сконцентрировать свои силы на внутреннем развитии России (подобно тому, как это делают, например, японцы), поддерживая в то же время самые широкие контакты со всеми странами мира и проводя политику нейтралитета.

4. Другая альтернатива для русских национально-патриотических

* Причины ясны: наличие в русских национальных движениях также и тех тенденций, которых М. Широкий почему-то не видит (прим. Д. Ш.).

сил — федерация с Украиной и Белоруссией при условии добровольного согласия русского, украинского и белорусского народов. Три составные части такой Славянской федерации — Россия, Украина и Белоруссия — имели бы свои земельные правительства, парламенты, равное представительство в федеральном правительстве и парламенте. При создании конституции и государственных институтов Славянской федерации можно было бы использовать опыт Швейцарии. Государственными языками Славянской федерации были бы русский, украинский и белорусский.

5. Русским национально-патриотическим силам следует признать, что предоставление национальной независимости союзным республикам — по сути равноценно обретению независимости самим русским народом, что жизнеспособная федерация может быть создана только в составе России, Украины и Белоруссии. Все это поставит проблему обмена населением между союзными республиками, которая должна решаться на добровольной основе”.

А вот как эту статью и программу комментирует М. Назаров (“Посев”, 1989, X1, стр. 58):

”Национальной проблеме как раз и посвящена следующая, полученная из СССР статья М. Широкого в том же разделе. Она заслуживает внимания всех националистов. Нерусских — для понимания, что в русской среде все больше укрепляется такая точка зрения: ”Представление, что русские всегда якобы будут выступать за сохранение многонационального государства в его нынешних границах — в корне ошибочно. Мы считаем, что национальным интересам русского народа отвечало бы создание либо независимого русского государства в границах РСФСР, либо Славянской федерации в составе России, Украины и Белоруссии, при условии добровольного согласия на то украинского и белорусского народов... Уже на данном этапе необходимо попытаться создать Общеславянскую политическую организацию, которая координировала бы борьбу национальных сил России, Украины и Белоруссии”.

А внимания русских националистов статья М. Широкого заслуживает в той мере, что, сам относя себя к ним, он пишет: ”Русским национально-патриотическим силам следует признать, что предоставление национальной независимости союзным республикам — по сути равноценно обретению независимости самим русским народом”. Ибо использование коммунистами русского народа в качестве унифицирующего растворителя, лишенного собственных духовных традиций, грозит потерей национального лица ему самому.

С этой позицией (она схожа с солженицынской в ”Раскаянии и самоограничении”) не согласятся сторонники ”российскости” как все еще существующей с дореволюционных времен духовной сверхнациональной общности народов бывшей империи. Однако, при всем благородстве этого чувства, реальность, по-видимому, оставляет больше шансов для предположений М. Широкого”.

Самые либеральные из комментаторов могли бы усмотреть в

этих высказываниях шовинистические тенденции? Я их не вижу.

В "Посеве" же (X9, 1988) опубликован доклад ленинградца, бывшего политзаключенного Р. Евдокимова-Вогака. Последний публикуется в этом журнале часто, и у меня возникали порой возражения против некоторых его утверждений и формулировок. Но невозможно не оценить конструктивности следующего его размышления:

"Что же далее? Далее следует признать безусловное право нынешних республик (включая, кстати, и саму Россию) на самоопределение и предусмотреть конкретную его процедуру. Формально это, конечно же, всенародное голосование, плебисцит, референдум в каждой из республик. По сути же такой плебисцит должен быть проведен только с соблюдением определенных условий. Видимо, к голосованию, решающему судьбу той или иной территории, должны допускаться лишь лица, прожившие там не менее определенного срока. Например, 20-25 лет. Нужна такая мера для предотвращения несправедливого влияния на ход голосования значительных масс недавних переселенцев: как правило, русских и украинцев, в отдельных случаях — белорусов, азербайджанцев и других. Попытка обусловить право голоса принадлежностью к той или иной этнической группе несостоятельна, ибо противоречит прежде всего международным документам, запрещающим какую бы то ни было дискриминацию по национальному или расовому признаку; во-вторых, она ставит как бы вне закона ряд третьих этнических групп (тех же цыган и евреев, расселенных почти повсюду, караимов в Литве, дагестанцев в Азербайджане и т.д.); в-третьих, такая попытка заставила бы скрупулезно подсчитывать процент крови необходимой национальности у сотен тысяч и миллионов лиц смешанного происхождения. Между тем 25-летний срок проживания на определенной территории, когда речь идет о значительных массах населения, означает, что интересы подавляющего большинства таких лиц близки к интересам коренного населения, хотя бы потому что здесь уже родилось новое поколение таких давних переселенцев. Поднимется ли у русских рука ограничивать в правах армян, свыше 200 лет проживающих в нынешнем Ростове-на-Дону? А у грузин — на тех же армян, что столетиями живут в Тбилиси? Или у эстонцев — на тех русских, что давным-давно живут в районе Выру и поблизости от ныне действующих православных монастырей? Все это совсем иные случаи, чем тысячные толпы чужаков без роду без племени, ломящиеся в ту или иную страну ради шального заработка.

Другим условием может стать знание местного языка, хотя я и не уверен, так ли уж необходимо требовать от саама свободного владения русским, а скажем, от гагауза — украинским языком для определения права на голосование по решению судьбы той земли, где родились их предки".

Подчеркну еще раз: оба материала — и М. Широкого и Р. Евдокимова-Вогака — пришли из СССР; такие размышления —

отнодь не редкость в неофициальной периодике всех регионов страны; они часто звучат и на самочинных митингах. При нынешней обостренности внутрисоветских межнациональных отношений именно эти и подобного рода размышления русских патриотов должны бы непрерывно транслироваться и для русских, и для нерусских сограждан, говорящих по-русски. Но ими ли, единомышленниками Широкого, Евдокимова-Вогака, Анищенко, Аксючица и очень многих других, заняты зарубежные русские "голоса"? Они их не слышат.

Правы авторы "Письма из Москвы" и тогда, когда они говорят:

"Нам представляется, что одна из главных задач всех гуманистических сил мира состоит в том, чтобы помочь заблудившимся выйти на истинный путь. Помочь понять, что в данном случае не один народ поработил другой, а все народы СССР и "социалистического лагеря" оказались поработченными интернациональным люмпеном, спаянным античеловеческой идеологией и шкурными интересами. Если народы СССР освободятся от коммунистического рабства, то мы не сомневаемся, что они смогут по-человечески разобраться, как жить дальше: вместе, порознь или найти какие-то другие формы сосуществования. У русского же народа, на который пришелся основной удар ненависти и разрушения, такое количество ран и проблем, что ему не до экспансионизма или удерживания около себя тех народов, которые хотят жить самостоятельно".

У меня есть два замечания. Солженицын тоже не раз писал о том, что русских после их горчайшего опыта "уже не может привлечь ничей фанатизм никогда" (Собрание сочинений, т. X, ИМКА-ПРЕСС, с. 379-384). И еще: "...страну, не знавшую пятьдесят лет простого хлеба, уже никому не взорвать к воинствующему национализму" ("Публицистика, статьи и речи", ИМКА-ПРЕСС, с. 323). И — неоднократно — о том, что русским не нужны ни экспансия, ни захваты, ни насильственное удержание около себя других народов. Но ведь одно дело — не нужны объективно, а другое — можно ли народ "в гиблые авантюры" (там же) вовлечь, можно ли его к ним подтолкнуть или принудить. Солженицын утверждал и следующее: "...нашу страну уже нельзя поджечь классовой ненавистью ...но национальной ненавистью нашу страну поджечь очень легко, она почти наготове к этому самовоспламенению" Собр. соч., т. X, с. 98, написано в 1974 году). Говорил он и о возможном намерении коммунистов "эксплуатировать ими же угнетенное русское национальное чувство — для своей новой войны, для своих жестоких империалистических целей ...чтобы получить

от национальных чувств недостающую себе физическую и духовную крепость". И заключал: "Верно, такая опасность есть" ("Публицистика, статьи и речи", с. 321-325). Но, разумеется, Солженицын не делает из этих своих опасений вывода, что здоровое, лишённое агрессивности национальное чувство и воскресающее национальное и религиозное самосознание русского народа должно быть подавляемо, напротив: он считает такое опамывание единственно для народа спасительным. Тем не менее утверждать с уверенностью, как это делают авторы "Письма из Москвы", что русскому народу "не до экспансионизма или удерживания около себя тех народов, которые хотят жить самостоятельно", нельзя. Народ — не монолит. Ему ДОЛЖНО БЫЛО БЫ БЫТЬ — в его собственных интересах — не до перечисленных выше дурных устремлений. Но присмотритесь хотя бы к накалу страстей вокруг возвратившихся "афганцев" и к ним самим, и вы увидите, что есть в русском народе лица, группы и даже движения, которым вполне до всего этого.

Спорен и вопрос о том, принят ли на себя именно русскими главный удар идеологии. По абсолютному количеству жертв и очередности — может быть и да, а в процентном исчислении и за все годы? Мне уже приходилось приводить некоторые красноречивые цифры. Да и уместно ли считаться процентами? Прочитайте отчет об исследовании Аральского региона объединенной экспедицией журналов "Новый мир" и "Памир" ("Новый мир", 1989, X5, с. 182-241), вспомните судьбу народов советского Севера и Северо-Востока (средняя продолжительность жизни 42-45 лет, смертность детей до года — 80-100 на тысячу, а кое-где и больше), добавьте к ним депортированные и при этом полуистребленные народы, окиньте взором современную Белоруссию и т. п., и охота считаться отпадет. Многие народы СССР пора уже заносить в "Красную книгу". "Чернобыль на Чукотке" ("Московские новости" X34 от 20 августа 1989 г.) — далеко не единственное советское печатное тому свидетельство.*

*Все же несколько таковых напому: Средняя Азия потеряла в гражданской войне треть населения /данные X-ЧШ съездов РКП(б)/; казахи потеряли с 1926-го по 1934-й год полтора миллиона человек из четырех миллионов; на треть уменьшилось в 1920-м году число башкир, покоряемых большевиками (Э. К. д. Анкосс, "Расколотая империя". Изд. ОРИ, Лондон, 1982).

О том, на что можно толкнуть в минуту усталости, отчаяния, раздражения **ЛЮБОЙ НАРОД**, мы уже говорили. Именно исходя из этого "**ЛЮБОЙ**", сегодня бросать в горячую взрывоопасную смесь внутрисоветских национальных эмоций факел русофобии (а вопреки многочисленным возражениям, суждений, которые можно интерпретировать как русофобные, произносится и публикуется много) нисколько не менее опасно и ничуть не более нравственно, чем разжигать любую другую национальную ненависть, любой другой предрассудок подобного рода. Не говоря уже об оскорбительности такого горе-историзма для русских, этот факел способен взорвать сразу всю смесь, ибо русские есть везде. Может быть, кто-то считает взрыв деспотической Системы благом, особенно в том случае, если она продолжит противиться своему демонтажу. Повторю уже высказанную метафору: если надо капитально перестраивать дом и даже превращать коммунальные квартиры в изолированные, нельзя начинать ни со взрыва дома, ни с поджога коммуналки соседей. Тем более что большинству жильцов переселяться некуда. Пожаром уже охвачены многие регионы страны. И нерусские народы дерутся зачастую друг с другом и даже с единоверцами. И все чаще огонь пытаются погасить "огнетушители" имперского спецназа: огнестрельные, режимные, саперные, химические, бронированные и т. д.

Взаимное ожесточение народов, в том числе и растущее ожесточение против русских, угрожает превратить нынешнюю (почти уже) "**Верхнюю Вольту с Ракетами**" в гигантский, охваченный пламенем смуты Ливан. Выхода два: **СВОБОДНО**, мирно и взаимно благожелательно сосуществовать или же **СВОБОДНО**, мирно и взаимно благожелательно обособиться друг от друга — в той мере, в какой этого хочет каждый народ. Но тяготение к этим спасательным выходам обнаруживается, в основном, лишь в личных и групповых декларациях.

Верховная власть, без согласия и участия которой **мирно** ничего не решить, пока что не проявляет действительной инициативы в открытом, беспристрастном и непредвзятом анализе положения. А этот анализ решительно необходим, причем совершенно свободный, с участием представителей всех заинтересованных сторон, самых честных и компетентных граждан, специалистов, экспертов, и не только отечественных. Все истинные, не фиктивные и не демагогические, усилия власти все еще сводятся к очень проблематичной силовой стабилизации

положения, которое само по себе является не чем иным, как процессом все ускоряющегося распада и вырождения. Возможность замедлить и остановить вырождение и распад, их обратимость уменьшаются с каждым днем. Фактически стабилизируется ситуация, предопределяющая растущую скорость и масштабы распада.

Поэтому, когда некоторые советские интеллектуалы (иногда — вчерашние, как им представляется, радикалы) говорят, что из ужаса перед возможным взрывом, террором, смутой они начинают ощущать себя во все большей степени консерваторами, то есть конформистами по отношению к стабилизирующим действиям властей, они впадают в иллюзию. Нынешнее поведение правящих сил со всеми их как полицейскими, так и демагогическими акциями положения по-настоящему не стабилизирует. Истоки напряженности и причины распада этими акциями не снимаются. Поскольку ничего похожего на практическое замещение основополагающих принципов тупикового строя принципами достойными и работоспособными власть не предпринимает, то и ориентированный на нее консерватизм бесперспективен — как все в этой окостеневшей и одновременно разлагающейся Системе.

7. Без прогноза. Крайне трудно выбраться из глубочайшего коллапса насмерть централизованной и все более импотентной экономики. Невероятно трудно миром решить застарелые межнациональные проблемы анахроничной идеократической деспотии. Впасть в утопии вообще неизмеримо легче, чем выйти из их тупиков. Но пожар, взрыв и кровопролитие непредсказуемых масштабов, после которых всему, что выживет, придется — десятилетиями? дольше? — выкарабкиваться из-под обломков и на пепелищах зализывать раны, — это вообще не выход. Выходом было бы только то, что разрешило бы снять наднациональный "третейский" гнет Системы без окончательной годной разрухи и долгой кровавой смуты.

Не исключено, что спасительным шагом в нужном направлении являются межрегиональная забастовка шахтеров (июль 1989), незамутненная национальным экстремизмом, и созданные в ее процессе институты и программы. Может быть, именно такого рода массовые движения и дадут опору и плоть положительным импульсам, исходящим от разных групп образованного слоя и от отдельных лиц. Опять утопия? Вполне возможно. И все же по отношению к сотням тысяч бастовавших по всей стране шахтеров власть не применила новочеркасско-тбилисско-пекинско-

го варианта. И даже не прогнала телевизионщиков. И допустила в очаги напряженности советских и зарубежных корреспондентов. В забастовках и созданных ими органах, действующих поныне, объединились рабочие и ИТР. Не веет ли от этого чем-то для СССР новым? После почти семидесяти двух лет утюжения тоталитарным катком — депутатская оппозиция из почти четырехсот человек; открытое декларативное посягательство и забастовщиков и депутатов на статью 6 Конституции СССР (о гегемонии КПСС), на государственную экономическую монополию; взлет публицистики, кладущей на лопатки все прочие жанры литературы, искусства, медиа!

Но только-только возник некий прообраз ненасильственного, массового, национально не разобщенного движения против Системы, как либеральнейшая из либеральных межрегиональная депутатская группа — и та пришла в ужас: как бы забастовки не спровоцировали реакцию! *

Почему же не наоборот, почему они не подскажут носителям реакции, что при такой массовости и сплоченности сопротивления ее карта бита? Это, может быть, единственный и последний шанс добиться от власти того публичного отказа от всех фикций, того анализа и того обращения к открытой разработке действительного перемонтажа строя, о которых сказано выше. И поэтому именно сейчас самое время предоставить западную русскоязычную радиотрибуну компетентности, конструктивности, ответственности, перестав дискриминировать при этом русских: выбор, который они сделают, судьбоносно важен для всего СССР, а значит — и для всего мира. Кстати, один из лучших русских неофициальных журналов, редакторы которого тоже подписали "Письмо из Москвы", так и называется — "Выбор".

8. Еще раз — о национальных фобиях. Мы говорили выше о неизбежно губительных реалиях принципа "юденфрай". Давайте теперь повернемся лицом к положению тех русских, чья судьба связана с растущим национальным самосознанием нерусских народов СССР, имеющих относительно обособленные территории. Не вырвется ли вот-вот (уже прорывается) из миллионов уст с

* В ноябре 1989 г. возобновилась забастовка шахтеров Воркуты (на этот раз — при поддержке всесоюзного актива кооператоров). Предупредительную забастовку провели шахтеры Донбасса. Требования — политические и фундаментально-экономические.

такой же несправедливостью, неосмотрительностью и горячностью — по отношению не к войскам и пришлой номенклатуре, а к мирным обывателям: "Русские, убирайтесь домой!"? А дом их там, где они живут.

Если мы ранее констатировали, что сосуществование русских и евреев есть долговременная историческая данность, которую нельзя искоренить и гуманно, и радикально, то ведь и распространение русских по всему пространству, ныне именуемому СССР, это тоже долговременная, иногда — многовековая, историческая данность!

Нравится это кому бы то ни было или нет, но многонациональный СССР — не мозаика из четко разграниченных этнических кубиков разных размеров, которые легко отделить друг от друга. Это живое сообщество с то более, то менее давним и то более, то менее мирным взаимным проникновением, переселением, смешиванием людей, наций, культур, языков. Русские живут на своих нерусских "малых родинках" одни — во многих поколениях, другие — годами. На мгновение забудем: как, почему, по чьей вине, хорошо это или плохо (да и вряд ли мы выясним это однозначно), но русские рассеяны по всему СССР, как и другие народы — среди них. ТАК СЛОЖИЛОСЬ. А мы все уже хорошо знаем, чем это в реальности оборачивается — жестоко, бездумно, насильственно, "сразу" избывать историческое "так сложилось".

Я ни в коей мере не посягаю на право самоопределения народов и не пытаюсь предрешать чью-то судьбу (хорошо бы управиться со своей), но смею думать, что как ни запутан узел нынешних межнациональных отношений в СССР, — бесполезно и, более того, смертельно опасно пытаться его разрубить сплеча, одним ударом или еще одним скоропостижным декретом Центра.

Но народные страсти накалены, а Центр межнациональные проблемы СССР, как, впрочем, и все остальные, не обсуждает и не поощряет общество обсуждать их с достаточной свободой и искренностью. Он и в этом случае пытается где — умолчаниями, где — ложью, где — силой законсервировать положение, которое уже является взрывоопасным процессом. Не имея мужества идти навстречу столь сложной реальности с открытым взором и слухом, партукратия цепляется за мертворожденные уловки. А народы, ища козлов отпущения друг в друге, помогают власти применять и оправдывать привычные

для нее приемы. Создается порочный круг, и невозможно провидеть, кто и как сумеет его прорвать.

Вот один из еще не самых жестоких на сегодня конфликтов (он, по крайней мере, еще не вызвал кровопролития, хотя опасность этого уже возникла).

Казалось бы, чего проще, чем вернуть Прибалтике преступно отнятую у нее пятьдесят лет назад независимость? Но после всего, что за полвека Кремлем в Прибалтике наворочено, это непросто, хотя добром от этого Кремлю не уйти. Взять хотя бы Эстонию. Эта оккупированная республика, подобно Литве и Латвии, хочет, по-видимому, независимости от СССР, в направлении чего и пытается поэтапно действовать. Но в Эстонии уже 45% населения — не эстонцы! Число неэстонцев в республике с 1940-го года целенаправленно увеличивается центральной властью (в 1944 году их было всего 9%): ей надо снизить процент потенциальных сепаратистов. Сегодня эстонцы пытаются обеспечить свой приоритет в республиканском и местных советах. Для этого Президиум Верховного Совета республики (здесь уже и Верховный Совет — с народом, и это не первый случай в нынешнем СССР) устанавливает обязательные для участия в выборах сроки проживания в Эстонии. Русскоязычное население республики протестует, и как будто бы очень решительно, вплоть до массовых забастовок на предприятиях, где почему-то сосредоточены, в основном, неэстонцы. В отличие от других забастовок, эти общесоюзному руководству нравятся. Президиум Верховного Совета СССР (16 июля 1989 г.) предлагает эстонским коллегам пересмотреть их решения и добиться консенсуса с русскоязычным населением республики. В этом предложении фактически скрыто предписание: эстонцев обязывают устранить из их избирательного закона "дискриминирующие моменты". Им вменяют в вину: нарушение конституции СССР и пренебрежение принятыми международным демократическим сообществом(!) правовыми нормами. Ни одна демократическая страна, по утверждению ПВС СССР, не предусматривает ценза оседлости для избирателей и избираемых. Члены советского правительства патетически апеллируют к международным демократическим правовым нормам — не пикантно ли? Эстонцам "шьют" недопустимую дискриминацию граждан республики по национальному признаку. Это, однако, обычное партийно-советское лицемерие: конституция — не закон природы, ее можно и изменить; все демократические правовые нормы вершители судеб наро-

дов СССР отбрасывали и отбрасывают, когда им это нужно, без колебаний. Главное же, на что, как это ни странно, председатели прибалтийских ПВС не обратили внимания своих оппонентов, состоит в следующем: во-первых, во всех демократических странах мира избирать и быть избранными могут лишь граждане данной страны, а гражданство никому из иммигрантов, как правило, нигде не дается сразу (исключения — Израиль для евреев и ФРГ для немцев и их семей),* В ряде стран для получения гражданства надо сдать экзамены по языку и основам истории и гражданского права страны. Во-вторых, "в большинстве буржуазных стран действует ценз оседлости — требование для избирателей проживать определенный срок (от одного месяца до двух лет) в местности, где происходит голосование" ("Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости". Изд. "Юридическая литература". М., 1979).

Весь фокус в том, что население СССР не имеет республиканского гражданства, а только общесоюзное, что и ставит проблему исключительно на почву оседлости. При желании народов советских республик предупредить засилье в своих органах власти не сведущего в местных делах, тяготеющего к сохранению централистских принципов иноязычного пришлого элемента (в Эстонии — прежде всего военных: их плотность там очень высока, один военнослужащий — на восемь эстонцев, включая детей и стариков),** аборигены не могут принять ничего иного, кроме введения вышеупомянутых ограничительных сроков для избирателей и избираемых. Кроме того, в отличие хотя бы от Организации Освобождения Палестины в ее отношении к Израилю (что однозначно зафиксировано в Палестинской Хартии, не отмененной поныне ни де-юре, ни де-факто), эстонцы не требуют для себя столицы в Москве и не планируют оттеснить русских до побережья Тихого океана,

* В сентябре 1989 года в Верховном Совете Эстонской ССР был поднят вопрос о введении республиканского гражданства. В ноябре 1989 года проект закона о гражданстве обсуждался на сессии Верховного Совета СССР. В нем предлагалось ввести двойное, а иногда и тройное гражданство: союзное, союзной и автономной республик одновременно. Депутаты не пришли к согласию, и проект решено передать на всенародное обсуждение.

** В большинстве демократических стран мира военнослужащие вообще не участвуют в выборах.

чтобы затем сбросить их в море. И главное: могут ли эстонцы не ощущать и не помнить, что превращение 9% неэстонцев за сорок пять лет в 45% есть результат оккупации, что темпы этнической агрессии нарастают, что культура, язык, традиции маленького коренного народа подвергаются грубому инородному натиску, размыванию, бесцеремонному вытеснению из республиканского обихода! Ни одна из прибалтийских республик никого **пока что** из своих пределов не тщится выселить. Возникают всего лишь попытки ограничить иммиграцию и замедлить гражданскую натурализацию новоприбывших.* При этом попытки куда более скромные, чем предложения Р. Евдокимова-Вогака: эстонцы хотят дать иммигрантам пять — десять лет для приобщения к местному населению, а не требуют двадцати-двадцатипятилетнего стажа проживания в их республике для участия в референдуме об отделении от СССР, как предлагает Евдокимов-Вогак. Русские, следовательно, должны либо связать свою судьбу с данной республикой, учить ее язык и ждать истечения положенных сроков для своей полноправной гражданской натурализации, либо уехать в РСФСР. Но ведь при нынешней политике центрального правительства их там не ждут ни жилье, ни прописка, ни работа! Куда им ехать?

Политическая ситуация в СССР меняется быстро. Но сегодня (ноябрь 1989 г.) есть веские основания предполагать, что соответствующие инстанции не перестанут направлять в нерусские республики так называемых мигрантов: разнообразную "номенклатуру", молодых и немолодых специалистов, военных, лиц, освобожденных из лагерей и направляемых на "химию"; не перестанут строить там "грязные" предприятия, захоронять ядовитые и радиоактивные отходы, иссушать моря — отравлять землю, воду и воздух. При таком развороте событий положение русских будет там осложняться по мере неизбежного ухудшения жизни всего населения. Все семьдесят с лишним лет союзные власти упорно перекачивают славян на неславянские земли; зато месхов и сегодня селят в Рязанской и Смоленской областях, среднеазиатов шлют по "оргнабору" в РСФСР, а татар не пускают в Крым. Заявление ЦК КПСС о положении в Прибалтике, обнародованное 26-го августа

* Позиция Н. Коржавина в этом вопросе, изложенная им в статье "Всем, кто захочет выслушать меня в Прибалтике" ("Литературная газета" от 4 октября 1989 г., Москва), юридически совершенно безграмотна. Этически же вся эта его статья крайне уязвима.

1989 года, не оставляет сомнения в том, что Кремль пока не склонен к уступкам, действительно повышающим суверенитет прибалтов: он не хочет создавать прецедент. Вряд ли эта установка изменится без достаточно жесткого давления обстоятельств. Но такое давление нарастает.

Неизвестно, какой процент неэстонского населения Эстонии на самом деле противится требованиям кратковременной (в западных странах она не короче) гражданской натурализации новоприбывающих **любой** национальности. Эстонцы утверждают, что небольшой, их оппоненты — что чуть ли не все 100%. Но мне весьма неприятно, что одним из наиболее шумных представителей протежируемого Кремлем Интернационального фронта является депутат Съезда народных депутатов Евгений Коган. Ничего не поделаешь: многолетние лидеры советского Антисоцинистского комитета Драгунский и Зивс — тоже не славянские витязи.

Во все большей степени возмущение терпящих бедствие и стремящихся к самоопределению народов СССР концентрируется на русском народе **как таковом**: верховный Центр Системы расположен в Москве; функционально самоликвидироваться он не намерен; русский язык остается связующим нервом Системы. При растущем сепаратизме "окраин" Системе предстоит (если не сегодня, то завтра) начинать черпать свои террористические контингенты в основном из русских, которым некуда от "Москвы" бежать. Разве только освободить Москву от Системы и не дать ей, своей столице, своей России втянуться в какой-нибудь фразеологически иной кошмар. Сделать это русские сумеют (если сумеют) лишь в согласии с другими народами СССР. Иначе Кремль ("Москва") попытается усмирить их воинскими формированиями своих нерусских подданных. Среди последних еще найдется достаточное количество "воинов-интернационалистов" — для атаки против того народа, который им видится таким же исконным инициатором и гарантом их несвободы, как Шафаревичу или Белову — еврею.

Насколько важен в этих сверхкритических обстоятельствах выбор, который сделают русские, непонятно лишь тем, кого ослепляет обида, или страх, или злоба. Не менее важно, чтобы народы СССР знали, как мыслят себе этот выбор просвещенные русские патриотические силы.

Итак, риторика всех национальных предрассудков растет из одной и той же этики и методологии. История, культура и

психология народа-мишени перевираются, искажаются, извращаются. Все достойное интереса и уважения в них опускается или отрицается. Черты и факты, с точки зрения нападающего компрометантные, вырываются из их исторического и социального контекста, даются вне пропорций к фактам и чертам альтернативным, вне сопоставления с аналогичными явлениями в жизни других народов на синхронных стадиях их истории, порой просто выдумываются. Вина и ответственность за все беды аудитории возлагается исключительно на мишень нападков.

Лексика нападающих обычно общедоступна и эмоциональна, часто — вульгарна, но бывает и рафинированной — в зависимости от слоя, на который рассчитана, и от школы очередного эксплуататора предрассудков. Не имеет значения, из каких побуждений данный демагог действует: темных или, как ему представляется, благих; лжет он или уверовал в ложь. Рано или поздно и ложь, и слепота, как всякий аморализм, оборачиваются Злом. Фанатическое ослепление бывает еще страшнее осознанной лжи: корыстные обманщики дорожат своей шкурой и поэтому иногда несут гибельный для себя курс, слепцы и фанатики — никогда.

Иногда ксенофобийный соблазн выпускает жало свое так неожиданно, поражает столь достойного человека, что становится страшно. В статье "Ясновидение гуманиста" ("Московские новости" № 35, 28 августа 1989), посвященной дневникам Михаила Пришвина (ж-л "Октябрь", 1988, №7, Москва), Ст. Кондрашов приводит следующие слова М. Пришвина о Сталине (запись 1930 года): "Вот человек, в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния, дикий человек Кавказа во всей своей наготе". Можно ли сегодня цитировать это одиозное определение без осуждающих его комментариев? "Человек Кавказа" — не "дикий человек", а носитель одной из богатейших древних культур, в том числе — исламских и христианских. Армянское христианство почти на семь веков, а грузинское — почти на пять старше русского. Формула "дикий человек Кавказа во всей своей наготе" (говоря о грузине Сталине, Пришвин, конечно, имеет в виду и Закавказье) ничем не лучше интерпретации русских как некоего евроазиатского ублюдка или евреев — как извращенного орудия Сатаны. Ленин, Троцкий, Сталин, Гитлер, Мао и др. вышли из народов-носителей величайших культур, а Пол Пот окончил Сорбонну. Сталин учился в духовной семинарии и в молодости (а Мао — всю жизнь) писал стихи. Гитлер рисовал. От их

собственных народов, от человечества и от человечности их увели не национальные пороки, а принципиальный отказ от нравственных Заповедей и закона Совести, безоговорочное: "Цель оправдывает средства" (Маккиавелли был тоже отнюдь не "снежным человеком" Памира). В понимании этого факта нельзя давать себе ни малейшей поблажки, ибо как только мы тем или иным образом поддаемся заманчивой простоте ксенофобийного соблазна, мы начинаем приближаться к ним — к Ленину, Троцкому, Сталину, Гитлеру, Мао, Пол Поту и?..

Приведу еще один недавний пример провокативной межнациональной конфронтации. В уже упомянутой выше московской телепрограмме "Взгляд" иногда появляется журналист Артем Боровик, специалист по афганской теме. Все, к чему прикасается этот молодой человек (он работал одно время в США), приобретает нехарактерный обычно для "Взгляда" двусмысленный и нечистоплотный оттенок. Так, 22 сентября 1989 г. Боровик прислал из Эстонии в Москву экстраординарную, как было объявлено, корреспонденцию, пущенную "Взглядом" в эфир вне очереди. Поскольку прибалтийская проблематика сегодня в СССР у всех на слуху и на устах, эта корреспонденция может лечь на весы общего настроения тяжелым камнем. Суть репортажа в следующем: эстонцы поставили и освятили крест на могиле нескольких десятков молодых людей, сражавшихся во второй мировой войне в рядах немецкой дивизии СС. Голоса и сердца самых вольнолюбивых участников московской телепередачи дрогнули от обиды и возмущения. Но почему, господа?

За несколько мгновений до этого речь в телестудии шла о ветеранах афганской и вьетнамской военных кампаний. Два отставных подполковника, американец и русский, мирно беседовали о материальной помощи ветеранов США инвалидам—"афганцам". Мелькнуло даже дружеское признание, со стороны москвичей, в том, что "наши ребята" сражались против американцев во Вьетнаме и в Северной Корее. Кроме того, было сказано, что эти доблестные ребята, выполнявшие свой интернациональный долг, не получают в СССР ни от государства, ни от общества воздания по заслугам, что о них постыдно плохо заботятся.

Что же получается? С одной стороны, одинаково расцениваются действия американцев, безуспешно пытавшихся поставить заслон коммунистическому тоталитаризму в Азии, и советских военных, распространявших (и распространяющих!) тот же тоталитаризм во всем мире, в частности — в Афганистане.

С другой стороны, к послушным распространителям кровавой Системы, от которой азиаты и сегодня с риском для жизни бегут в США, следует относиться благодарно, бережно и любовно, а над могилой мальчишек, чьи жизни были растерты в пыль в схватке между двумя тираническими гигантами, скромный памятник поставить нельзя. Это проявление народной скорби названо было кощунством. По отношению к чему и кому? И почему же тогда красноезвездные пирамидки или кресты над могилами советских солдат, погибших в Афганистане, это не кощунство?

В Испании, в одном пантеоне, под сенью общего для всех креста, покоятся жертвы гражданской войны: в одном крыле — республиканцы, в другом — франкисты. В глазах своего народа и те и другие — жертвы исторической трагедии. Так считал и Франко. Почему же эстонцы должны рассуждать и чувствовать иначе? Да и вообще — не подумают ли прежде, чем о горестных памятниках над чужими солдатами, о мавзолее чудовищного Ленина, об ухоженной могиле Сталина и обо всем колумбарии Кремлевской стены? Не пора ли прибить там хотя бы соответствующие их истинной роли в российской трагедии памятные доски?

* * *

К общему нашему несчастью, роковой демагогии национальных фобий на массовом уровне крайне редко противопоставляется что-либо доступное и убедительное. И опять приходят на ум российский 1917-й и германский 1933-й годы — начала тираний, интернационалистской и нацистской. Мы не спасемся, если не сумеем сойти со страшной спирали Утопии-Оборотня, ведущей вниз. Беснование национальных фобий — один из бичей, которые гонят нас в ад по этой спирали.

РУССКИЙ ВОПРОС

Дмитрий Шляпентох

ЭТЮДЫ О ГОСУДАРСТВЕ

*"Нации подобны женщинам.
История никогда не прощает
им минуты слабости".*

Маркс.

...И вот я вошел в первый в моей жизни американский бар. Тихая, ненавязчивая музыка успокаивала расшатанные эмигрантские нервы. Группка парней у стойки меланхолично потягивала пиво. Я подсел, заказал водку. "Ну как там, в России? — поинтересовались они, опознав во мне русского. — Плохо небось без свободы?"

"Почему плохо? — с ходу завелся я. — Некоторым очень даже хорошо. Без свободы только интеллигенты не могут, а так все прекрасно без нее обходятся, не сосиски все-таки. Вот вам, к примеру, что важнее — свобода или чтоб бензин был дешевый?" — "Конечно бензин, сравнил тоже! И вообще, пусть они все катятся к такой-то матери, с Ираном этим вместе..."

Тем временем молоденькая официантка включила телевизор, и на голубом экране возник вдруг тот самый Иран, который только что так невежливо помянули за стойкой. "Смерть Америке!" — скандировали на экране многотысячные толпы. И вдруг что-то до боли знакомое и привычное почудилось мне в этом крике, и я тоже закричал вместе с толпой что-то такое, что пока еще можно кричать только на русском, китайском или кхмерском языке. "Террор! — кричал я. — Массовидный террор... Индивидуального не признаем только по причине нецелесообразности!" И тогда толпа на экране зарычала вместе со мной, и я услышал жалкий, растерянный голос американского комментатора: нет, мы не уступим насилию... мы великая держава... но зачем проливать кровь... человеческая жизнь священна... всегда можно договориться...

Они отступали, эти трусливые империалисты, они бежали, бросая обоз, раненых и знамена, а я, вместе с толпой, неся за ними на взмыленном коне, полосуя шашкой по их покорным империалис-

тическим спинам и в революционном возбуждении хрипя: "Дашь!"

...Было это десять лет назад, в разгар иранского кризиса, когда я зеленым эмигрантом вступил на американскую землю. Приход Рейгана в Белый дом должен был бы, казалось, изменить мои изначальные взгляды на американскую политическую систему. Действительно, новый президент то и дело намекал на готовность Америки дать противникам последний и решительный бой. И слова его не расходились вроде бы с делами: расходы на вооружение явно набирали темпы. Но увы — в конечном счете и Рейган оказался не намного опаснее мягкотелого Картера: исполнив для приличия воинственный танец с термоядерным томагавком, он предложил СССР раскурить с Америкой пресловутую трубку мира.

Причина странной американской невоинственности, кажется мне, коренится в том, что Америка была и во многом еще остается страной почти чистого, ничем не потревоженного капитализма, развившего до предела свои, так сказать, антигосударственные тенденции. А без любви или хотя бы подчинения государству никакой настоящий милитаризм невозможен.

Антигосударственность легко просматривается в американском национальном характере. Американцы — народ вовсе не корыстный. Они с легкостью жертвуют своим университетам и музеям, международным организациям и даже иностранным государствам. Но как только дело доходит до собственного государства, американец становится на удивление сдержанным. Политика наращивания вооружений была, разумеется, большинством избирателей принята — в противном случае Рейган был бы просто не переизбран. Но боюсь, что даже самый закоренелый консерватор добровольно не пожертвует на американскую армию и одного цента. На заявления о том, что нужно крепить оборону страны, он скорее всего ответит, что как налогоплательщик он свой долг выполнил.

Государство для американца — не символ нации, не божество, которому все позволено, а всего лишь одно из учреждений. И в ряду этих учреждений армия, например, не более, а гораздо менее престижна, чем, скажем, Джeneral Моторз или Гарвардский университет. Можно жертвовать собой во имя Бога, но совершать хакари во имя кафедры славистики или сборочного цеха никому не придет в голову.

Эти черты национального характера есть, повторяю, порожде-

ние капитализма, доведшего индивидуализм со всеми его положительными и отрицательными сторонами до логического завершения. И поскольку американский президент исповедует эти принципы, поскольку он объявляет, что "дело спасения утопающих есть дело рук самих утопающих", любые его заигрывания с милитаризмом рано или поздно обречены на провал. Рано или поздно американский гражданин поймет, что для его личного экономического спасения разоружение гораздо выгоднее вооружения и немедленно начнет ворковать по-голубиному. А коль скоро начнут ворковать избиратели, то за ними немедленно последуют и представители народа, которым очень хочется сохранить хорошую и высокооплачиваемую работу.

Но если капитализм с неизбежностью ведет нацию к слабости, то социализм, то есть феодализм (а всякий истинный социализм есть не что иное, как феодализм, или, лучше сказать, рабовладение, это давно уже было отмечено), напротив, представляется весьма целительным для военной мощи государства.

Читатель может, правда, возразить, что мои рассуждения шиты белыми нитками, ибо именно советский социализм-феодализм как раз и показал свою полную несостоятельность во всех сферах, в том числе и военной, и горбачевская "перестройка" была во многом продиктована как раз страхом перед западным военным превосходством. Капитализм, стало быть, торжествует над социализмом. Положение это, однако, верно лишь по видимости, а не по существу. Капитализм действительно побеждает — но лишь там, где он может припугнуть социализм своей более совершенной экономикой и технологией. Вся послевоенная конфронтация между Америкой и Россией и сводилась ведь в общем-то к такому именно запугиванию, к ядерному шантажу. "Звездные войны" были его последним по счету образцовым примером. Но в том случае, когда шантажа оказывается недостаточно, капитализм становится скорее беспомощным. Если даже он пытается воспользоваться своим несомненным технологическим превосходством, то, увы, очень скоро идет на попятную. Оно и понятно: всякая война, даже та, в которой у тебя абсолютное преимущество, невозможна без жертв, а жертвы никак невозможны без жертвенности. Но вся эффективность капитализма связана как раз с тем, что он не терпит жертвенности. "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". И вот случается, что до зубов вооруженная армия терпит сокрушительнейшее поражение от самых что ни

на есть отсталых, но — благодаря своим феодально-рабовладельческим институтам — готовых на жертвы обществ. Отсталость их, благодаря которой и сохраняется их феодализм, обращается не проигрышем, а капитальнейшей выгодой, причем именно в той области, где, казалось бы, никакая отсталость выигрыша принести не может.

Греко-персидские войны с гимназических времен приводят в качестве примера неоспоримого преимущества демократии над деспотией. Так считали и сами греки, устами Эсхила прославившие свою победу над варварами, над стадом рабов, идущих в бой только под плетью офицеров. (В том, что персы рабы, то есть подданные деспота, греки видели нечто унижительное — как, надо сказать, и большинство их потомков. Персов никто не прославлял. Во всяком случае, ни одна подобная работа мне не известна. А ведь очевидно, что среди персов тоже было немало случаев и героизма, и прямого самопожертвования.)

Греки, в конечном итоге, разбили персов. Но эта победа вовсе не была победой демократии над деспотизмом. Греческие полисы, в том числе и самые "демократические", были империалистами своего времени и властвовали над другими греческими городами с помощью военного террора. Все они были рабовладельцами, а спартанцы к тому же — рабовладельцами садистски жестокими, периодически устраивавшими резню рабов-илотов. И в Афинах и в Спарте граждане жертвовали своей жизнью ради полиса лишь потому, что полис защищал их интересы независимо от их производительной ценности.

Другой пример, уже из Нового времени. Французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны неоднократно приводятся в доказательство того, как благотворно действует свобода на военные потенции государства. Но и здесь забывают, что ни якобинская, ни наполеоновская Франция не были чисто буржуазными государствами американского типа, — у Наполеона, как известно, была весьма основательная бюрократия, настоящее дворянство и пышно-феодальный генералитет. Его империя просто просуществовала слишком недолго, чтобы выкристаллизироваться в поздний римский цезаризм. Но даже если все это вынести за скобки, останется тот факт, что и наполеоновская Франция не смогла справиться не только с феодальной, крепостнической, деспотической, но хотя бы огромной Россией, но и с такой же отсталой, феодально-непроизводительной Испанией, у которой не

было ни русских пространств, ни людских резервов.

Перейдем теперь к двадцатому веку. В корейскую войну Америка с трудом избежала поражения, когда столкнулась с диким и совершенно непроизводительным красным Китаем, еще совсем недавно пережившим японскую интервенцию и длительную гражданскую войну. А через несколько лет та же Америка потерпела позорное поражение от совершенно крошечного красного Вьетнама, несмотря на то, что значение этой войны для американского престижа прекрасно понималось всеми, — потому-то она и велась так упорно, невзирая на огромные (по американским масштабам конечно) потери и миллиардные убытки.

Израиль блистательно выиграл все войны, которые он вел с наиболее развитыми и, соответственно, наиболее производительными арабскими странами (Египтом и Сирией), снабженными к тому же советским оружием, но ушел с побитым носом из Ливана, столкнувшись с дикими, отсталыми и феодально-непроизводительными шиитами, которые в силу опять-таки своей абсолютной непроизводительности преспокойно вели начиненные динамитом машины на израильские посты.

И наконец, перейдем к Советскому Союзу. Разбирая его военно-стратегические затеи последних лет, мы легко убедимся, что и здесь либерально-производительные страны (позволю себе опять повторить, что страна не может быть производительной без либеральной политической основы, индивидуализма и, соответственно, лозунга "спасение утопающих — дело рук самих утопающих") терпели от Советского Союза одно поражение за другим, — достаточно вспомнить оккупацию советскими войсками Венгрии или Чехословакии. А вот с отсталым Афганистаном вышла загвоздка: впервые за сорок с лишним лет римские легионы отступили, склонив своих золоченых орлов.

Мне могут, правда, возразить, что афганцы располагали совершенной американской боевой техникой. Техника, конечно, вещь серьезная, но объяснить ею все нельзя. У Советского Союза тоже была техника, а главное — американское оружие появилось у повстанцев сравнительно поздно, и почти семь лет они обходились без него, сражаясь с советской армией чуть ли не пресловутой дубиной. Им пришлось почти семь лет перетерпеть, и они выстояли, перетерпели, потому что были дики, непроизводительны, сугубо нелиберальны и ни чужой, ни своей жизни не жалели.

Возможна ли в Советском Союзе реакция, которая восстановит военную мощь государства и снова вернет его на военно-феодальный путь? Говорить что-либо определенное в истории нельзя. Она часто беременна, так сказать, множеством альтернатив. Возможен, к примеру, либеральный вариант развития — медленное гниение-укрепление советской буржуазии и постепенное расширение прав и свобод без резких поворотов и потрясений; но и противоположный вариант тоже не исключен. Более того — в его пользу есть множество своих доводов. Я не открою Америку, сказав, что феодализм, или рабовладение в его мягкой, гуманно-разжиревшей форме, есть вполне народная, большинством населения предпочитаемая норма правления, а посему оно, это большинство, склонно защищать ее всеми правдами и неправдами.

Советская бюрократия, то есть господствующее феодальное сословие, никак не может желать развития капитализма и с неизбежностью является в своем большинстве естественным врагом горбачевских реформ. Положение советского феодала уникально в том смысле, что он никак не может превратиться в буржуа. Этим он в корне отличается от большинства феодалов прошлого. Существовало некогда предприимчивое английское дворянство, которому не нужен был государственный протекционизм, — оно страстно желало свободы от всяких ограничений, полагая, что вполне может выплыть без государственно-феодальных спасательных кругов: все его желания сводились в общем-то к тому, чтобы не мешали его "овцам пожирать людей". Французское дворянство было потрусливей и посему более, чем английское, предпочитало держаться за государственную юбку, но и здесь (если верить советским доперестроечным учебникам) были какие-то предприимчивые герцоги и графы, которые не боялись, что у них от работы залоснится манишка. Даже в восточной деспотии эмбрион капитализма мог как-то появиться и медленно расти: в восточной деспотии все в поднебесной принадлежало императору или фараону, то есть являлось в некотором роде "общенародной собственностью" (эта связь между восточной деспотией и социализмом не отрицается и советской перестроечной публицистикой); земля, например, отчуждалась и перемещалась от одного собственника к другому с трудом, но тем не менее даже в восточной деспотии было понятие собственности, принадлежащей отдельному лицу, а не "народу". Даже в условиях наиболее чистого в мире социализма — я имею в виду социализм древнеегипетский

(по искренней преданности граждан власти, по духу самоуничтожения и самоуничтожения его не превзошел ни один из социализмов нового времени) — представитель господствующего класса имел возможность без страха и упрека копить золотые слитки, закупать землю, хотя бы в условно-временно-кооперативно-социалистически-рабовладельческое пользование, или наконец, готовясь к отходу в вечность, приступить к личному, индивидуально-трудовому пирамидостроительству с привлечением вольно-, а также невольноработораба.

В горбачевском обществе ничего подобного нет. Государственно-социалистическая, рабовладельческая собственность остается в своей сущности нетронутой, и предположить, что какой-нибудь барон областного или там краевого масштаба согласится сменить свои завоеванные в борьбе с народом закрыто-распределительные привилегии на сторублевое повышение в зарплате и приступит к кооперативно-частному бизнесу, как-то нет особых оснований. Во-первых, бизнесы эти крошечны и дистрофично убоги, а развернуться им по-настоящему (наемный труд в неограниченных размерах, неограниченные возможности роста, юридическая охрана прибыли и свобода ее вложения и перемещения даже в другие страны) никто не даст — по крайней мере, пока этого не видно и на горизонте, а видно скорее прямо противоположное. Во-вторых, отказ от феодальных привилегий немедленно уравнивает такого советского барона с любым буржуазным прохиндеем, соперничать с которым в финансовом отношении ему очень даже трудно. А в-третьих, что барону делать со своим доходом? Это буржуа может всласть наслаждаться своими деньгами, а партийному феодалу такой путь, увы, заказан: и застолье, и девочки в чрезмерном количестве не поощрялись даже в "застойно-застольные" времена, а сейчас и подавно.

Не случайно в феодально-партийном сознании не привилось даже само понятие собственности. В брежневскую эпоху феодалы коллекционировали зеленые долларовые бумажки и золотые кругляши николаевской чеканки, но собирательство это было полукриминальным и тогда и сейчас. Путь улучшения своего экономического положения у совфеода один — повышение по службе и новые привилегии. Поэтому для него буржуазно-либеральные отношения — просто нож по горлу, неизбежная гибель, в общем — "Вишневый сад". И не спасут его ни выкупные платежи, ни дворянские банки.

Однако главным защитником феодально-рабовладельческого быта является народ. В эмигрантской и диссидентской литературе принято рассматривать социализм (и рабство как таковое), как нечто противное человеческой природе. Социализм в таком случае видится исключительно как узурпация, насилие над народом, а заявления советских вождей об исключительной любви народа к существующему порядку вещей объявляются пропагандистской уловкой. Если и признается, что советские граждане в значительной своей части относятся к советскому строю в общем положительно, то немедленно делается оговорка, что это касается только русского народа, якобы испокон веков приученного к рабству. Меньшинства — евреи например, — решительно противопоставляются в этом плане русским. Тем самым русский народ как бы выводится за скобки мирового сообщества — вместе с некоторыми "азиатскими недочеловеками", — поскольку свобода рассматривается как неотъемлемое желание любого "нормального" индивидуума.

Утверждения эти в корне неверны, и приверженцы их такими утверждениями демонстрируют всего лишь присущее им либерально-эвклидово виденье мира. (Всякий западный либерал с неизбежностью эвклидовец; русский же — вернее советский, национальность здесь не имеет никакого значения — эвклидовец вдвойне, эвклидовец самозабвенный, даже жертвенный в своем стремлении вправить историю в некую добродетельную и прямолинейную модель, ложную по самой своей сути.)

Либерально-добродетельная модель — а она-то и господствовала (и по сей день, видимо, господствует) в большинстве столичных советских гостиных, точнее кухонь — проникла на самые верхи и идеологически подготовила горбачевские реформы. Логика этих реформ заварена именно на марксистско-либерально-гуманных схемах: народ добродетелен и свободолюбив и желает освобождения от гнетущей его бюрократии. По освобождении он немедленно приложит свои нерастраченные силы и тогда начнется невиданное процветание. В этом прогнозе советское "мыслящее" большинство — от самых крайних диссидентов до едва либеральных интеллигентов — сходилось целиком и единодушно.

События, однако, показали, и это признают даже многие сторонники нынешнего генсека, что народ вовсе не желает освободиться. Феодализм и умеренное рабовладение народу желанны, потому что гарантируют его большинству известный минимум

материальных благ без какого-либо особого напряжения. Если граждане этого гуманно-рабовладельческого общества и готовы "освободиться", то лишь при условии, что это освобождение не лишит их прежней социальной защиты. Именно такое сочетание свободы с социальной стабильностью — на деле противоречивое и невозможное — и составляет сегодня сущность народной мечты. Это отнюдь не новая мечта: и в прошлом многие рабы и крепостные зачастую вовсе не желали освобождаться и по прошествии некоторого времени начинали видеть в покинутом рабовладении легкомысленно оставленный "золотой век". Известно, что все "Утопии" и "Государства Солнца" есть не что иное, как идеализированное средневековое или рабовладение.

Капитализм в России практически не имеет социальной базы (да простит мне читатель марксистское образование, которое во всем обязательно должно найти социальную базу). Советская буржуазия не только немногочисленная и финансово беспомощна, но не является собственно буржуазией как таковой — в западном, американском смысле слова. Советская буржуазия пока — класс не производящий, а паразитирующий. Она схожа с позднефеодальными Шейлоками и королевскими откупщиками. В сегодняшней России финансовый успех во многом зависит не от производительности и сметки, а от связи с властью имущими, то есть с аппаратом. От него зависит и разрешение на открытие бизнеса, и снабжение сырьем, и возможность рекламы, и, наконец, избавление от конкурентов. Паразитирующий, а не производящий характер современной советской буржуазии — одна из причин ненависти к ней со стороны населения, видящей в буржуа лишь махинатора, наживающегося за счет простого люда.

Каково же будущее? Магического кристалла нет ни у кого, даже у государственного или генерального секретаря. Поворот событий, как я уже сказал, может быть любым. Вполне возможно, что период медленного, постепенного развития будет продолжаться в течение сравнительно долгого времени. Капитализм будет медленно зреть в тканях старой феодальной структуры, паразитируя на ней, питаясь ее соками. Может быть, если не через века, то через поколения ленивый королевский откупщик, ныне райкомовским указом монополизирующий в городе кооперативно-индивидуальное сортиростроительство, и шустрый Шейлок, герой первоначально-перестроечного накопления, ныне скупающий доллары у "гостей столицы", превратятся в трудолюбивых буржуа

американских провинциальных городишек. И восторжествует капитализм — гуманно-производительный и до тошноты добродетельно-скучный в своем честном эвклидовом виденье мира. Когда великая рабовладельческая империя, последняя из империй мировой истории, окончательно американизируется и обуржуазится, за ней последует весь остальной мир, и тогда везде воцарятся право и закон. Окончательно утвердятся права человека, и на Земле наступит мир и в человеках благоволение. Это и будет осуществленная мечта среднего западного американца, его обессоленная, обезжиренная эсхатология, его полезно-питательный, как вегетерианский салатик, Армагедон.

Но не исключен и противоположный вариант. Более того, мне кажется, что шансы его даже больше, чем первого. Горбачев хочет вывести страну из стагнации в течение нескольких лет, он не желает, да и не может ждать. А посему очень вероятно, что он будет жать на педали, ускорять развитие капитализма, поощрять частную инициативу.

Многие начатые им процессы приобрели второе дыхание и могут уже развиваться без государственной помощи. Здесь я имею в виду в первую очередь обостряющиеся национальные конфликты, это прямое следствие горбачевской либерализации. Пока император будет пытаться сбавить скорость, руль может заклинить. И тогда ему придется нажать на тормоз. И тогда наступит реакция.

Сутью ее будет возрождение дворянского сословия, а если брать более общо — авторитета государства. Это будет новая контрреформация со своими Лойолами и своими Площадями Цветов. (Она не сможет вырезать капитализм полностью, на это у власти не хватит сил, метастазы пойдут дальше вглубь, но приостановить процесс, приморозив верхний слой, пока еще, возможно.) Такая реакция неизбежно должна привести к возрождению статуса социалистического дворянства — хотя, быть может, в новой форме, когда власть придется делить с буржуазией. А за этим столь же неизбежно пойдет усиление военных потенций империи.

Где будет главное направление экспансии? Этого предугадать нельзя. Может быть, внешняя экспансия в чистом виде уже окажется не под силу, и тогда империя, как в эпоху позднего Рима, перейдет к закреплению провинций, к борьбе за предотвращение распада. Может быть, будут Великие Польские и Средне-

азиатские Войны, а внешняя экспансия окажется всего лишь периферийной, побочной.

Но империя еще может быть восстановлена во всем блеске вечернего заходящего солнца диоклетианова Рима. (Кто был в Риме, наверно видел бурые, цвета венозной крови, развалины его бань в центре города. В их грандиозных, варварски-тяжеловесных формах уже виден благостный восход нового мира.) И будут бои: на востоке — с закованной в маргианскую сталь тяжелой персидской конницей и на западе — с одетыми в шкуры германцами в рогатых шлемах. Поздняя империя простоят еще не одну сотню лет, и без Сцевол простоят (а были ли они, эти сцево-лы?!), и без Цинциннатов, и без прочей революционной доблести.

Нужно ли страшиться этой реакции и возрождения имперской мощи? Эвклидов ответ однозначен. Он, естественно, предполагает, что реакция и война с неизбежностью свидетельствуют о кризисе и приближающемся конце. Что касается конца, то он действительно неизбежен. Это относится к любым политическим образованиям так же, как к всякому отдельному человеку. Вопрос в том, в какой форме человек или политическая организация могут пережить себя. (Пережить себя они, естественно, могут лишь на короткое время, ибо рано или поздно даже символическое "я", даже коллективное "я" человечества исчезают — пусть даже само оно еще не дошло до старческого осознания этого своим коллективным сердцем.) Империя может пережить свою смерть, лишь стремясь сказать последнее слово: в этом суть всякой великой культуры. Достоевский (и эту мысль за ним повторяет Бубер) совершенно справедливо писал, что греки дали миру свою великую культуру, поскольку полагали всех остальных варварами. То же было с римлянами и, наконец, с евреями — именно на излете, на уходе со сцены истории, из-за очевидного своего самомнения (у евреев оно состояло в том, что они полагали, будто именно для них природа уготовила исключение и судьбу, отличную от судьбы всех прочих народов), евреи и дали миру великую мировую религию. Советская империя тоже несла миру такое последнее слово и была горда своей исключительностью и особостью: ведь и сами горбачевские реформы не что иное, как последний отзвук этих мессианских надежд. Некоторые утверждают, будто Горбачев западник — в том смысле, что хочет превратить Россию в государство западного типа. Это ут-

верждение поверхностно. Когда Горбачев говорит, что стремится вовсе не к капитализму, а к социализму ("больше демократии, больше социализма"), я склонен ему верить. Подобно старым либеральным славянофилам, он продолжает надеяться, что Россия не превратится просто в очередную западную страну, но еще преподнесет миру свое последнее слово — и именно в славянофильско-социалистической упаковке. В этом он напоминает мне Александра Второго. Но если его реформы тоже обречены на провал, то уже не потому, что его царский лимузин подстерегут очередные злодейки, диссидентствующие Засулич, опасаящиеся, что, дав народу "кущую конституцию", подурмянив, так сказать, самодержавный социализм, новый Александр отвадит массы от революционного топора. Причина будет более глубокой. Реформы Александра провалились потому, что последнее слово так и не было сказано. Россия николаевская, страшная миру, Европе (а в этой полицейской обособленности от Европы уже была печать избранности, непохожести на все остальные страны), превратилась в Россию смешную: она не стала ни Западом, ни Востоком. Для коренного русского населения эти реформы были, перефразируя Ключевского, "случайно родившимися в Московии французами", для Запада же — "переодетыми татарами". Империи прощается все: тупость: египетское окостенение, распятие виновных вкупе с невинными по Большой, а также по Малой Аппиевой дороге — но не прощается одно: слабость. Империя может жить по законам калигуловой философии, но никак не по законам театральной оперетки. Можно на минуту допустить, что горбачевские реформы сумеют "озападнить" Россию; но даже если это случится, такая горбачевская Россия будет смешнее России брежневской.

Возможно, что империя уже обречена, как обречено все живущее; тогда ее смерть будет знаменовать конец последней универсальной империи в истории человечества, последней попытки объединить его. Все великие завоевания прошлого были такой попыткой объединения мира для противостояния природе, для конфронтации человека с космосом. (Империя Александра была первым ярко выраженным стремлением к универсализму — не случайно он так стремился достичь границ известной ему ойкумены.)

Что ж, значит, великая империя умрет. Закончится, отцветет великая сказка истории, героическая плотоядность и кровавость, напряжение воли и сил сменится прозаическим, ухоженным, незлобивым бытием, а прошлое останется лишь как развлекатель-

ная картинка, как голливудский фильм, показанный в уютно-пристойном американском городишке, дабы развлечь притомившихся от дневного сидения за конторкой обывателей. Человечество смирится со своей обыденностью, схожестью с прочими феноменами природы, и будет со стоической и детской американской гордостью ждать своего конца в урочный час. Может быть, именно такой окажется судьба последней империи, которой суждено будет погибнуть не от варварского нашествия, не в зареве полночных пожаров, освещающих форум, а от презрительного смеха и сознания собственного ничтожества.

Но может ли Рим стерпеть плевки и терновый венец презрения? Богу — Богово, но и кесарю ведь нужно воздать кесарево. И возможно, очень возможно, что она не вынесет насмешек и бросится, уже покрытая, как чешуей, дротиками и стрелами, на своих обидчиков или же, подобно раненому зверю, ревя от боли и ненависти, начнет рвать когтями собственное тело. Левиафан, хвост которого сметает звезды Млечного Пути, может ли смириться без борьбы со своей обыденностью, с общей для всех живущих судьбой?

Реакция гонит в катакомбы и порождает одиночество; но в этом и ее величие, ибо нигде звезды не смотрятся так хорошо, как в катакомбах. Без реакции не может быть великой культуры, искусства и религии, преодоления природы. А в этом преодолении — или, вернее сказать, в попытке преодоления (ибо преодолеть ее в нынешних биологических формах человечеству не дано) — и состоит призвание великой нации, которой не страшны никакие "отставания" и гонки по прямой. Миссия великой нации — в создании мифов, а не компьютеров, ибо всегда может оказаться, что компьютеры кто-то создает лучше тебя: мифы же равновелики...

И увидел он долину, и она была полна костей, и они были сухими от времени. И тогда он спросил, есть ли надежда у этих костей. И было ему отвечено, что он знает гораздо лучше спрашивающего. (Я читал эти строчки своим студентам, но в середине цитаты окончились отведенные нам сорок пять минут, и они побежали в коридор.) Эти строчки — основа западного мифа: о бессмертии и воскрешении. Это основа трех великих религий: иудаизма и порожденных им христианства и ислама. Но не может этот миф жить в удушливом воздухе акрополя и агоры, кормиться на мирных пажитях либерально-евклидовых американских аркадий

(Америка часто провинциальна даже в самом центре Манхеттена). Великому мифу нужна животворящая стесненность позднеримского, тяжелого и безобразного варварства, а еще лучше — пирамиды Гизы и стилизованная резьба Карнака, где великий Рамзес несется на колеснице, подминая копытами своих врагов (еще Флоренский отметил мудрую символику и политическую направленность культурного египтизма, так и не понятого либеральным эвклидовым мышлением). То, что христианство выросло вблизи Храмовой горы, обусловлено близостью пирамид. Израильтяне, особенно жители Тель-Авива, крайне опечалены, что живут вблизи от Египта, а не рядом с Парижем и Нью-Йорком, и ездят в долину Нила лишь по причине дешевизны подобного путешествия. А им-то надо бы этой близостью гордиться.

Судьба нации зависит от того, сумеет ли она вспомнить, что солнце восходит не с запада, а с востока. И что не только Его, но и Ксерксово имя можно начертать на знамени — и "сим победиши".

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ"

НОВАЯ КНИГА

"ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ"

256 стр.

Цена 15 долл.

Сборник произведений, опубликованных в разное время на страницах журнала "22", содержит увлекательную повесть о дерзких исторических гипотезах И. Великовского, статьи Дж. Кармайка, Г. Шолема, Н. Голба, Р. Ляст и И. Рубина, посвященные загадочным эпизодам и темным страницам еврейской истории, а также перевод знаменитой работы З. Фрейда "Моисей и монотеизм", где предлагается необычная трактовка происхождения иудаизма.

Заказы и чеки направлять по адресу: "Москва — Иерусалим", п/я 44050, Тель-Авив 61440.

ЗАПАД – ВОСТОК

Фрэнсис Фукуяма

КОНЕЦ ИСТОРИИ

Опубликованная в американском журнале "Нейшнл интерес" статья заместителя директора Отдела планирования Государственного департамента Соединенных Штатов и бывшего сотрудника "Рэнд корпорейшн" Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории", в которой была сформулирована сенсационная гипотеза о надвигающемся конце "идеологического периода" человеческой истории, вызвала огромный интерес и бурные дискуссии в интеллектуальных кругах всего мира. В частности, русская служба Би-Би-Си провела заочный "круглый стол" с обсуждением основных идей этой статьи, в котором участвовали советские и западные мыслители, включая самого Ф. Фукуяму. Прежде чем познакомить читателя с их высказываниями, мы предлагаем его вниманию краткий конспект обсуждаемой статьи (полный текст которой опубликован по-русски в советском журнале "Новое время", а на иврите — в газете "Гаарец").

Рассматривая события последнего десятилетия, — начинает свою статью Ф. Фукуяма, — трудно отделаться от ощущения, что в человеческой истории происходят какие-то фундаментальные изменения. Даже политики и журналисты, увлеченные текущими событиями, смутно ощущают, что за этими разрозненными фактами скрывается некий более глубокий процесс, придающий им всем единое направление и смысл. В общих чертах можно сказать, что XX век был свидетелем того, как история совершила полный замкнутый цикл. Это был век идеологических пароксизмов. Он начался с борьбы либерализма с остатками абсолютизма, он продолжился его борьбой с большевизмом и фашизмом, а затем с обновленным вариантом марксизма, который угрожал миру ядерной катастрофой. Но, начавшись с убеждения в окончательном торжестве западной либеральной демократии, этот век сегодня кончает почти тем же, чем начал: не "концом идеологии" и не сближением капитализма и социализма, а полной победой идей экономического и политического либерализма. Это торжество Запада, торжество "западной идеи" очевидно, прежде всего, в полном провале всех сменявших друг

друга альтернатив западному либерализму. Крупнейшие коммунистические страны не только стали на путь политических реформ, но и оказались ареной распространения западного потребительства. Поэтому, — продолжает Фукуяма, — мы становимся свидетелями не просто конца "холодной войны" или определенного периода послевоенной истории, а — конца истории как таковой, то есть "конца идеологической эволюции человечества и всеобщего распространения западной либеральной демократии как окончательной формы государственного устройства". Разумеется, это не означает прекращения политических событий: либерализм победил пока лишь в сфере сознания; но есть основания думать, что "в дальней перспективе" этот идеал победит и в сфере материальной. Чтобы убедиться в этом, следует, однако, несколько углубиться в теорию.

Идея конца истории была громче всех провозглашена Марксом, который видел конечную форму человеческого существования в форме коммунистической утопии. Однако Маркс всего лишь заимствовал свою концепцию истории как диалектического процесса у великого немецкого философа Гегеля. По Гегелю, сознание человечества проходит ряд стадий, соответствующих определенным формам социальной организации, которые завершаются эгалитарно-демократическим обществом. Гегель был первым из философов, рассматривавшим человека не как совокупность врожденных и неизменных "естественных" свойств, а как продукт конкретных исторических и социальных условий. История в его понимании сопровождалась подчинением и овладением природы, которые кульминировали в окончательном, рациональном устройстве общества и государства.

Видным современным интерпретатором Гегеля был русский эмигрант Александр Кожев, изложивший свои взгляды в серии лекций, прочитанных в 30-е годы в Париже (его слушателями были, в частности, Жан-Поль Сартр и Раймон Арон). Кожев утверждал правоту Гегеля, полагавшего, что конец истории наступил уже в 1806 году, когда войска Наполеона разгромили прусскую монархию в битве под Иеной. По Гегелю, это означало торжество идей Французской революции и их неминуемое распространение по всей Европе. Кожев настаивает, что Гегель был прав: хотя и после 1806 года многое еще оставалось сделать для торжества этих идей на практике, сами они — то есть принципы либеральной демократии — уже не подлежали изменению. Две последовавших мировых войны и сопро-

вождавшие их революции и потрясения неумолимо вели ко все большему пространственному распространению этих идей: оставшие общества поднимались до уровня передовых, а передовые все более реализовали в своей практике принципы либерализма.

Государство, которое должно возникнуть в результате этого процесса, то есть "в конце истории", может быть только либеральным — в том смысле, что оно признает и защищает с помощью закона универсальное право человека на свободу, и демократическим — в том смысле, что оно существует только с согласия своих граждан. Такое "универсальное однородное общество" уже нашло воплощение в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах. В этом обществе разрешаются все прежние человеческие противоречия и удовлетворяются все человеческие нужды. Здесь нет борьбы по "принципиальным" вопросам, и уделом людей остается одна лишь экономическая активность.

Взгляды Кожева, — говорит Фукуяма, — могли бы показать эксцентричной блажью оторванного от жизни интеллектуала, если бы не находили подтверждения в гегелевской идеалистической схеме истории. Для Гегеля все противоречия, движущие историю, разыгрываются прежде всего на уровне человеческого сознания, то есть на уровне идей (отсюда его знаменитое: "Все разумное действительно, все действительно — разумно"). Идеология — это не просто секулярные политические доктрины; она включает религию, культуру и весь комплекс моральных ценностей, лежащий в основе общественной жизни. Разграничение между миром идей и материальным миром всего лишь кажущееся: материальный мир является одним из аспектов мира идеального. Разумеется, Гегель был "вполне от мира сего": он понимал, что может быть, скажем, убит вполне материальной пулей; но пуля эта, утверждал он, будет выпущена из револьвера, находящегося в руке человека, сознание которого находится под влиянием идей свободы и равенства, провозглашенных Французской революцией.

По Гегелю, человеческое поведение в материальном мире, а следовательно и вся человеческая история, мотивируется существующим состоянием сознания. Оно может быть и неосознанным, как в случае религиозных или чисто культурных убеждений, но именно это "состояние сознания" в дальней перспективе определяет эволюцию материального мира и формирует этот

мир по своему образу и подобию. Сознание же развивается независимо от материального мира, и потому истинной ариадниной нитью в лабиринте запутанных и сложных сиюминутных событий является история идеологии.

Концепции Гегеля не повезло, — замечает Фукуяма, — она была "перевернута" Марксом, который отнес всю сферу сознания к "надстройке", определяемой исключительно существующим способом производства. Отсюда пошла нынешняя тенденция искать материальные объяснения исторических явлений и отказываться от признания автономности идей. Последним примером такого подхода может служить ставшая широко популярной книга Поля Кеннеди "Подъем и падение великих держав", в которой упомянутый упадок объясняется чисто экономическими причинами. Разумеется, это отчасти верно: экономика, едва обеспечивающая существование своему народу, не может без конца тратить свои ресурсы на экспансию, не рискуя банкротством. Но вот вопрос, тратить высокоразвитой экономике три или семь процентов своего бюджета на оборону или на потребление, — это уже вопрос, решение которого зависит от политических приоритетов общества, которые, в свою очередь, обусловлены состоянием его умов.

К сожалению, — констатирует Фукуяма, — склонность к чисто материалистическому толкованию свойственна не только левым, но и правым, не только марксистам, но и антимарксистам; взгляд на человека как на чисто рациональное, стремящееся к максимуму выгоды существо лежит в основе всей современной экономической теории. Между тем еще Макс Вебер в "Протестантской этике и духе капитализма", анализируя причины разной экономической эффективности католических и протестантских общин, суммировал их в образной формуле: протестанты хорошо едят, зато католики хорошо спят. Вебер отмечал, что если бы человек действительно был чисто рациональным существом, стремящимся только к максимальной выгоде, ему следовало бы увеличивать скорость производства, так как это увеличивает его производительность; между тем во многих традиционных общинах увеличение этой скорости вело к снижению производительности: привыкнув удовлетворяться двумя марками в день и увидев, что с повышенной скоростью можно заработать те же две марки за меньшее время, крестьянин начинал работать меньше и ценить безделье больше, чем доход. Такое предпочтении отдыха труду или военизированной жизни спартанско-

го гоплита богатству афинского торговца и даже аскетической жизни начинающего капиталиста, традиционной роскоши аристократа нельзя объяснить влиянием безличных материальных факторов — они обусловлены в первую очередь состоянием умов, то есть идеологией. Именно поэтому Вебер и утверждал, в противоположность Марксу, что материальный способ производства является не "базой", а "надстройкой", берущей начало в религии и культуре: чтобы понять возникновение современного капитализма с его мотивом прибыли, нужно изучить его предпосылки в сфере духа.

Нынешняя детерминистская материалистическая экономика любит ссылаться на феноменальный успех азиатских стран как на доказательство преимуществ свободного рынка и свободного стремления к прибыли. Но совершенно очевидно, что не меньшую роль в этом успехе сыграла культурная специфика этих стран, свойственная им этика труда и бережливости, их религиозное наследие (которое, в отличие от ислама, не запрещало определенных видов экономической деятельности), равно как и все прочие, глубоко укоренившиеся моральные императивы, которых эта современная теория попросту не хочет замечать. (А ведь стоит сравнить хотя бы достижения недавних вьетнамских иммигрантов в американских школах с достижениями их испаноязычных сверстников, чтобы понять, что культурные и духовные традиции определяют не только экономическое, но и всякое поведение человека вообще).

Точно так же на Западе принято сегодня объяснять поворот к реформам в СССР и Китае торжеством материального над идеальным, экономических соображений над идеологическим диктатом. Но ведь принципиальные дефекты социалистической экономики были очевидны уже 30-40 лет назад — почему же этот поворот начался только сейчас? Ответ следует искать в состоянии умов правящей элиты, которая решила наконец предпочесть "протестантский" путь обогащения в условиях рискованной свободы "католическому" варианту бедности в условиях гарантированной безопасности. Конечно, определенную роль — для советских лидеров во всяком случае — сыграло ощущение **небезопасности** их военно-технологической ситуации; но можно с полным основанием утверждать, что эта ситуация не была такой катастрофической, чтобы продиктовать столь далеко зашедшие перемены: здесь со всей очевидностью произошла победа одной *идеи* над другой.

Таким образом, для гегелевской историософии не так уж важно, восторжествовали ли идеи Французской или Американской революции немедленно по всему миру, — принципиально важно, что с их появлением идеологическое развитие истории завершилось, ибо правота этих идей имеет абсолютный и окончательный характер; становление универсального однородного государства в **материальном** мире — всего лишь дело времени. Это не означает, однако, — подчеркивает Фукуяма, — что материальные факторы вообще несущественны и можно построить общество на основе произвольно выбранной системы идей, никак не связанных с материальным миром. Люди слишком дорого заплатили за попытки воплощения таких утопий, которые существовали только в идеальной сфере. (Монофизиты и монофилиты в Византийской империи времен Юстиниана убивали друг друга из-за разногласий в трактовке сущности Троицы, а вовсе не из-за социальных или экономических интересов). Но материальный мир не только ограничивает наши практические возможности — он еще, в свою очередь, влияет на состояние наших умов: материальные успехи развитых либеральных стран, к примеру, помогли распространению и укреплению самих идей либерализма, в том числе и в политической сфере. Ведь либеральная экономика отнюдь не гарантирует либеральную политику: напротив, и экономика и политика вытекают из того автономного состояния умов, которое их обуславливает и делает возможным. Но то состояние умов, которое способствует росту либерализма, сегодня, по всей видимости, утверждается в мире именно таким образом, какого и следует ожидать в конце истории, если этот конец обозначается и гарантируется богатством современной свободной рыночной экономики. Иными словами, если понимать конец истории как установление либеральной демократии в сфере политической и достижение изобилия товаров в сфере экономической.

Но действительно ли это "конец истории"? — спрашивает Фукуяма. Быть может, существуют такие фундаментальные "противоречия" человеческой жизни, которые не могут быть решены на пути либерализма и требуют каких-то иных политико-экономических структур? Следуя Гегелю, ответ нужно искать в сфере идеологии и сознания; но и тогда речь идет не о том, может ли либерализм удовлетворить любые, самые экстравагантные претензии любого самозваного "мессии" или "бунтаря", а лишь о тех претензиях, которые воплощены в действительно

серьезных и массовых движениях. В нынешнем веке таких серьезных вызовов либерализму было всего два — фашизм и коммунизм. Фашизм считал политическую слабость, прагматизм и индивидуализм Запада результатом принципиальных недостатков либерализма и ратовал за сильное государство, способное создать "новый" народ на основе национальной исключительности. В ходе второй мировой войны эта идеология потерпела крах, и притом не только на материальном, но и на идейном уровне как жизнеспособная идея. Основной причиной этого краха было не столько "отвращение" к фашизму, сколько его неспособность достичь реального успеха. Он продемонстрировал свою внутреннюю обреченность. Конечно, неофашистские движения еще могут время от времени появляться, но сама идея экспансионистского национализма с его бесконечными конфликтами, ведущими, в конечном счете, к сокрушительному поражению, вряд ли уже может увлечь массы. Эта идея утратила способность вновь укорениться в их сознании.

Вызов, брошенный коммунизмом, — считает Фукуяма, — был куда более серьезен. По Марксу, главная слабость либерализма состояла в его неспособности разрешить противоречие между трудом и капиталом. Однако с тех пор это противоречие было на Западе успешно разрешено, и по существу именно современная эгалитарная Америка более всех других стран реализовала тот идеал бесклассового общества, о котором мечтал Маркс. Разумеется, и здесь еще сохраняется пропасть между бедными и богатыми, но она не коренится в юридической или социальной структуре общества: к примеру, нищета черного населения — это не врожденное следствие либерализма, а прямое "наследие рабства и расизма", то есть *идей*, сохранившихся и после формальной отмены рабства. В результате привлекательность коммунистических идей на Западе резко упала. Но еще интереснее, что она упала и в азиатских странах, которые традиционно, в силу восприимчивости своих культур, были склонны к усвоению любых западных идеологий. Эти страны, вслед за Японией, встали на путь экономического либерализма (хотя и преобразованного, в соответствии с их специфической культурой, почти до неузнаваемости) и, что еще важнее в гегелевском смысле, — либерализма в политической сфере (хотя и развивающегося более медленно, чем в сфере экономической). Даже доселе изолированная "социалистическая" Бирма была вынуждена стать на путь либерализации своей экономиче-

ской и политической системы; говорят, что начало этому повороту положил некий высокопоставленный бирманский чин, отправившийся лечиться в Сингапур и потрясенный теми достижениями, которые он там увидел...

Конечно, существует еще коммунистический Китай; но и здесь в последние 15 лет марксизм-ленинизм полностью дискредитировал себя как жизнеспособная экономическая система. Он еще сохраняется как идеология, и Китай еще далек от горбачевской "гласности"; но прагматизм берет верх, и нынешние зигзаги китайского руководства следует толковать, скорее всего, как неизбежные тактические повороты в ходе исключительно сложной политической трансформации. Предпочтя начать с экономических, а не политических реформ, это руководство сумело избежать той утраты авторитета, которая сопровождала горбачевскую "перестройку". Тем не менее влияние либеральных идей растет и в Китае, и сегодня маоизм уже не может претендовать на роль идеологии для всего азиатского мира.

Однако последний гвоздь в гроб марксизма-ленинизма как альтернативы либерализму забил, конечно, Горбачев. Можно сколько угодно говорить о неэффективности его экономических реформ и непоследовательности его политических шагов, но если мыслить в дальней перспективе, то важнее не эти сиюминутные события, а новое состояние умов, возобладавшее сегодня в советском обществе. Истекшие пять лет были временем революционного низвержения всех самых фундаментальных принципов и институтов сталинизма, и если искать хоть что-то общее во всем разнообразии того, что пришло им на смену, то этим "общим знаменателем" будет — идея либерализма. Горбачев может сколько угодно клясться в своем стремлении "вернуться" к "чистому ленинизму" — это чисто тактический ход, вызванный необходимостью указать хоть какую-то точку советской истории, которая оправдывала бы продолжающееся господство коммунистической партии.

Разумеется, советское общество — далеко еще не демократическое и не либеральное общество; и даже осуществление "перестройки" вряд ли сделает его либеральным в ближайшем будущем. Но конец истории вовсе не означает, что все страны должны немедленно стать преуспевающими либеральными демократиями; он означает всего лишь, что они больше не претендуют, будто их идеологии являются иными и более высокими формами человеческого общества. И в этом смысле то, что

уже произошло в советском обществе, как раз и представляет собой такой отказ от претензий на превосходство марксизма над либерализмом. Консервативные группы, состоящие из рабочих, страшащихся безработицы и инфляции, и партаппаратчиков, страшащихся утраты постов, могут еще свалить Горбачева; но и эти группы жаждут всего лишь возврата к традиции, порядку и авторитету, а не к марксизму-ленинизму (о недостатках этой идеологии говорил даже такой "столп" советского консерватизма, как Лигачев). Но такой возврат возможен лишь на основе какой-то совершенно новой и жизнеспособной идеологии, которая пока еще даже не появилась на горизонте.

Что же еще может стать альтернативой либерализму, — спрашивает Фукуяма, — если фашизм и коммунизм потерпели поражение? Он усматривает две самоочевидные возможности: религия и национализм.

Рост религиозного фундаментализма в христианстве, мусульманстве и иудаизме сегодня вполне заметен. В определенном смысле это отражает неудовлетворенность безликостью и духовным вакуумом либерального потребительского общества. Действительно, либерализм в этом смысле пуст в своей сердцевине, и это отмечали многие, начиная с Жан-Жака Руссо. Но эта пустота не может быть устранена чисто политическими способами: либерализм сам был историческим следствием неудовлетворенности людей традиционным религиозным обществом, которое не могло обеспечить им даже минимальный мир и устойчивый достаток. К тому же в современном мире один лишь ислам предлагает теократию как политическую альтернативу либерализму и коммунизму, но ислам привлекателен только для мусульман и вряд ли станет универсальной религией; все же прочие религиозные движения современности одно за другим находят удовлетворение в чисто личной сфере человеческой жизни, поскольку она максимально свободна именно в либеральном обществе.

Другой альтернативой кажется национализм и прочие формы расовых и этнических идей. Большинство конфликтов после битвы под Иеной имели причиной именно националистические мотивы; эти же мотивы лежали в основе двух мировых войн и до сих пор во многом сохраняют свою силу, по крайней мере — в Третьем мире. Но следует иметь в виду, что национализм становится формальной идеологией того же порядка, что и коммунизм или либерализм, только в редких крайних случаях

— вроде немецкого национал-социализма. В подавляющем же большинстве других этнических и национальных движений вся их политическая программа обычно сводится к освобождению от власти другой группы или народа, но не содержит никаких альтернативных социально-экономических проектов. И возникают эти национальные конфликты не из-за врожденного несовершенства либерализма как идеи, а чаще всего потому, что либерализм — в данном месте земного шара — оказывается недостаточно либеральным на практике. Значительная часть национальных и этнических конфликтов современности вызвана попросту тем, что определенные группы вынуждены подчиняться непредставительным режимам, которые им навязаны в условиях несвободы выбора.

Разумеется, нельзя исключить возможности внезапного появления новых идеологий или еще непредвиденных противоречий в либеральных обществах; но пока что существующее состояние современного мира лишь подтверждает мысль о том, что ничего лучше либеральных принципов социально-экономической организации никто еще не придумал. С 1806 года прошло много войн и революций, развязанных во имя идеологий, претендовавших на превосходство над либерализмом, но все эти претензии были последовательно дезавуированы историей. Одновременно, сами того не желая, эти события способствовали распространению идеи универсального однородного государства в таких масштабах, что она стала уже оказывать существенное влияние на глобальный характер международных отношений.

Каковы же последствия конца истории для этих отношений? Разумеется, большинство стран Третьего мира надолго еще останутся в истории и будут ареной затяжных конфликтов. Россия и Китай в обозримом будущем вряд ли станут либеральными обществами в западном смысле слова. Но уже одно устранение марксизма-ленинизма как движущей силы международных отношений может привести к их радикальному изменению — эти отношения станут деидеологизированы.

Что же изменится? Многие считают, что практически ничего. По их мнению, идеология — только надстройка над более глубокими национальными интересами держав, которые из века в век вели к их конфликтам и конкуренции; а экспансионизм и агрессия — вообще универсальные черты человеческого общества, а не продукт тех или иных исторических или идеологических условий. В качестве доказательства этого тезиса его

глашатаи обычно приводят конфликты между европейскими державами XIX века; на этом основании они утверждают, например, что Советский Союз, даже избавившийся от марксизма-ленинизма, попросту вернется к традиционной имперской политике царской России с ее экспансионизмом и агрессией — и так далее и тому подобное.

Тезис об идеологии как надстройке над устойчивыми великодержавными интересами глубоко подозрителен. Ведь само понимание державами этих своих интересов всегда вырастало из предварительно возобладавшего в обществе состояния умов. Советская Россия и фашистская Германия стали на путь экспансии не до, а после того, как приняли соответствующие идеологии, оправдывавшие и проповедывавшие такую экспансию. И не менее идеологическими были мотивы пресловутого "европейского экспансионизма" XIX века — просто сами эти идеологии были менее явно выражены, чем в XX-ом. Прежде всего, "либеральные" европейские страны были тогда не вполне либеральны, ибо верили в легитимность империалистических захватов — будь то во имя распространения христианства и приобщения "варваров" к европейской культуре, будь то во имя "бремени белого человека". Однако после второй мировой войны европейский национализм решительно пошел на убыль, и международная жизнь тех стран, что пришли к "концу истории", была куда больше заполнена проблемами экономики, чем политики или стратегии. Разумеется, они сохраняли оборонные бюджеты, но лишь в силу угрозы со стороны других стран с откровенно экспансионистской идеологией. Невозможно представить себе, что в случае исчезновения такой угрозы, западные страны начнут вдруг снова вооружаться друг против друга, как это было в XIX веке; куда вероятнее предположить, что начнется поворот к "общерыночности" международной политики в масштабах всего мира. Точно так же сомнительно, что Советский Союз, отказавшийся от марксизма-ленинизма, вернется к политике царской России, которая была прервана Октябрьской революцией. Это означало бы, что за все эти десятилетия эволюция общественного сознания в России стояла на месте. Пример Китая показывает, что даже коммунистическая страна, если она встала на путь экономического прагматизма, начинает отказываться от экспансионизма в международной политике: хотя китайское руководство и продолжает вмешиваться в дела Индокитая, но в целом его политика сегодня напомина-

ет скорее голлистскую Францию, чем гитлеровскую Германию.

Существенно, однако, в какой степени постисторическая идея универсального однородного государства будет воспринята советским руководством. "Новое мышление" Горбачева-Шеварнадзе как будто указывает на возможность отказа СССР от идеологического состязания на международной арене. Либеральная советская интеллигенция, сплотившаяся вокруг Горбачева, явно пошла в этом отношении еще дальше. Но нельзя сбрасывать со счетов, что постисторическое мышление — всего лишь одна из возможных альтернатив, стоящих сегодня перед советским обществом. В СССР всегда был силен русский великодержавный шовинизм, еще более усилившийся теперь благодаря "гласности". Конечно, возможен также и возврат к традиционному марксизму-ленинизму, как к той единой платформе, вокруг которой могут собраться все, кто стремится к восстановлению авторитета власти; но, как и в Польше, марксизм-ленинизм утратил в СССР свою прежнюю мобилизующую силу: он не может заставить людей лучше работать и внушить им уверенность в себе. Напротив, ультранационалисты в СССР страстно преданы своим идеям, и поэтому возможность фашистской альтернативы в этой стране нельзя абсолютно исключить.

Таким образом, Советский Союз, — прогнозирует Фукуяма, — стоит на распутье: он может пойти по пути, на который вступили Западная Европа, а затем Азия, а может попытаться сделать ставку на свою уникальность и остаться в истории. Учитывая масштабы и военную силу этой страны, ее выбор чрезвычайно важен для всего остального мира, поскольку он будет задерживать осознание нами того факта, что мы уже находимся "по ту сторону истории".

Исчезновение марксизма-ленинизма в Китае и в СССР будет означать его смерть как жизнеспособной идеологии всемирного значения. Даже если у него сохранятся отдельные поклонники где-нибудь в Манагуа, Пхеньяне или Гарварде, тот факт, что марксизм уже не является идеологией значительных государств, полностью подорвет его претензии на роль авангарда человеческой истории. А это, в свою очередь, приведет к установке на "общерыночность" международных отношений в масштабе всего мира и, как следствие, к исчезновению конфликтов между большими государствами.

Это, однако, не означает полного исчезновения военно-по-

литических конфликтов вообще. Вполне возможны еще конфликты между странами, которые будут продолжать жить в истории, а также между ними и постисторическими государствами. Даже и в эту эпоху в отдельных уголках постисторического мира наверняка сохранится высокий и, возможно, даже растущий уровень этнического и националистического насилия. Палестинцы и курды, сикхи и тамилы, ирландские католики и бельгийские валлоны, армяне и азербайджанцы будут по-прежнему пытаться реализовать свои претензии. Терроризм и войны за национальное освобождение будут продолжаться и останутся важным элементом международной повестки дня. Но любые конфликты большого масштаба требуют участия больших государств, а эти государства, судя по всему, уходят с "исторической" сцены.

"Конец истории, — заканчивает Фукуяма, — будет унылым периодом. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью во имя абстрактных идей, международное соперничество, вызывающее к жизни дерзость, мужество, воображение и идеализм, — все это будет вытеснено скучными экономическими подсчетами, решением технологических проблем, заботами экологического характера и удовлетворением все более изощренных требований потребителя. Постисторический период не будет знать ни искусства, ни философии... Я ощущаю в себе самом и в других огромную тоску по тем временам, когда история еще существовала... И даже сознавая всю неизбежность этого (конца истории), я испытываю весьма амбивалентные чувства по отношению к той Европе, Америке и Азии, какими они стали после 1945 года. И быть может, сама эта перспектива пустых и скучных постисторических столетий окажется тем фактором, который понудит историю когда-нибудь начаться вновь".

ВОКРУГ ФУКУЯМЫ

(Би-Би-Си, Лондон)

На протяжении всей человеческой истории время от времени возникали предсказания о близком ее конце. Особенно регулярно такие пророчества звучали в средние века. В XX веке также неоднократно выдвигались идеологические построения, на которых лежала печать эсхатологически-утопических представлений о "конце истории", будь то концепция "тысячелет-

него Райха" или грядущего бесклассового общества. Последней эсхатологической бурей, пронесшейся над интеллектуальным ландшафтом Европы и Америки, стала статья американского политолога японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории". Статья эта, опубликованная летом прошлого года в консервативном американском журнале "Нейшнл интерест", вызвала огромный резонанс и стала подлинной сенсацией. В спор с Фукуямой вступили философы и историки как левого, так и правого толка. Статья была переведена практически на все европейские языки, включая русский. Что же породило такой поистине всемирный отклик на весьма, казалось бы, академическую статью, в которой трактуются проблемы, далекие от повседневной жизни, да еще в свете гегелевской философии? И что такое сама статья Фукуямы — редкая в наше время интеллектуальная провокация или серьезное научное исследование? Мы решили обсудить проблемы, затронутые в статье Фукуямы, за заочным "круглым столом", пригласив в студию известных философов, историков, социологов и самого автора. Представляю читателю участников нашего заочного "круглого стола": Фрэнсис Фукуяма, Вашингтон, автор статьи "Конец истории"; доктор исторических наук Леонид Баткин, Москва; историк и социолог профессор Александр Янов, Нью-Йорк; историк, культуролог и эссеист Григорий Померанц, Москва; философ, профессор Александр Пятигорский, Лондон; социолог, писатель и публицист Александр Донде, Лондон.

Прежде чем обсудить основные тезисы статьи Фрэнсиса Фукуямы, мне показалось интересным выяснить философскую подоплеку исторической эсхатологии ее автора, причины, по которым он обратился к Гегелю, — философу, казалось бы, прочно забытому современной западной философией и историографией, а для многих людей — и скомпрометированному марксизмом: ведь Маркс во многом усвоил и переработал гегелевскую диалектику и философию истории. Поэтому первое, о чем я спросил Фрэнсиса Фукуяму: почему он остановил свой выбор именно на гегелевской концепции истории? Ведь существуют и другие концепции исторического развития, претендующие на истинность.

Фукуяма: Как я пытался показать в своей статье, существует несколько концепций истории. Но мы должны серьезно относиться именно к гегелевской концепции по той простой причине, что, на мой взгляд, в ней много истинных моментов. Мне кажется,

что понимание сути исторического процесса было в большой степени затруднено и искажено ее марксистской интерпретацией, сделавшей основной акцент на развитии производительных сил, материальной стороны жизни в человеческой истории. У Гегеля же понимание истории было совсем другое. По его мнению, определяющим историю фактором являются прежде всего идеи и идеальные представления, то есть то, как люди **осмысляют** исторические ситуации. На мой взгляд, нам необходимо восстановить утраченный баланс и осознать роль идей и идеологий в происходящих в мире переменах. В своей статье я попытался поставить вопрос о необходимости переоценки материалистического понимания истории, о необходимости понять, что главной причиной всех важных исторических перемен является состояние человеческого сознания. Гегель утверждал, что "истинное" человеческое сознание исторически относительно и что человечество в своем развитии проходит серию периодов, в каждом из которых ему открывается лишь часть истины, часть понимания целого. В эволюции нашего коллективного сознания эта серия отражается как череда последовательно сменяющихся и наследующих друг другу "неистинных" идеологий. Конечным итогом этого процесса является выработка человечеством такой философской системы, которая знаменует собой "конец истории", ибо на этом этапе человеческий разум обретает характер самоосознания, что кладет конец его дальнейшему развитию. Ведь абсолютная истина достигнута.

Ведущий: Но насколько правомерна, насколько корректна сама постановка вопроса о конце исторического процесса? Ведь история происходящих на Земле событий — это история, прежде всего, самого человечества. Можно ли лишить продолжающее существовать человечество его истории? Не логичнее ли было бы предположить, что история — это имманентное свойство нашего земного бытия, исчезающее лишь с исчезновением самого человеческого рода? Насколько прав Фрэнсис Фукуяма, провозглашающий вслед за Гегелем, возможность "конца истории"? Леонид Баткин?

Баткин: Говорить о конце истории человеку, который переступил порог своего дома и сделал несколько шагов по дороге, уходящей вдаль, достаточно бессмысленно и слишком противоречит той самой идее нового общества, которая, по Фукуяме, уже восторжествовала в мире. Если в мире действительно возобладало движение западного исторического типа, это оз-

начает лишь конец некоторой суммы прежних традиционалистских состояний. Может быть — может быть! — история имеет начало и продолжение, но конца она не имеет.

Ведущий: О возможности окончания человеческой истории рассуждает Александр Пятигорский.

Пятигорский: Говорить о конце истории может только человек, который мыслит в терминах истории, который не выходит из структуры сознания, именуемой "историей". И я хочу напомнить, что сама эта структура сознания, именуемая "историей", — тоже исторична: было время, когда ее не было, и, если Фукуяма прав, будет время, когда ее не будет. Но это не значит, что история как объект сознания кончится. То, как Фукуяма осознает сегодняшнюю ситуацию, вырастает из осознанного опыта вчерашнего дня. Поэтому сомнительно: можно ли предсказать завтрашнее развитие реальной социальной, экономической, политической жизни, если завтра все это будет вырастать из другого сознания?

Ведущий: Правомерно ли обосновывать конец истории неизбежностью окончания эпохи идеологической борьбы и затуханием политических страстей, как это делает Фукуяма? Александр Донде?

Донде: У меня вызывает большие возражения сам термин "конец истории". Он звучит очень претенциозно и, на мой взгляд, не столько научно, сколько поэтически. Между тем именно этот тезис о конце истории и привлек такое большое внимание к статье Фукуямы. Я совсем не уверен в том, что политические страсти в мире уже прекратились. Ведь хотя политические страсти идут как бы по поводу идей, по поводу философских и политических доктрин, но на самом-то деле — и тут я все-таки склоняюсь к материалистической или, если хотите, марксистской точке зрения — в основе политической борьбы лежит борьба интересов. А я не вижу оснований предполагать, что борьба интересов в мире прекратилась. Продолжают существовать геополитические интересы, продолжает существовать борьба за лидерство между разными районами земного шара, между разными странами, продолжает существовать и борьба между разными социальными группами. Может быть, эти социальные группы — не классы в том смысле, в каком употреблял это слово, допустим, Маркс, но так или иначе это какие-то конгломераты людей, какие-то группировки людей, объединенных общими интересами.

Ведущий: В своей статье Фрэнсис Фукуяма рисует картину близящейся победы идей западной либеральной демократии. Впрочем, вот как он сам формулирует основное положение своей статьи.

Фукуяма: Я не создал никакой философии. Моя статья посвящена частной проблеме: справедлива ли теория Гегеля в своем противостоянии марксистскому пониманию истории? Гегель и Маркс представляют две полярных точки зрения на историю. Все, что я сказал, — это что Гегель оказался прав. Я утверждаю, что конец истории наступит в результате победы демократических режимов, основанных на принципах свободы и равенства, провозглашенных Французской и Американской революциями. Что же касается коммунистической утопии в ее марксистском варианте, то она не выдержала противостояния идеям демократического либерализма.

Ведущий: Насколько все же обосновано утверждение Фукуямы о наступающем триумфе Запада, идеи либеральной демократии и западной социально-экономической модели? Леонид Баткин?

Баткин: В течение всех лет, прошедших после Гегеля, и вплоть до наших дней в мире происходит то, что я назвал бы "обвалом" старых структур, "обвалом" традиционалистских обществ. Происходит смещение технологических, да и не только технологических достижений современной цивилизации, то есть плодов того, что дала либеральная демократия, с национальными мифами, с войной, с расизмом. Происходит и откат к ритуалам и организациям архаического типа. Вот лишь один пример такого "обвала" старых миров, окликнутых современными цивилизациями: продиктованное шариатом отрубание рук за воровство в стране, где есть сверхсовременные нефтяные установки, последние модели автомашин и ультрамодерная архитектура... Нет, при всей моей убежденности в силе западной цивилизации, в ее стабильности, в ее способности к саморазвитию, я не стал бы раздавать сертификаты о ее победе и о конце истории даже и в этом смысле, Я, историк, знаю, что без неизвестности, без непредсказуемости и без — подчас смертельного — риска вообще нет истории.

Ведущий: Но решает ли победа либеральной демократии все существующие в мире проблемы? Можно ли считать ее идеальной формой политического устройства, панацеей от всего существующего в мире зла? Григорий Померанц?

Померанц: Представление о том, что совершенное политиче-

ское устройство снимает все проблемы человека и человечества, чрезвычайно наивно. Что дает хорошая конституция в Ливане? Может ли либеральная демократия остановить экологический кризис, взрывной рост населения, Эйдс наконец? Или общий рост обиды, раздражения, ненависти? Черчилль очень хорошо говорил, что парламентский режим — худший, если не считать всех других. Это правильно — остальные еще хуже. Либеральная демократия — не царствие небесное. Она вовсе не снимает всех проблем истории. Однако крупица истины в рассуждениях Фукуямы все же, по-моему, есть. По-видимому, либеральная демократия станет таким же господствующим типом политического устройства в ближайшие века, каким была, допустим, монархия на протяжении последних двух-трех тысяч прошлых лет (не считая отдельных "республиканских" эпизодов). Но из этого вовсе не следует то, что Фукуяма отсюда выводит. И в частности, из этого никак не следует, что прекратится развитие философии, религии и так далее, — потому что эти явления коренятся вовсе не в политических проблемах, а в гораздо более глубоких слоях человеческого сознания и бытия.

Ведущий: По Фукуяме, победа либеральной демократии во всем мире обусловлена, прежде всего, идейным крахом марксизма как идеологии. Можно согласиться с автором статьи "Конец истории", что политические и экономические изменения в Советском Союзе и других социалистических странах вызваны именно этим. Но так ли уж необратимы эти изменения? Что думает сам Фукуяма по этому поводу?

Фукуяма: Следует различать события в плане идеальном и реальном. В плане реальном, в реальном мире, все события обратимы. События на площади Тянь-ань-мынь, произошедшие уже после написания моей статьи, показывают, что консервативные силы в китайском руководстве разгромили демократическое движение. Было бы глупо недооценивать эти силы и в Советском Союзе. Было бы глупо утверждать, что ничто подобное не может произойти в странах Восточной Европы. Гегелевское понимание исторического процесса вовсе не предполагает механистического, линейного развития. У истории бывают и зигзаги, и возвратные движения. Труднее и интереснее получить ответ на вопрос, возможна ли реставрация идеологии. Причем не с помощью силы, что пытаются проделать в Китае, а естественным путем. В крупнейших социалистических странах марк-

сизм-ленинизм никогда не реставрировался естественным образом, то есть свободно конкурируя с другими идеологиями. Там, еще со времен старой большевистской гвардии, идеология была разновидностью веры или страсти. Это же справедливо и в отношении многих советских людей сталинского или хрущевского периода. Поэтому я сомневаюсь, что реставрация марксизма возможна. Общество в целом преодолело его, как преодолевают некий исторический и идейный водораздел.

Ведущий: Тем не менее в спорах с Фукуямой многие его оппоненты не соглашались с поставленным в его статье диагнозом идеологического состояния Советского Союза и считают, что реставрация марксистской идеологии в этой стране все еще возможна. Александр Янов оспаривает эти прогнозы западных советологов.

Янов: Традиционная, рутинная советология до сих пор не поняла, что перестройка, что бы с ней ни случилось в дальнейшем и что бы о ней ни говорили сейчас, — это идеологическая революция. Это подлинная идеологическая революция в том смысле, что она полностью подорвала основы старого режима. Если его и можно снова реставрировать, то только с помощью brutальной силы, не имеющей ничего общего с марксизмом-ленинизмом, с его идеологическим фундаментом. Честно говоря, не надо быть Гегелем, чтобы это понять. Ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии, ни в России старый режим никогда не удавалось реставрировать, если его идеологический фундамент был окончательно подорван. Это не значит, что реакция не может вернуться в еще более страшных формах. Но ее идеологический фасад будет тогда совсем другим. Если перестройка все-таки потерпит поражение, то единственным идеологическим оружием ее противников может оказаться нечто весьма далекое от марксизма — например, та самая "русская идея", о которой ничего не знает Фукуяма.

Ведущий: Григорий Померанц полагает, что Фукуяма недооценивает возможности марксизма, хотя в Советском Союзе — и здесь он солидаризуется с Яновым — марксизм может уступить и даже уже уступает свое место учениям более вульгарным, а возможно — и просто массовым идеологическим мифам.

Померанц: У нас в стране марксизм уступает место еще более слабым учениям, все преимущество которых в том, что они дают возможность сбросить вину за прошлые преступления и

ошибки на кого-нибудь другого. Такую возможность дают людям, прежде всего, теории, подчеркивающие роль этнического, субэтнического и других элементов. Для того чтобы сбросить бремя вины на другого, на "чужака", сейчас очень активно используется, во-первых, теория этносов (которая, вообще говоря, имеет серьезные научные достоинства, но в потенции может быть истолкована чисто монопараметрически, превращаясь в идеологию ненависти к чужеродным этносам), а во-вторых, выдвинутая Шафаревичем и уже совершенно вздорная концепция так называемого "малого народа", который — не иначе как вдохновленный дьяволом — только и стремится вредить другим народам. И вот эта жалкая "теория", несмотря на свою крайнюю поверхностность и очевидную злонаправленность, тоже имеет у нас много сторонников — и лишь потому, что существует тяжкое бремя греха, тяжкое бремя сознания огромных, непростительных преступлений, совершенных за десятки последних лет. Средний, массовый человек не выносит этого бремени греха и преступлений и стремится переложить его на кого-то другого. Такое конструирование желаемого оказывается сильнее любых рациональных аргументов. И только меньшинство способно противостоять этому поветрию.

Ведущий: Насколько все же марксизм как идеология "конкурентоспособен" на нынешнем идеологическом рынке? И приведет ли поражение марксизма к окончанию борьбы за человеческую свободу, за эмансипацию человеческой личности? Александр Донде?

Донде: Видимо, нужно все-таки признать, что марксизм с самого начала был мало перспективным историческим явлением. Это был скорее эпизодический всплеск, очень ограниченный в исторических масштабах. Дело в том, что марксизм был слишком тесно привязан к определенной политической эпохе и к определенной экономической ситуации. Что же касается идеи либерализма как общей идеи эмансипации человеческой личности, то она с самого начала представлялась гораздо более долгосрочной и, как выясняется сейчас, таковой и оказалась. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Если вдуматься, то ведь марксистские идеи представляют собой не только альтернативу либерализму. По существу, они одновременно являются и его своеобразным диалектическим развитием. Но это такое диалектическое развитие, такое "ответвление", которое по своим масштабам не соразмерно с "главным стволом": оно

слишком сужает содержание той самой либеральной идеи, из которой вырастает. С либерализмом у марксизма есть то общее, что марксизм тоже говорит об освобождении и эмансипации личности, причем говорит не лицемерно, а совершенно всерьез. Почему же в таком случае марксистская версия оказалась, как представляется сегодня, тупиковой, а "генеральная" либеральная версия остается магистральной для истории? Видимо, дело в том, что марксизм, правильно обозначив существование классово обусловленных интересов, классово обусловленных идеологий, пошел по этому пути слишком далеко. Он провозгласил, будто интересы какого-то одного общественного класса тождественны интересам всего общества или даже человечества в целом. В этом смысле общая либеральная идея, восходящая к Американской или к самому началу Французской революции, была, разумеется, куда более перспективной и долгосрочной, потому что она ставила задачу эмансипации человеческой личности вообще, вне зависимости от ее "классовой принадлежности", и говорила об интересах общества в целом, а не только отдельных его классов. Но уже тот факт, что на общем либеральном "стволе" могла вырасти такая "марксистская ветвь", показывает, что сам идеал либерализма в своей основе глубоко парадоксален и противоречив. Тот факт, что из общелиберальной концепции эмансипации человеческой личности могла вырасти марксистская версия "классовой свободы", показывает нам, что эта общелиберальная идея может разветвляться весьма противоречиво, что она может развиваться в самых разных направлениях. Вот и сегодня внутри либерализма уже намечаются какие-то потенциально разные ветви, и спор между ними, мне кажется, может идти еще очень долго.

Ведущий: Фрэнсис Фукуяма в своей статье делит человеческую историю на "исторический" и "постисторический" периоды, утверждая, что в постисторическую эпоху, которая наступит, по его мнению, с победой либеральной демократии в мире, духовное и идейное развитие человечества остановится — оно как бы, говоря словами Гегеля, обретет "абсолютную истину". По мнению Фукуямы прекращение идеологической борьбы в мире грозит человечеству эпохой скуки, ибо прекратится возникновение новых импульсов, способствующих развитию философии и искусства. Именно это положение статьи Фукуямы стало объектом саркастических насмешек в широкой прессе. Бесспорно, это одно из самых слабых и уязвимых мест статьи, напомина-

ющее вывернутый наизнанку, популярный во все времена миф о "золотом веке" человечества. Если древние греки помещали его в начале истории, то Фукуяма, придав ему вид "беспроблемного" и "безбедного" существования, отводит ему место в ее конце, в предрекаемом им постисторическом бытии. Но так ли уж беспросветно будущее человечества? Не возникнут ли в новой, постисторической ситуации, — если она, конечно, наступит — новые, еще невиданные формы интеллектуальной и духовной активности? Не возникнут ли в эту эпоху абсолютно новые идеи и идеологии? Фрэнсис Фукуяма?

Фукуяма: Конечно, появление новых идей и идеологий возможно. Вопрос в том, насколько они истинны, насколько соответствуют реальности. Гегель полагал, что в его философии человеческая мысль достигнет абсолюта и тем самым исчерпает себя. С его точки зрения после этого невозможно возникновение какой-либо новой философии, которая была бы одновременно еще и истинной. Возможно появление философии, повторяющей старые идеи; возможно появление новой философии, но невозможно совместить новизну и истинность. В 1806 году Гегель не мог предвидеть появления коммунизма и фашизма. Согласно его системе, эти идеологические построения неизбежно должны оказаться "неистинными". Мы, в 1989 году, не можем исключить появления новых идеологических или религиозных концепций, бросающих вызов системе либеральной демократии. Но появятся они или не появятся — это ни в коей мере не может решить философскую проблему их большей истинности и большего соответствия реальности по сравнению с демократическим либерализмом.

Ведущий: Насколько все же научно обоснованы и непротиворечивы выводы Фрэнсиса Фукуямы о неизбежности наступления постисторической эпохи человеческого существования? Леонид Баткин?

Баткин: Западное общество — это не общество потребления или конкуренции. Это все важные, но частные и, может быть, преходящие его характеристики. Это, прежде всего, общество, которое, в отличие от традиционалистских обществ, способно не только меняться — менялись и они, — но меняться, отрицая себя в своих основаниях, меняя свои глубочайшие основания. Но когда мы ограничиваем рассмотрение западного общества только обсуждением характера его экономики, повседневной жизни людей, их социальных связей и политического

устройства, мы игнорируем такой важнейший фактор, как механизм культуры. На самом же деле только культура — именно в ее западном смысле — способна на такие изменения. Только она способна сомневаться в себе, смотреть на себя со стороны, подвергать себя критике и отрицанию, формировать себя каждый раз заново, менять свои основания. Так, если уже радоваться битве при Иене и тому, что из нее воспоследовало, то надо учитывать, что же именно из нее воспоследовало. А воспоследовало не только и не столько распространение западной социально-экономической модели, сколько становление западного типа культуры с ее способностью к бесконечному саморазвитию. А потому эта битва означала, на самом деле, не конец истории, а ее невероятное усложнение, ее открытость, ее непрерывное самоотрицание, самопересмотр и, стало быть, в каком-то смысле, если уж пользоваться такими терминами, — "начало истории".

Ведущий: Справедливости ради следует отметить, что сам Фукуяма с ностальгией говорит об уходе в прошлое идеологических и идейных битв. В его статье не чувствуется особого восторга по поводу постисторической эпохи. Комментирует Александр Пятигорский.

Пятигорский: Фукуяма в конце своей статьи говорит, что, может, мы еще об этом пожалеем — имея в виду историю, то есть войны, идеологические конфликты, воинскую доблесть, бескорыстие идеалистов, привлекательность идей. И может, нам станет скучно, когда история в этом смысле кончится. Может быть, завтра, когда это случится, мы об этом пожалеем. Вот я хочу как бы начать мою, очень скромную, критику Фукуямы именно с этого. Все так — но ведь завтра-то нас не будет. Будут другие люди. Нет гарантии, что они будут следовать схеме Фукуямы. Может, эти люди не будут знать и переживать тот историзм, которым пропитан сам Фукуяма и который он так остро переживает. Это будут совсем другие люди, перед которыми будут совсем другие проблемы.

Ведущий: Пожалуй, никто из оппонентов Фукуямы не обратил внимания на один из аспектов его исторической концепции: историю человечества он сводит лишь к европейской истории. Никто не обвинил автора статьи "Конец истории" в европоцентризме. А между тем за пределами рассмотрения Фукуямы оказались тысячелетия исторического развития неевропейских цивилизаций. Григорий Померанц усматривает в этом существ-

венные просчеты историософии американского политолога.

Померанц: Взять хотя бы пример Китая. Там социально-политический строй не менялся на протяжении почти двух тысяч лет: как установился в период Зань, таким, примерно, и оставался все последующее время. Этот порядок иногда искажался коррупцией, приходил в расстройство, но затем восстанавливался на тех же прежних основаниях. Существенных социально-экономических сдвигов там не происходило. Это тоже можно было бы назвать своеобразным "концом истории" в фукуямовском смысле. И тем не менее как раз в той области, которую Фукуяма считает подверженной остановке, если прекратятся политические бури, то есть в области культуры, философии, религии, в Китае в это "внеисторическое" время происходили чрезвычайно глубокие исторические изменения: распространился буддизм, произошло его переплетение с дорсизмом, на основе которого возник совершенно оригинальный буддизм Чань (который известен больше под искаженным названием дзен-буддизма), затем это распространение мистицизма вызвало контр-наступление конфуцианского рационализма, которое иногда называют восточным Возрождением, возникла блистательная циньская живопись, появилась изумительная поэзия. Духовная культура Китая вовсе не потеряла импульсов к развитию — несмотря на то что социально-политический порядок оставался примерно одинаков на протяжении двух тысяч лет.

Ведущий: Если философские и исторические просчеты статьи Фрэнсиса Фукуямы столь уж очевидны, то чем тогда объясняется огромный взрыв интереса к ней во всем мире? В чем тайна ее популярности и притягательности? Григорий Померанц продолжает.

Померанц: Я думаю, что это — один из примеров того, что я называю монопараметрическими теориями, то есть теориями, в которых все богатство истории сводится к одному параметру. Можно даже вынести за скобки вопрос, существенные или несущественные параметры лежат за пределами такой теории, но этот общий признак — ограниченность рассмотрения всего одним параметром — чрезвычайно важен. Ибо теории более сложные — например, теория Макса Вебера — не вызывают такого массового отклика. Они "проскакивают" сквозь массовое сознание, не затрагивая его, потому что их трудно усвоить, что называется, "на лету". Отклик вызывают, материальной силой, как говорил Маркс, становятся как раз такие мо-

нопараметрические, упрощенные, доступные массовому пониманию теории. Такие теории выдергивают из огромного, многоцветного, безграничного ковра истории одну-единственную ниточку и предлагают нам поверить, что это и есть "ариаднина нить". И мы на это "клюем", потому что нам неуютно лицом к лицу с неизвестным и бесконечным. Иными словами, эти монопараметрические теории удовлетворяют нашему скрытому желанию получить некую замену мифа, просто и понятно объясняющую "все сущее и происходящее". Миф ведь тоже вносил "ясность" в сознание. И хотя Фукуяма, как это чувствуется, очень не любит марксизм, он, в сущности, с этой, основной для меня, точки зрения повторяет главный грех марксизма — сведение истории к одному параметру. Только для марксизма таким параметром было развитие производительных сил, а для Фукуямы — развитие политических учреждений.

Ведущий: Участники нашей дискуссии критически отнеслись к пророчеству Фукуямы о наступлении в обозримом будущем бесконечного периода скуки в жизни человечества. Подводя итог критике этого тезиса статьи "Конец истории", Александр Донде противопоставляет ей свой исторический прогноз.

Донде: Все идеологии каким-то образом "презентируются", каким-то образом излагаются и формулируются, и каждая такая презентация имеет свою логику. Эта логика может быть убедительной для одних и не убедительной для других, и каждый "выбирает" себе идеологию в немалой степени потому, что его привлекла ее логика, аргументация в ее пользу. В мире людей, сравнительно свободных от материальных тягот, этот фактор, я думаю, может играть очень важную и даже решающую роль. Если угодно, на чисто эстетическом уровне обсуждения (а когда речь идет о свободном выборе, то мы как раз и вступаем, по-моему, в сферу чисто эстетической мотивации, то есть выбора по эстетическим мотивам) мы можем прийти к очень привлекательному и парадоксальному выводу, что настоящая-то идейная борьба начнется как раз тогда, когда в мире не будет больше "бедных и голодных". Тут-то и начнется настоящее творчество, тут-то и начнутся разные "проектные" споры, то есть споры между разными проектами человеческого жизнеустройства. Так что, подводя итоги, я бы сказал, что если мы будем рассуждать именно таким образом, то, сохраняя стилистику и терминологию Фукуямы, имеет смысл, действительно говорить не о "конце", а о "начале" истории.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Анна Исакова (Гроссман)

ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫЕ

Quo vadis?

Все началось с того дня, в конце которого было обещано откровение.

День тянул себя в вечер с утра. День казался бесконечным.

Полудохлая от ожидания, я утешала себя видимостью прогресса. День прогрессирует в вечер, вечер поступательно восходит к откровению.

Откровения не получилось. И тогда меня осенило. Прогресс к желаемому есть фикция. Кто сказал, что рептилия желанней инфузории? Кто сказал, что она лучше, совершенней, нужнее? Кто вообще предполагал, что такое рептилия, которой еще не было? Нужно ли было, рационально ли было природе создавать змею?

Неизвестно. А поэтому: была ли эволюция инфузории прогрессом? Может, наоборот — регрессом, ложным ходом, тупиком? Вот прогресс от цыпленка к курице — это понятно: раз курица — неизбежный результат эволюции цыпленка, то его рост есть прогресс — относительно заведомо известного результата.

И так далее, и тому подобное: чего не придумаешь в раздражении?

Откровения не получилось, но мысль, однажды забравшись в укромную извилину мозга, никак не хотела из нее уходить. Стала примащиваться к другим мыслям, из шутки полезла в полный серьез. "Прогресс, — продолжала она скрестись в одном из сусеков, — есть попросту способ восприятия человечеством своего продвижения по стреле времени. И даже не всем человечеством, а одним определенным его подвидом — тем, который называет себя "прогрессивным". Оно называет прогрессом продвижение из начальной известной точки в неведомую, но желаемую. Желаемую ему.

Возможности ограничены свойствами материи. Одно тонет, другое горит, третье летать не может. Какая-то часть человечества умеет жить в возможном и невозможном одновременно, телом в одном, духом в другом, и не пытается сделать сказку былью. Мы называем эту часть примитивным человечеством. Другая часть пытается раскрыть тайну возможности, заложенной в невозможном и подсказанной сказкой или метафизическим переложением — мифом. Эту часть мы называем прогрессивным человечеством..."

Теперь уже и я заинтересовалась. Итак, посылка первая: прогресс, как мы его понимаем, давно перестал быть поступательным движением к неизбежному и известному — он стал движением к невозможному, но желанному, возможность которого подсказана силой человеческой фантазии. Наука, нацеленная на осуществление невозможного, превратилась в магию. А место древнего мифа заняла научная фантастика. И кто знает, была бы

придумана подводная лодка, если бы не был придуман капитан Немо. Но и его "Наутилус" вряд ли спустился бы в морские глубины, не проводи некогда некий Иона длительную экскурсию по морю в чреве кита. Впрочем, Иона принадлежал, скорее, к пассивно-созерцательной части человечества, тогда как капитан Немо — к его активно-испытательной части.

Но при чем тут все-таки прогресс? Из чего следует, что некий современный Иона, бездумно глядящий в перископ и готовый по команде вышестоящего нажать на смертоносную кнопку, прогрессивнее того, древнего Ионы, брошенного в чрево китово именно за то, что отказался бездумно следовать указанию самого высокого рангом?

Полет шамана есть сублимация высших духовных сил во имя идеи. Полет мистера Икс есть практический акт во имя практической — и не всегда благородной — цели. Отсюда следует, будто сокращение расстояний и уплотнение времени есть прогресс по сравнению с оберегающей силой расстояния и свободным течением времени? Изнасилованные нами пространство и время грозят взрывом, потопом, концом ойкумены. Все это нам известно, и тем не менее мы и сегодня упорно продолжаем говорить о прогрессе. И прогрессировать в том же направлении.

Нынешние дороги куда опаснее дорог во времена короля Артура. Мы выходим на них незащищенными. Мы потеряли чувство опасности, свойственное дикому зверю и примитивному человеку, мы потеряли связь между нашими пятью чувствами и тем миром, в котором ими естественно всего направляться. Полагаемся на научно-магические придатки, позволяющие нам вести себя несвойственно нашей природе. Мы зависим от них, не умеем обходиться без, превратили себя в то, чем не являемся, не имея представления, к чему это может привести. Прогрессивное человечество с каждым днем все более отдаляется от человечества непрогрессивного, превращается физиологически в иной животный вид. Мы уже видим иначе: никакой дикарь не разберется в цветочных пятнах наших фотографий. Зато мы хуже видим в темноте и неизмеримо хуже ориентируемся на местности. Мы уже слышим иначе. У нас атрофируется обоняние. Мы даже мыслим иначе. Говорят, что у нас появился некий особый "центр абстрактного мышления". И что же — все это прогресс? Кто поручится?

Бытие давно не определяет сознание, наоборот — сознание творит наше бытие. Из догадки. Но где порука, что исходная догадка была верной? И если даже все, что мы делаем, мы делаем во имя высокой идеи, то какой? К чему мы прогрессируем? К золотому веку, к земному раю, в котором царят бессмертие, покой и сытость? Это и есть та сказка, которую мы так усердно пытаемся сделать былью?

Похоже, что так. Магия, поставленная на службу мечте, делает достижение бессмертия (или, во всяком случае, необычайно затянувшегося долголетия) все более близкой реальностью. Продолжительность жизни растет, она выросла вчетверо в сравнении с каменным веком и будет расти дальше. Смерть перестает осознаваться естественным событием, она начинает казаться всего лишь результатом недосмотра, неумения, неосторожности, злого умысла, чего угодно, кроме неотвратимости. Если даже нельзя бесконечно

жить всем телом, то уже можно хотя бы частью — печенью, почками, сердцем, любой частью одного организма в другом. Части тела стали взаимозаменяемы, больницы превратились в гаражи, в мастерские, в склады запчастей. Есть очереди на получение, есть протекция, коррупция, судебные иски. Кому-то пересадили глаз, обещанный другому, обычная юридическая тяжба. Под звуки фанфар и набатов брменная плоть прогрессирует ко все более длительному прозябанию. Во имя чего? Земного рая? Описания рая поразительно похожи во всех мифологиях и скучны до омерзения: хорошее пение, коллективная пьянка, возлежание на облачной перине, променады в кушах под надзором культработников с крылышками. И вот этот перенаселенный санаторий с километровыми очередями за амброзией есть прогресс? Из-за него мы столь усиленно занимаемся тем, чем занимаемся?

Но может быть, под прогрессом следует понимать прогресс духа, мысли, сознания? Тогда — к чему прогрессирует сознание? К всеобщей добровольной повинности десяти заповедей? Будем любить папу-мату, перестанем красть, убивать, желать жену ближнего (с другой стороны, прогрессивно ли состояние принадлежности жены одному мужу и справедливо ли ее не желать, если ей хочется быть желаемой?) И что? Большинство из нас уже сегодня не насильники, не убийцы, а золотого века что-то не видно. Так может быть нужно, напротив, культивировать згоизм и определить свободу, как право махать кулаками во всех направлениях, ограниченных только носом соседа? Не назвать ли нам прогрессом именно такое состояние дел?

Мысль взвизгнула и отчаянно заскреблась, теперь уже обо все клетки серого вещества разом.

“Прогресс, — решительно сказала я, — сам по себе есть миф. Поступательное движение от сущего к неизвестному, непредставимому, а потому и недостижимому есть не просто миф, а квинт-эссенция мифотворчества. На самом деле мир движется черт его знает куда, совершенно неизвестно, какая гадина вылупится в конце, а обратный путь заказан...”

Тут мне захотелось привести строчки Йетса о чудовище, ползущем в Вифлеем, чтобы там родиться, осуществив второе пришествие, но книги под рукой не оказалось.

Покончив с прогрессом, я успокоилась. “Прогрессивные силы человечества” перестали меня интересовать. Отныне мое добро локально, а зло оправдано или неоправдано конкретной ситуацией. Мои дни перестали “прогрессировать” — они спокойно протекают от и до.

Но вот на тебя падает Берлинская стена, рассыпается империя Злого Духа, а сам дух, уже не организованный в государственность, а потому еще более злой, начинает носиться по некогда близким местам.

“Они движутся к демократии, — говорит приятель, — и согласись — это прогрессивное движение”.

“Почему?” — спрашиваю вполне искренно.

В ответ он только пожимает плечами: “Это же очевидно...”

Так ли уж очевидно? Со времен Спарты и Афин, точнее — со времен возникновения парадигмы Спарты и Афин, “прогрессивное человечество” любит становиться на сторону Перикла. Демократия — это прогрессивно. Демократия — это когда в атмосфере максимальной свободы личности она, личность, реализуется наиболее полно. Что само по себе — прогрессивно.

Расскажите это Платону, отцам церкви, Моисею и медникам золотого тельца. Расскажите людям двадцатого века. Третий Рейх возник не из ничего. В нем была локальная необходимость. Любая смута, внутренняя или внешняя, требует подчинения индивидуума обществу и нуждам общества. Инстинкт самосохранения подсказывает общине форму ее организации и реорганизации. Спарта и Афины по-очередно взлетают и опускаются на исторической арене, как гигантские качели. Всякая длительная зависимость общества от свободной воли его членов кончается подчинением этих членов воле власти, как всякая длительная подчиненность индивидуума воле власти кончается взрывом. Но при чем тут, скажите на милость, прогресс? Индоктринация всегда остается индоктринацией, идет ли речь о идее демократии или идее коммунизма. Многопартийная система имеет столько же недостатков, сколько однопартийная. Американскую демократию не удалось привить народам Третьего мира. И честно говоря, во имя демократии пролито по меньшей мере столько же крови, сколько во имя всякой иной идеи.

Я согласна с Поппером — пора перестать перекраивать мир по выдуманному образцу. Поппер ценит в демократии возможность открытого обсуждения существующего или возникающего положения дел. Но если сама демократия утверждается в умах, как некий эталон идеальной государственности, является ли такое обсуждение действительно свободным?

Нет, я не против демократии. В определенных обстоятельствах она действительно наименьшее зло. Но никак не универсальное благо. Не прогресс сам по себе — или по отношению к какой-либо иной системе. Просто — состояние общества, наличный продукт, то, что есть.

Я решительно против понятия прогресса, против господства любой идеи, против превращения сказок в быль, какими бы красивыми они ни были или казались. Против рая на земле, против обращения необращенных, против всякой универсальности, против бессмертия, против повсеместного материального благополучия, купленного ценой непоправимых грядущих бедствий.

Увы, я бессильна против махины по имени "прогресс". Вынуждена пользоваться его благами, сознавая что в противном случае он превратит меня в лепешку. Я не Джордано Бруно. Я сама — представитель прогрессивного человечества и не сумею выжить на необитаемом острове. Кроме того, необитаемые острова давно вывелись. Что же мне остается?

"Не могу двигаться дальше. Буду двигаться дальше". Самюэл Беккет.

ГОРШКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ или эссе о гуманности

Мир озабочен экологией. Озабочены белки, котики, киты, фермеры Невады, рыбаки Балтики. Озабочены бушмены, все еще счастливо путающие богово с кесаревым. Озабочены спившиеся эскимосы, озабочена Маргарет

Татчер, даже Горбачев, заткнувший единым телом все щели ада, озабочен, или делает вид, что озабочен. Всеобщая озабоченность.

А, вот ведь, совсем недавно и слова такого — экология — не водилось. Наука, возникшая в шестидесятые годы этого века, много ли подобных есть? Запоздалый продукт растущей озабоченности.

Еще совсем недавно мать-природа мерно дышала под влажной щекой влюбленного Гете. Мать-природа, в которой и человек... одно из... одно из ее, матери, чудес.

Что случилось, что произошло? Дитя подняло руку на мать? Ах, Кронос, Парки тебя предупреждали!

Я росла в счастливой уверенности, что мир, мой мир, начался с Возрождения. Снял стесняющую кольчугу духа, размял затекшие члены. Как прекрасно Утро Микельанджело!

А на деле... вернее, на сегодняшнем опыте, (только то, что видишь со своей точки во времени, с того уступа, на котором в нем стоишь, можно назвать знанием), какая первертная спесь все это Возрождение!

Что они знали, что понимали в свои, в столь еще темные и средние века, по какому праву нахлобучили на слабые головы венец, где набрались нахальства поставить себя во главу творения, от какого слабоумия постановили, что вселенная, спокойно лежавшая на своих китах, будет отныне по-коиться на гуманности!

И вот удрученность мира, выраженная удрученностью человека, потому что он, единственный в мире наделен способностью удручаться.

Британика определяет экологию, как взаимоотношение животного (каковым человек несомненно является) с окружающей органической и неорганической средой.

По сути же, речь идет о другом. Гуманность, как бы порождение природы и лучшее ее творение, отделилась от нее и замкнулась в самой себе. Человек создал свою природу, свое независимое окружение, с которым взаимоотношается, и создал его не вне, а на месте природы существующей. Хорошо только то, что хорошо человеку. Прогресс — движение всех человекообразных к единому пониманию и осуществлению человеческого в себе и окружающем мире.

Нерасторопных подгоняли, подкупали, спаивали, одурманивали, силком тянули вперед. Моя молодость еще любила всякую миклухо-маклаевщину и страсть как хотела служить пророком в чужом отечестве. Больше того, называла этот разбой подвигом.

Чего мы хотели, мы все, мы — гуманные гуманисты?! Облегчить человеческую участь. Чтобы все — сыты, обуты, одеты, в тепле и счастливы, здоровы, бессмертны, победоносны, независимы от превратностей судьбы.

Мир был создан в авральной спешке и полон несовершенств. Исправить, заменить, горки растаскать по камешку, оросить пустыни, дождь и снег по расписанию, солнце и ветер по потребности. Божественная программа-минимум!

И какой энтузиазм! Армии подвижников расползаются по планете. Генералам дают нобели. Эпидемии, голод, наводнения, смерть от руки природы — все позади. Впереди золотой век. Изгнанный из рая построил себе собственный рай и изгнавшего на порог не пустит. Сладкая месть потомков.

А когда уже вроде совсем близко, вот-вот и сбудется, оказывается, что созданный впопыхах мир структурно единен, что с истреблением зловредного волка, дохнет и невинный ягненок. И что похоже, предсказание о дружеском объятии волка и овцы — не предсказание вовсе, а имеющий место факт: волки — овечья санитарная служба, задирают они в основном больную, непригодную для продолжения рода особь. Волку простили. А Мальтусу?

Гуманность не позволяет.

Ну, одели, обули, разрыли, разворошили, оросили, осушили, вырубili. Заодно просверлили дырку в небесах, озон уходит в форточку. Разогрели планету, подтекают полюса, где не горит, там тонет. И несправедливо как-то: в одном месте вырубают лес для местного блага (блага же!), в другом, совсем в другом месте — засуха, миллионы дохнут. Получается — всеобщего блага нет. Или оно иное, чем мы себе представляем. Не поштучное. Не поклановое. Не поплеменное. Не поцивилизационное.

Эпидемии шли из диких мест. Там мы их и настигли. Не спрашивая, между прочим, разрешения или согласия у местных популяций. Для их блага — и нашего. Для всеобщего блага, то есть.

Нам-то что? В нашей, заморенной цивилизованностью, части света перенаселение не угроза. Мы вымираем. Противозачаточные таблетки с одной стороны, вынянчить каждого рожденного — с другой. Пусть он житейски негодный, пусть за ним из утробы тянется хвост хвороб, которые растекутся дальше по поколениям, — у каждого человеченыша есть право жить и продолжать себя, так мы постановили. Это — гуманность. И гуманность — держать смертников между "там" и "здесь" долгие годы, тратя на вегетативную жизнь столько, что неисчислимые здоровые жизни можно было бы на эти средства спасти.

А здоровые жизни — они ведь не рядом. Они в Бангладеше, в Индии, в Эфиопии. И потом они — дикие. Кто им велит плодиться? Пусть самоконтролируются, мы поможем. Таблетки дадим, кормушки поставим, сколько-то выживет. Главное, чтобы вид не пропал, чтобы в земном ковчеге каждой твари по паре осталось.

А если они нас не понимают? Если мы их обскакали или, напротив, сломя голову, не туда понеслись, да так, что давно вылезли в антиподы? Наши кормушки — от доброй гуманной души или от вины непоправимой? Не наша ли вина, что они расплодился вопреки здравому смыслу? Не мы ли выбили и замордовали их зверя, не мы ли отравили реки, в которых плавала их рыба? Не наши ли заводские трубы навели на них засуху?

Мы, наше.

И, если они, многочисленные, голодные и ожесточенные, попрут на нас легионом, что будем делать?

С одной стороны откажем во въезде. С другой — забросаем зерном, бусами, стеклянрусом. В лучшем случае, понастроим им промышленность, чтобы уже весь мир в противогасах жил.

И что тогда? Пушки? Ракеты? Хиросима? Ядерная чума, напалмовая холера, ипритовая оспа? Экологическое принуждение? Гуманитарные войны?

Вырубку тропических лесов следует прекратить? Следует. А как? Каким манером и способом? И что тогда со всеми нашими политическими концепциями о суверенитете и невмешательстве... нашими экономическими *laissez faire*... нашими идеологическими свободами... нашими гуманитарными принципами? Выходит наша гуманность — всего лишь та мера свободы, которая осознанная необходимость? Которую, если надо, придется заставить осознать?

Страшно.

Сколько веков боролись против! Сколько книг написали! Сколько крови, слез и чернил пролили!

Но порой кажется, что книги, которые сами и писали, читать мы все же не научились.

Вспомните, чем хвастает перед Океанидами Прометей.

“Еще у смертных отнял дар предвидения” — говорил бессмертный благодетель человечества.

— Каким лекарством эту ты пресек болезнь? — вопрошает мудрая.

“Я их слепыми наделили надеждами” — отвечает первый, так сказать, гуманист.

А мы продолжаем раздавать нобели во имя гуманности. Знаем ли мы, что она такое?

Скопище несовместимостей, когда волки сыты, овцы целы, благополучен пастух, доволен хозяин, цела трава на пастбище, выпитые воды текут вспять...

Все это нам обещано, господа. После апокалипсиса. Не до. После.

А лучше бы до апокалипсиса не дошло.

Оставить в покое гуманность, вернуться к здравому смыслу.

Здравому, то есть понимающему, что, когда игра становится жизненно опасной, следует определить новые правила.

Ставка на исключительное благо человека оказалась либо завышенной, либо заниженной.

Отдать бы Богу богово, оставить кесарю кесарево.

Кто может издать такой декрет, и кто будет готов ему подчиниться?

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

9 января этого года скончался профессор Шломо (Соломон Меирович) Пинес, выдающийся ученый, автор основополагающих работ в области еврейской религиозной мысли, исламской философии, христианской теологии, истории науки и литературы. Ему принадлежит ставший классическим перевод "Наставника колеблющихся" Маймонида на английский язык. В последнее десятилетие исследования Пинеса были в значительной степени связаны с историей еврейско-христианской общины первых веков нашей эры. Недавно была опубликована также его большая работа о "Книге Творения" ("Сефер Йецира") и несколько важных статей, посвященных истории понятия "свобода".

Его называли одним из последних энциклопедистов, человеком-университетом.

Сам он особого пиетета по отношению к ученой эрудиции не испытывал и не раз говорил, что лишь тот свободен, кто свободен и от "гнета знаний".

В своих исследованиях Пинес выявлял скрытые связи между различными культурами, взаимовлияния в сфере религии и духа. При этом он не создавал новой глобальной теории, призванной в очередной раз исчерпывающе объяснить действие механизмов мировой истории. Он скептически относился к глобальным теориям.

Он был скептик.

Вот уже много лет они жили с женой в центре Иерусалима, в Ре-хавии, — квартале, успешно играющем в устойчивость существования. Добрая половина его жизни, однако, прошла в скитаниях. Родился Шломо Пинес в 1908 году в Париже, где его отец заканчивал тогда работу над докторатом, но уже в следующем году семья возвращается в Россию, откуда — в 1919-м — эмигрирует в Англию. Потом — Германия, Швейцария, Гейдельбергский, Женевский, Берлинский университеты. В начале тридцатых годов Пинес поселяется во Франции. Перед самым немецким вторжением они с женой и маленьким сыном отплывают в Палестину.

Он приехал европейцем, на глазах которого рухнула Европа. Им долго было очень нелегко здесь. Это уже потом Пинес стал неотъемлемой принадлежностью Иерусалима, знаменитостью посвященных, человеком, знакомство с которым лестно разного рода значительным персонам.

Он всегда относился скептически к получившим одобрение социума иерархиям.

Будучи членом Академии, лауреатом Премии Израиля, одним из столпов Иерусалимского университета, он оставался человеком до крайности, вызывающе "не-истеблишментским". Стоял на этом спокойно, но непреклонно.

Он остался европейцем, человеком мира, космополитом.

Европейцем, который писал свою автобиографию по-французски.

Человеком мира, который, говоря "мы", имел в виду Израиль.

Космополитом, для которого такой важной оказалась встреча с "русской волной" 70-80-х гг.

Он был старшим другом и покровителем многих выходцев из России. Парадоксальным образом он искал в общении с нами свои собственные корни, видя в нас посланцев того, утраченного мира.

Он был старым человеком, последний месяц тяжело болел и очень ослабел.

Он сохранял полную ясность мысли и не хотел умирать. Он умирал против воли, насильно, словно не считая конец неизбежным.

На его могильной плите высечены слова Спинозы: "Ни о чем так мало не думает свободный человек, как о смерти".

Да будет память его благословенна!

С. Р.

Шломо Пинес

НИЦШЕ: СВОБОДА И ИСТИНА

Во втором эссе сборника "О происхождении морали" Ницше подробно останавливается на той глубокой трансформации, которую претерпел первобытный человек, когда он лишился своей изначальной свободы, оказавшись пленником жесткого государственно-общественного порядка. Боясь головой о невидимые стены, восставая против навязанного извне образа жизни, в корне противоречащего его природным наклонностям и инстинктам, человек изобрел "неспокойную совесть" — неведомую ранее болезнь, в результате которой бывший дикарь превратился в совершенно новое загадочное существо, устремленное в будущее, где ему виделась возможность осуществления некоего великого обетования.

Именно благодаря наличию "неспокойной совести" человек оказался одной из самых замечательных удач мироздания — неважно, идет ли речь об удачном выпадении игральной кости, которую бросает Зевс, этот "Великий Младенец" Гераклита, или просто об игре слепого случая. Тот исключительный интерес, который представляет феномен человека, объясняется, по Ницше, исключительно поразившим его недугом внутреннего разлада. Но, с другой стороны, недуг сей был совершенно не свойствен тем ордам первобытных завоевателей, которыми философ, по его утверждению, так восхищается. Творческой силой обладает, как выясняется, именно специфический комплекс покоренных, чрезвычайно близкий — и Ницше, похоже, временами отдавал себе в этом отчет — затаенной обиде неудачника ("резентименту"), т. е. чувству, которое он без усталости поносил.

Согласно схеме Ницше, завоеватели творят "новый порядок" с бессознательным эгоизмом художника, и это вызывает у покоренных субъективное ощущение утраты значительной доли прежней свободы. Тогда врожденное стремление к свободе принимает латентный характер и, обращаясь вовнутрь (интериоризуясь), принимает форму уже названно-

го недуга "неспокойной совести". В результате с человеком и происходит столь завораживающая Ницше метаморфоза.

Речь здесь у Ницше, судя по всему, идет о первобытном обществе. Но был в истории и другой период, когда нечто похожее (при всех немаловажных различиях) происходило в обществе, которое примитивным никак не назовешь. Я имею в виду период возникновения христианства. Удивительно, что сам Ницше, по-видимому, не осознавал имеющейся тут аналогии, хотя вопрос об "истоках" христианской религии занимал его чрезвычайно; более того — налицо была и несомненная эмоциональная связь, в том смысле что он испытывал сильнейшую антипатию к одному из главных участников драматических событий той эпохи, к апостолу Павлу.

Ницше, по-видимому, имел неточную информацию. Он почему-то описывает евреев Палестины I в. н.э. как совершенно аполитичную общину, ведущую такое паразитическое существование в рамках Римской империи. На самом же деле еврейская община была, наоборот, насквозь политизирована, как это нередко бывает накануне разрушительных войн или революций — событий, отбрасывающих обычно длинную тень на предшествующий отрезок истории. Поразительно, что Ницше — филолог-классик! — не обратился к единственному источнику, содержащему подробные сведения об этом периоде, — я имею в виду Иосифа Флавия, на которого он ни разу не ссылается. Не исключено, впрочем, что к тому времени Ницше уже пришел к мысли о вреде излишней начитанности.

Одна из политических группировок, объединявшая сторонников вооруженной борьбы против Рима, выдвинула лозунг "свободы", конкретнее — свободы от иностранного владычества. Израилем должен править один только Бог и никто больше. Надо отметить, что лозунг этот был в еврействе новшеством. Понятие "свобода" ни разу не встречается в еврейском оригинале Библии в политическом или политико-теологическом контексте. Не пользовались им и во время восстания Маккавеев. По моему мнению, оно было заимствовано из греко-римского культурного ареала. В ту пору в большинстве восточных провинций Империи с надеждой ожидали окончания римского господства, имели также место брожения апокалиптического характера, но евреи, судя по всему, оказались единственным народом, принявшим на вооружение лозунг свободы.

В их устах, однако, слово это обрело иное значение — или, по меньшей мере, иной смысловой оттенок, — нежели "элеутерия" у греков или "либертас" у римлян. И греки, и римляне высоко ценили свободу, которую защищали с оружием в руках, воспринимая ее как **данность** своего национального существования. Евреям же — поработенным и лишенным политической самостоятельности — свободу надо было еще завоевать, так что речь здесь шла о концепции более динамичной — концепции **освобождения**.

Приведшая к разрушению Второго Храма война против Рима может служить наглядной иллюстрацией этого особого динамизма, свойственного призыву к освобождению, — не случайно на протяжении всего

восстания (как, впрочем, и до него) он оставался лозунгом наиболее непримиримо настроенной части тогдашнего еврейства. Любопытный факт: похоже, что здесь впервые в истории широкие народные слои — причем, подчеркнем, речь идет о народе, в массе своей грамотном, имевшем собственную древнюю культуру и, казалось бы, привычно находившемся в подчиненном положении — поднялись на борьбу против иноземного владычества во имя **свободы**. Впервые, но далеко не в последний раз, ибо новая идеология оказалась вполне пригодной для использования ее другими освободительными движениями.

Примерно в то же время, что и антиримское брожение, в Палестине имел место и другого рода прорыв к свободе, оказавшийся, по крайней мере, не менее судьбоносным.

Напомню, что в Мишне (тр. Авот, 3:4-5) упоминаются три вида порабощающего человека "ига": одно из них — это "иго" властей и правительств, другое — "иго" Торы, т.е. религиозного Закона (согласно принятой сейчас интерпретации текста Мишны третьим "игом" является необходимость зарабатывать себе на жизнь). Такая "парность" (вынужденного?) повиновения светским властям и религиозному Закону наводит на подозрение, что и освобождение может быть реализовано не только путем политической эмансипации, но и через "сбрасывание с себя ярма Торы". Историческая реальность подтверждает такое предположение — именно так понимал свободу апостол Павел.

В своих Посланиях он многократно возвращается к идее свободы, причем последняя у него — не просто некое идеальное состояние, но реальная цель, к которой следует стремиться и которую можно достичь. Но в глазах Павла свобода означает именно освобождение от ига религиозного Закона (что, в том числе, подразумевало и бунт против еврейского истеблишмента). Павел понимал, что такая установка может быть истолкована как отказ от морали вообще, и резко возражал против подобной интерпретации, но свободе стоит только однажды дать волю — потом ее уже очень трудно удержать в каких бы то ни было рамках.

Вернемся, однако, к Ницше. Мне представляется, что проповедуемая Павлом свобода довольно точно соответствует тому, что Ницше называл "обращенной вовнутрь" (интериоризованной) свободой, ответственной за появление столь многообещающего, по мнению последнего, феномена "неспокойной совести". И все же, несмотря на это явное сходство, Павел был одним из самых антипатичных Ницше исторических персонажей. Ницше даже ввел в употребление особое презрительное наименование для тех течений религиозной мысли, которые в своих наиболее чистых (и крайних) проявлениях восходили к Павлу: по мнению Ницше, все они представляют собой не что иное, как **рабский бунт в сфере морали**, когда обида неудачника, становясь творческой силой, порождает новую систему нравственных ценностей ("О происхождении морали", 1:10). Ницше считал, что именно такого рода бунт и навязанные им человеку специфические моральные установки сыграли первостепенную роль в возникновении европейского нигилизма.

С другой стороны, из Павловых концепций христианской свободы и первородного греха непосредственно вытекает недоверчивое отношение к ценности "внешних" дел (дел Закона) и вообще к заслугам нравственного плана — своего рода моральный скептицизм, который Ницше как раз очень одобряет в христианстве. По его мнению, скептицизм этот избавил человека от наивной веры в собственные достоинства, благодаря чему мы не можем не улыбаться, читая сентенции Сенеки или Эпиктета. Однако мы (то есть Ницше) расширяем сферу приложения этого скептицизма, распространяя его на все религиозные концепции и душевные состояния, как-то: понятие греха, чувство раскаяния и т. п.

В письме Овербеку от 23.2.1887, говоря о "Записках из подполья" Достоевского, Ницше среди прочего замечает, что европейский подход к психологии человека страдает **греческой поверхностностью**. Далее он добавляет: "Если бы не капелка иудаизма..." — и обрывает фразу, судя по всему имея в виду, что "еврейская составляющая" европейской цивилизации до некоторой степени компенсирует неадекватность греческой психологической интуиции. Похоже, что в данном контексте "иудаизм" у него служит субститутом Павлова христианства.

Трудно переоценить значение Павловой концепции "свободы от дел Закона" (что в крайней форме означает свободу от морали) для дальнейших духовных исканий человечества. Одним из ярких примеров того, как эта концепция "работала" в истории, можно считать бунт Лютера против римско-католической Церкви. Нетрудно понять, почему Ницше был склонен с отвращением отвергать евангельскую идею свободы, — тут, несомненно, сказывалась реакция на его протестантское воспитание.

В другом месте Ницше высказывает мнение, что "морализаторская поверхностность" греков свидетельствует на самом деле об их определенной глубине: он восхищается их способностью (и мужеством!) держаться **поверхности явлений**, не погружаясь в глубины человеческой психики. Можно утверждать (хотя, как и все широкие обобщения, это тоже отличается известная приблизительность), что, постольку поскольку Ницше считал себя знатоком человеческой природы ("психологом" по тогдашней терминологии), он сознавал свою укорененность в иудео-христианской традиции; как философ же, он ощущал глубокое сродство с рядом греческих мыслителей.

На первый взгляд это кажется странным, но следы влияния Павловых идей можно, по-видимому, обнаружить даже у Спинозы. Когда Спиноза утверждает ("Этика", IV:58, что для **свободного человека вообще не существует понятия зла**, он пользуется терминологией, заимствованной сразу из двух источников. Один — это средневековая философия: отсюда концепция зла. Но вот понятие "свободный человек" ссылкой на средневековую философию никак не объяснишь.

Согласно Спинозе, свобода есть наивысшее состояние, к достижению которого человек должен всячески стремиться. Бесспорно, утверждение ценности свободы есть, в определенном смысле, философ-

ский трюизм, в особенности если иметь в виду стоическую философию: свобода в ней воспринимается как блаженное и завидное состояние, характеризующее человека, освободившегося из-под власти страстей и аффектов. Но для Спинозы, как мы видим, смысл свободы этим не исчерпывается: для него она включает также свободу от концепции зла, т.е. конкретно — от запретов морального и религиозного плана. Такой поворот (не случайно заключительной главе "Этики" дано название "О свободе человека") никоим образом не обусловлен философской традицией и, на мой взгляд, может объясняться как раз влиянием идей апостола Павла.

В "Политико-теологическом трактате" Спиноза приводит многочисленные цитаты из "Послания к Римлянам" и других текстов Павла. Цитаты эти указывают — и автор "Трактата" особо это отмечает, — что от человека не требуется соблюдение какого-либо религиозного закона (в контексте высказываний Павла — заповедей Торы). Разумеется, Спиноза был знаком не только с текстами собственно Нового Завета, но и с более поздними модификациями идей Павла в христианской традиции.

В открытке от 30.7.1881 г. (адресованной опять же Овербеку) Ницше перечисляет пять пунктов, по которым он согласен со Спинозой. Одним из этих пяти пунктов является отрицание понятия зла, то есть принятие концепции "свободного человека". В определенном смысле, однако, Ницше идет здесь существенно дальше Спинозы.

Выше уже отмечалось, что если принимается принципиальная желательность свободы, то в дальнейшем чрезвычайно трудно установить для нее какие бы то ни было ограничения. В результате в наши дни обязанность быть свободным иногда воспринимается как единственный еще имеющий силу нравственный императив — такое впечатление оставляют, в частности, некоторые произведения Сартра. В грубой форме подобная тенденция нашла выражение в лозунге так называемой французской студенческой революции 1969 года: "Запрещается запрещать!"

Все это, разумеется, никоим образом не соответствовало ни общему стилю, ни образу мышления Ницше — он никогда не стал бы провозглашать свободу в качестве **нравственной обязанности** человека. Что касается свободы "групповой", внешней, относящейся к сфере политики, то Ницше был **против** всяческих восстаний угнетенных и не поддерживал их стремления к раскрепощению. Мне представляется, однако, что когда речь идет о Ницше как о **личности**, то вполне правомерно говорить (пользуясь его собственной формулировкой) о тенденции к "интериоризации свободы", причем этот феномен у него в значительной степени сходен, на мой взгляд, с тем, что он у других пренебрежительно называл "рабским бунтом в сфере морали" (видя в Павле один из архетипических случаев такого бунта).

Ницше (и вообще "новые философы") готов отказаться не только от понятия зла, но и от веры в абсолютную ценность **истины** (и, соответственно, от стремления к ее обретению) — именно это я имел в виду, говоря, что он идет дальше Спинозы. На первый взгляд это

проистекает от того, что Ницше — в роли создателя новой философской системы — полагает, будто при определенных обстоятельствах **ошибка** несет в себе больший заряд творческой энергии и таким образом способна скорее привести к желанной "преизбыточности жизни". Однако при чтении сборника "О происхождении морали" возникает подозрение, что на самом деле готовность пожертвовать понятием истины продиктована психологическим импульсом все той же "интериоризованной свободы" — импульсом, толкающим тех, кого философ называет "свободными духовными существами".

Согласно одному из пассажей сборника (111:24), свобода человека — неважно, скептика ли, атеиста, нигилиста, отвергающего ли мораль, религию и т. д., но сохраняющего веру в возможность познания истины — есть все еще свобода неполная. Говоря словами Ницше: "Такие люди далеки от того, чтобы быть свободными духовными существами, ибо они все еще верят в Истину". Свобода, точнее — ее специфическая, интериоризованная разновидность, не может вынести никаких ограничений. Ее неумолимая логика требует, в конечном счете, освобождения и от Истины, как в свое время Павел должен был освободиться от Закона.

Перевод и предисловие Сергея Рузера

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА--ИЕРУСАЛИМ".

Новая книга

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ.

ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета забот иудейских", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической и духовной действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге, объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории.

300 стр.

16 долларов

МАСТЕРСКАЯ

Любовь Латт

СКУЛЬПТУРА РОДЕНА В МУЗЕЕ ИЗРАИЛЯ

Как только посетитель Музея Израиля вступает на широкую аллею, вдоль которой расположены выставочные павильоны, его останавливает бронзовая фигура человека с поднятой рукой, словно вопрошающего, заставляющего задуматься о чем-то очень важном. Исхудалое лицо с заострившимся подбородком, приоткрытый рот, глубокая морщина на переносице выражают затаенное страдание. Веревка, обвивающаяся вокруг шеи, одежда смертника, оставляющая обнаженными плечи, руки и ступни ног, свидетельствуют, что этот человек осужден на казнь.

Это — фигура Пьера Виссана, одна из шести, выполненных для памятника “Граждане Кале” великим французским скульптором Огюстом Роденом (1840–1917). В самом Кале, в Париже и Лондоне можно увидеть памятник в целом. Но выразительность каждой его фигуры настолько велика, что их можно выставлять и по-отдельности. Одна такая фигура украшает роденовский отдел Эрмитажа; другая — иерусалимский Музей Израиля.

В иерусалимском Музее двадцать четыре работы Родена. Многие из них связаны со знаменитыми “Вратами Ада” — гигантским скульптурным панно на тему “Божественной комедии” Данте (ныне оно находится в саду Музея Родена в Париже). Фигуры и группы этого панно, переделанные самим Роденом в формы круглой скульптуры, приобрели всемирную известность. В Музее Израиля “Врата Ада” представлены прежде всего, статуями Адама и Евы. Бронзовый Адам стоит на одной из террас сада Билли Роз. Он изображен после изгнания из рая: могучее существо с бессильно повисшими, как плети, руками и печально поникшей головой. Через год после создания “Адама” скульптор изваял парную к нему фигуру Евы, которую повторил потом в одиннадцати мраморных копиях. Одну из них можно увидеть в павильоне Вейсборда. Как и Адам, Ева изображена после изгнания: сделав шаг, она словно бы машинально остановилась и вся ушла в себя, зябко прижав руки к груди и низко опустив голову. Мраморные контуры фигуры, в отличие от бронзы, словно растворяются, поверхность искрится, отражая свет, формы тела, характер жеста раскрывают сложное психологическое состояние.

К той же серии относится и бронзовая модель “Тени”, которая по замыслу Родена, должна была открывать панно и напоминать слова Данте: “Оставь надежду, всяк сюда входящий...” Скорбная безнадежность фигур модели точно соответствует этому замыслу; неустойчивость их постановки действительно создает ощущение чего-то невесомого, какой-то тени.

В соседних залах павильона стоят скульптурные группы “Поцелуй” и “Вечная весна” — пожалуй, самые популярные произведения скульптора. В “Поцелуе” поразительно сочетаются страстный порыв и сдержанное целомудрие: тело девушки пересекает тело мужчины по диагонали, мужская рука повторяет движение женской в обратном направлении. Этот музыкаль-

ный ритм вносит в произведение такую поэзию, что она покоряет любого зрителя.

“Вечная весна” с ее неустойчивостью и порывом к движению, с возникающими и гаснущими на бронзовой поверхности световыми бликами воплощает музыку в пластике застывших юношеских тел.

Знаменитая натурщица и подруга Родена, скульптор Камилла Клодель (история трагической жизни которой стала сюжетом недавнего нашумевшего фильма) запечатлена Роденом в десятках работ. В Музее Израиля есть одна из них — скорбная и трагичная “Данаида”. Не меньшим трагизмом исполнен и отлитый в бронзе “Торс Адели” — изогнутый по дуге, с заломленными над невидимой головой руками, весь словно уносимый каким-то адским вихрем.

Вернувшись из павильона Вейсборда в сад Билли Роз, посетитель музея Израиля может увидеть еще одно изумительное произведение Родена — этюд “Обнаженного Бальзака”. В окончательном варианте скульптор облачил его в мантию, которая скрыла тучное тело; но в ходе работы он начал с этюда обнаженного тела — чтобы лучше почувствовать движение, — и именно этот этюд встречает посетителя иерусалимского Музея. Мощные очертания рук и торса, гордая посадка головы, преувеличенно контрастная, но потому еще более выразительная лепка лица — все в этой фигуре словно бросает вызов обывателю и его представлению о творческой личности. Недаром появление “Бальзака” на выставке 1887 года в Париже вызвало бурю негодования.

24 роденовские фигуры в Музее Израиля — подлинное скульптурное богатство, позволяющее убедиться в фантастической широте выразительных средств этого великого скульптора, который первым сделал достоянием скульптуры то, что считалось уделом музыки и поэзии, и воплотил в мраморе и бронзе сложные состояния человеческой души и тончайшие движения человеческого тела.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Елена Толстая

ПЛАТОНОВ, ИЛИ БЕЗОТЦОВЩИНА

В телексе не было ни единой ошибки — даже в английском, даже в транслитерации: он радушно и церемонно, как граф Ростов-папа, звал участвовать в юбилейных платоновских чтениях в Москве. Союз Писателей с литературоведами, союз улицы Герцена с улицей Воровского стояли за этим великолепием, внезапно адресованном израильскому слависту.

Потом пришло письмо от секретаря юбилейных чтений. Я не поверила глазам своим: "Многоуважаемая сударыня..." Я представила себе пролетария Платонова в корчах хохота и ответила немедленным: "Достопочтенный коллега!"

Составители юбилейного платоновского сборника сообщали, что решили включить в него две моих статьи; я пошла показать письмо секретарше факультета, а по дороге оказалось, что я реву в три ручья.

С Платоновым дело было так: на третьем курсе Иняза я, бледная и умирая от страха, привезла на Всесоюзную студенческую конференцию разбор раннего рассказа Платонова — этот писатель меня интриговал, казался почему-то совершенно не таким, как все остальные советские. Великий профессор всю дорогу ехидно хихикал на задней парте с Сеней Рогинским, а в конце доклада мне преподнесли красную книжечку — тартусский студенческий билет: "Елене Толстой, выпускнице Смольнинского института благородных девиц, дана сия в том, что она действительно участвовала в конференции..."

И вот как молодой русский человек я работаю в Университете почасовиком, боюсь Ахмановой, которая вот-вот узнает о моей скрытой сути, и пишу своего Платонова — докапываюсь, сколько смыслов в выражении: "Молодой нерусский человек Назар Чеготаев..."

"Платоновым занимаетесь!" — поморщился, уже в Иерусалиме, мой любимый педагог. "Это что, внутренняя потребность нисхождения, кенозиса?" — "Ну да. Живу в оазисе, нуждаюсь в кенозисе".

Из нахального студенческого доклада вырос цикл статей. Платонов получался у меня молодой, страшно умный и хитрый, и не бедный родственник в русской литературе, какой-нибудь деверь из Твери, а человек невероятно начитанный, идущий "по звездам". И вообще оказалось, что юноша Платонов уже в 20-м году буквально все понимал, уже успел сформироваться. То есть не неотесанный рабкор начала двадцатых, приехавший в Москву учиться, — а готовый мыслитель. Умница — вот было главное чувство.

Второе чувство было — забияка! Совершенно не сахаринный гуманист, чудацкий радетель, домотканый философ — а яростный боец, убийственно, тяжеломерно остроумный: "Почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно". Драчливость его не вмещалась ни в городские масштабы, ни в областные, она требовала всесоюзных: от "Города Градова" (1927) через "Че-Че-О" (1928) к "Усомнившемуся Макару" (1929), где он лягнул самого Сталина. Да и позднее Платонов — вовсе не грустный отщепенец мемуаров, а

тайный и нераскаянный драчун. То вернет некстати словечко своего любимого, давно опального и покойного пролетарского философа Богданова, когда-то мечтавшего об обществе без авторитетов, где рабочие одновременно и мыслители, и исполнители, и организаторы, — а раз так, то и мышление раскрепощено, нет страха власти, но нет и власти догмата, закона — где не подначалие, а гармония равных, где человек человеку — соратник... То выразится в адрес фашистов: "Они хотели всемирной погорельщины" — то есть вслух напоминает об абсолютно запретной "Погорельщине" репрессированного Ключева, страшной поэме о коллективизации и людоедстве... А то в 1939-м, в год ареста Мандельштама, вложит в уста какой-то деревенской своей героини мандельштамовскую строку: "Подари мне шаль, хоть полушалок..."

И показалось мне, что эта вот антиавторитарная изготовка не только всю жизнь Платонова, но и саму ткань его прозы определила изнутри: заставила его все время ломать иерархию абстрактного и конкретного, высокого и низменного, значимых слов и невидной, серой соединительной ткани.

Антитоталитаризм Платонова и притягивал, и отталкивал меня. Мне казалось, что главный "сюжет" его литературной биографии был связан с Пильняком. Платонов выбрал Пильняка и проникся Пильняком — но и Пильняк притянулся к Платонову, и лучшая пильняковская вещь, опальное "Красное дерево", — это бурная реакция на неопубликованный еще платоновский "Чевенгур". Это и любовь, и жалость к "платоновскому" — но и безразличие, и обвинение в юродстве...

Интереснее всего казались мне зрелые рассказы Платонова, гладкие до классичности — и совершенно бездонные. Все же я попыталась добраться до дна в одном таком рассказе — получила целая диссертация. К концу работы Платонов явился мне во сне: высокий и костлявый, широколицый, непостижимо улыбающийся своим язвительным, тонкогубым, длинноизвилистым ртом. Помалкивал.

...Рассталась я с вами, любимые мои, рассталась. Вот уже шестнадцать лет как. До сих пор помню жуткие, чересчур фотогеничные (ретушь?) березки в Шереметьево. Ни за что не соглашалась отнестись к отъезду трагически. Высмеивала ностальгию, которую вешали на уши справа и слева. Не каркала "Never more", не отряхивала прах, не меняла имен — и всего на втором месяце эмиграции пробила переписку в рекордный срок: три дня шло мое письмо из Иерусалима в Москву, три дня, а не три недели, поверх всех барьеров. А все потому, что содержало две страницы абсолютно непристойных палиндромов-оборотней, только один из которых из всех, увы, можно процитировать: "Ехала — го! А ведь дева — по Галахе".

..."Да что вы, ребята, приходите хоть ночью — мы вас примем".

Может это сон? Нет, это советское консульство в Бухаресте, остров свободы и светоч разума в море мелких издевательств. О Бухарест! Вообразите себе пятидесятые годы — стены, крашенные под шаблон канатом, как в Крыжополе, и красный плюш, и на стенах — инструкции, чего нельзя, мелким шрифтом. Нельзя ничего. Только называется это: "Чаушеску — эроизм!"

Все народонаселение в милицейской форме, и все следит само за собой, никто ничего другого не делает. Специфический национальный жест: два пальца к губам и "пух-пух" по-хулигански. Это означает: "Дай взятку, дай пачку американских сигарет, а то хуже будет". И действительно, за пачку "Кента" в Бухарестском аэропорту нам задерживают уже взлетающий самолет. У всех обиженные лица, и все взрываются: "Нет! Да вы что? Да вы где находитесь?" И полковник пограничной службы орет, как буфетчица: "Вас много, а я один!"

Страна, доведенная до уровня мелкого безобразия, детской затравленности или детской же плаксивой жестокости. Начальники, которые ведут себя, как несовершеннолетние урки, даже не притворяются: духарятся, смеются в лицо. Все вокруг — как карикатура на советские пятидесятые годы.

После чаушесковского Бухареста советское Шереметьево кажется уютной мечтой. Сероглазые, вдумчивые, даже утонченные юноши — почему на них форма таможенников? Вспоминается описание будущего у Зощенко: "Вот я тебя оштрафую — не дам цветка". Но эти — дадут! Они дадут! Они дадут двушку — позвонить по автомату и шутиливо в ответ попросят по сигаретке, и будут ласковы, как ребята с нашего двора.

Это поражает больше всего. Какая-то непривычная, новая мягкость и задушевность и официального, и неофициального разговора, и со знакомым, и с незнакомым. Россия моего отъезда была недружелюбной, огрызающейся. Тогда эти вкрадчивые, разъезжающиеся, даже разлагающие своей мягкостью интонации были в ходу разве что в московских академических институтах да в театре "Современник"... А теперь — звонишь в милицию, а дежурный голосом Арины Родионовны отвечает: "Это вы, голубушка, ошиблись, тут у нас РОВД, а вам теперь звонить надо два-два..."

Не без некоторой вязкости этот нынешний массовый интим, но по всему видно — людям очень нравится "подобрать". Сплошные дети-цветы, икебана какая-то, баллада о солдате.

Но все-таки эта вот преувеличенная даже кротость, цивилиность, желание выказать неагрессивность свою, невинность — что же это все означает? Почему в очередях поют ангельскими голосами: "А мне, пожалуйста, того отрежьте, двести грамм — Христа ради!?" Может, это такая самозащита? Тут со всех сторон надвигается новое, жуткое, неумолимое: рэкетеры, кооперативы, покрашенные голубым витрины. Может: не выпихивайте меня в неизвестность, Христа ради!?

А может это здоровые силы в обществе так противостоят одичанию? Инстинктивная оборона?

А может — в этом обществе неврдно педалировать свою незащищенность и убогость? "Блаженны нищие духом"?

Не знаю, не знаю — просто пою со всеми эти новые, кроткие напевы.

...У меня уже шестнадцать лет один и тот же сон: что иду ночью по Маяковской к центру, под багровым небом, среди крупно шумящих лип, по мокрой, сияющей мостовой, мимо львов на воротах — красного Музея Революции, и вдруг вижу себя в профиль — хоть это невозможно — в уличном овальном зеркале.

И вот я действительно иду! "Грузия" заколочена, липы золотые, львы

свежевыкрашенные (финны отремонтировали центр), — а на музее сажеными литератами аншлаг: "Николай Иванович Бухарин. Жизнь и творчество".

Боже, как интересно. И эта радость отвычки: какие тут высокие люди, в Москве! сколько деревьев! а рек! Какая огромная страна Москва!

Главное — книги. Инкунабулы. Первоиздания. Мистика. Сектанство. Договорные цены. За новыми книгами можно приходить каждый день. "Скоро мы все издадим", — говорит старый знакомый. У киоска Союзпечати — очереди за газетами. Да, такое не увидишь и в века.

Старый Арбат. Для променада длинноват и неприютен. Попутно служит Монпарнасом для внезапно расцветшего народного пластического гения: вдоль всей улицы сплошняком: а) пейзажик с колоколенкой и б) сирень, сирень. А это кто? Ну, конечно же, Его Императорское Величество Государь Император Николай Второй — исполнен маслом, в мученическом венчике, в усах и подусниках.

А с обеих сторон, на приступочке, нескончаемой шеренгой — миллионы матрешек. И такие же писанки — несъедобные яйца деревянных страусов, с сюжетами: патриарх Пимен, а сзади Мавзолей. Между писанками и матрешками какое-то чуть не генетическое родство — многосемейные матрешки, в основном, бородаты ("патрешки"?) — как, кстати, и их японские прототипы.

Конференция — в ИМЛИ, в большом зале, где на эстраде — высеченный из большого деревянного мосла Горький, почему-то похожий на Ленина в парике (тоже скрывается от полиции?) Меня знакомят с секретарем платоновских чтений, автором "Многоуважаемой сударыни", юношей с райкомовским лицом, который работает в журнале "Молодой коммунист". Сейчас он со всех сторон окружает сердитую немолодую блондинку — оказывается, это дочь Платонова.

Главная новость на чтениях: Платонова официально провозглашают гением. Официальная литературная Россия объявляет его своим писателем номер один.

Установочное говорение: Палиевский, Чалмаев. Кажется, что важнее всего в этих солидных речах — не то, что сказано, а то, что не говорится. Этим как бы задается рамка для последующих выступлений. Последующие — какие-то старички и старушки, которых не было в программе. Чисто церемониальные речи. Программа сдвигается, запаздывает.

Странно — о Платонове в общем-то не спорят. Это даже настораживает. Чуткий Андрей Битов тут же улавливает это настроение. Он боится за Платонова. Сейчас пик его славы, все его книги изданы и переизданы — но не отодвинется ли этим самым Платонов в разряд безнадежно разрешенных и ненужных, вроде Федина и Шолохова?

Действительно, главный спор на чтениях — вовсе не о Платонове: о Николае Федорове. О его призыве к человечеству мобилизовать все силы на борьбу со смертью — не больше не меньше как на воскрешение всех мертвых, когда-либо живших на Земле. На научной основе — и во плоти.

За этой идеей у Федорова — целая этическая система. Каждое новое поколение топчет предыдущее. Поэтому рождать — аморально. Не рождать новых людей, а собирать по крупинкам прах умерших, воскрешать своих

отцов — вот долг человека. И не классовая борьба, а справедливость к самым большим беднякам, к мертвым, — таков “суперморализм” по Федорову.

Платонов Федоровым увлекался. В “Чевенгуре” он изобразил конфликт коммунизма и федоровской утопии: кому нужен такой коммунизм, в котором не воскресают мертвые?

Известная московская авторесса Светлана Семенова: смоляные волосы в скобку вокруг щекастого, скуластого лица и глазки-бусинки — поначалу интересно и живо говорит о важности темы пола у Платонова: его герои отрицают пол, как слишком природное чувство, они стремятся к чувствам духовным, высшим — товариществу, братству; в Платонове просматриваются гомосексуальные тенденции, влияние хлыстовства, гностические корни. Потом и она съезжает на Федорова: трагедия отдельности и смертности организма непреодолима; другое дело — бессмертный сверхорганизм, вышедший в вечность — возрожденное человечество по Федорову. Нет ничего выше и прекраснее. Ни в России, ни во всем мире.

Это — вера. Федоров — это и есть христианство, — утверждает Светлана Семенова (“главная хлыстовская богородица” — говорят о ней москвичи). “Вы не признаете Федорова? — Тогда вы не христианин”.

Каким образом эта мрачная, магическая, безумная в своей детальности книжка смогла стать новым символом веры? Конечно же, Федоров никакой не христианин. Он — теософ. В основе его идей — восстание против негодного пастыря, создавшего враждебный человеку мир, — и борьба, соревнование с ним. Черное безверие Ивана Карамазова. Твердое знание, что Христос не воскрес. Надо самим — химия, гальванизм. Воскрешенных посылать осваивать космос. Тут пригодится ученик — Циолковский, именно для этой немедленной и конкретной задачи изобретший свой знаменитый ракетный двигатель.

Почему такая популярность? Почему Федоров — самый любимый теперь в России идеолог?

Реставраторский пафос, который теперь так в моде? “Отцы”? Культ “памяти”? Призыв похерить классовые интересы? Несомненно. Это для одних. А для других — сохранение боготворчества, пафоса переделки мира — главной доминанты советского периода: “Природа должна измениться! Умелых послушаться рук!” (О жуткий образ пшеницы, шагающей — шагом марш! — куда прикажут).

И — акцент на тотальной мобилизации. На подчинение индивида сверхзадаче. На отказе от прогресса. Во имя!

И, конечно, мистическая свистопляска, так отчетливо захлестнувшая сегодняшнюю Россию. Марсиане в родном платоновском Воронеже, НИИ парапсихологии, телекинез, Кашпировский, размывание границ вероятного, легкое верие, всеверие...

Или важнее другое? Светлана Семенова полагает: западный экзистенциализм на проклятый вопрос о смерти отвечает растерянностью — трагедия неизбывна. А Россия озаряет человечество новой богатой вестью: ваших условий существования не принимаем! Чаем воскрешения мертвых и преодоления трагедии!

Стало быть, есть Федоров — есть русское первенство. Выходит — перед нами старый спор славянофилов и западников? И действительно — либе-

ральный философ Юрий Давыдов — возражает Семеновой: платоновские герои во имя сверхморальных идей крушат все на своем пути. А как же не сверх-, а простая, общечеловеческая мораль?

И опять — речь идет на самом деле об отдельном, особом пути России, о неприемлимости для нее общего аршина, об оправдании титанической и чудовищной ее революционной судьбы. Как и Федоров, Платонов есть оружие в этом споре.. Потому что, как и Федоров, он нужен и близок многим по совершенно разным причинам. По крайней мере три разных “партии”, каждая со своими интересами, борются за них — Платоновым.

Для националистов Андрей Платонов — просто находка; во-первых, чисто русский человек; во-вторых, не тронутый ничем чужим самобытный философ, по направлению консервативный вроде Розанова, — “зеленый”, как сейчас говорят. И в-третьих, всю жизнь мучающийся вопросом о Христе.

Но и для начальства, для партии, Платонов приемлем: они чувствуют исконную платоновскую левизну. Ведь все-таки он коммунист! И всегда им был. А что понимал коммунизм по-своему — так просто был левый загибщик. Тут как раз и появляется наш “молодой коммунист” — в кулуарах он рассказывает мне, что его журнал сейчас вовсе печатает... Троцкого. Все резервы хороши для освежения усталой идеи.

С третьей стороны — интеллигенция: Вячеслав Вс. Иванов, всемирно известный ученый, рассказывает, как Платонов и сам порождал универсальные мифические образы, и правильно их угадывал: его орлы в “Джане” несут тот же смысл, что орлы в мифах североамериканских индейцев. Умница Нина Малютина из Якутска показывает, что в своих ранних рассказах Платонов опирается на всю культуру начала века: его загадочный образ “каспийской невесты” — не что иное, как София-Премудрость Владимира Соловьева, она же Вечная Женственность младших символистов. Но лучше всех — блистательная Мариэтта Чудакова со своим докладом “Сталин и Платонов — проблемы приоритета”. Почему Сталин так резко реагировал на Платонова? Почему его перестали печатать? Попытаемся восстановить эпоху. Он увидел близость Платонова к своему собственному адресату — к человеку народному. Власть должна опираться на идею: Сталин чувствовал слабые места в марксизме и потому нащупывал связь с русской стихией — переводил марксизм на язык национализма, используя образность народной речи, опираясь на фольклор. У Платонова Сталин увидел похожую работу. Метод Платонова — это поэтизация идеологии: “В нем поют идеи, государственные системы”. Платонов был поэт нового типа. Но от Платонова Сталину было неуютно: его собственные сталинские слова вкладывались в другой контекст. Сталин хотел быть законодателем новой речи, он сам часто звучит по-платоновски: “Трудящиеся земледелия!” Платонов пересмешничал и разоблачал Сталина: он нарушал чарующую, порабащую сознание ритмичность его периодов, где логическими выводами и не пахло, конкретизируя и додумывая их до конца: тогда получался абсурд, дезорганизованная речь. Сталин испугался в Платонове конкурента на обладание народной душой...

Интеллигенция по-своему отвоевывает Платонова: во-первых, видит в

его мифологичности универсализм, а не "самобытность" (ведь самое архаичное, подлинное и, казалось бы, особенное у каждого народа — обряд, миф, фольклор — и есть на деле самое общее и сходное у всех народов). Во-вторых, упирает на преемственную связь Платонова с высокой русской традицией — с символизмом. В-третьих, подчеркивает его вовлеченность в реальную — социологическую и литературную — злобу дня.

Говоря о злобе: стоило Мариэтте Чудаковой под конец процитировать памятный пассаж из Бродского, где он показывает, как Платонов "Обнаруживает тупиковую философию в самом языке", — как закипели страсти. Из рядов слушателей встал некто лет пятидесяти, по виду — то ли деклассированный интеллигент, то ли забывший вырасти юноша пятидесятых годов, в Джон-Ленноновской тотальной бороде, и с трясущимися белыми губами фальцетом понес: "Президиум проявил политическую безответственность... Тут прозвучали ссылки на известного космополита и русофоба Бродского... Как это допустили!.. Нет, не надо ничего объяснять... Нам понятно, кто за этим стоит..." — "Ах, вам понятно? — быстро парировала Чудакова. — Хорошо. Я хотела объяснить, а теперь — не буду".

Из иностранцев интереснее всех выступала индуска: оказывается, Платонов насаждал традиционные колонизаторские представления о Востоке как сонном, мертвом, жестоком. Увы — только она начала описывать исконное восточное отвращение к насилию, как у нее кончилось время.

От чтений осталось чувство, будто посмотрели, послушали и — приняли к сведению. Многие доклады с интересными названиями были сняты "за недостатком времени", многие острые темы были сглажены. Но так хотелось, чтобы все-таки прозвучали некоторые слова, — и я начала свое выступление с простого перечня: "Платонов и анархизм"; "Платонов и рабочая оппозиция"; "Платонов и Махайский" (первый "культурный революционер", призывавший к равенству не средств, а образования, к обязательному для всех снижению культурного уровня); "Платонов и кооперация"; "Платонов и продовольственная политика"; "Экология у Платонова"... По существу же я решила показать, что в нарочито двойственном платоновском повествовании все-таки есть — хоть и глубоко запрятанная — авторитарная авторская позиция; но Платонов вечно в движении, и потому позиция эта — меняется. А чтобы показать, как она меняется, я потянула ниточку — любимый платоновский образ: "странник".

Вначале "странник" у Платонова — это бунтарь, ненавидящий мир, как он есть, в его безумии и запустении. Он жаждет конца этого мира — и делается разбойником, убийцей собственных родителей, бежит прочь, ищет конца земли. Так рождается центральный миф Платонова, связывающий странничество с апокалиптикой.

Чтобы высветить своих героев, Платонов орудует аллегориями: тут и тургеневские бездомные скитальцы, которых "отзывает" прочь от своего — в даль, в монастырь, в революцию, и у себя дома они чужие — ждут, что настанет новое и все волшебным образом изменится; тут и розановские "люди лунного света", ненавидящие людей во имя человечества. Но в конце концов опыт нового мироздания и коллективного сверхчеловечества терпит крах, обернувшись занятиями психотехникой среди разросшихся от скуки лопухов. И тогда разочарованный странник вспоминает об отце. Ведь он и мерт-

вых-то хотел воскресить ради него. И теперь сын уходит назад к отцу — в смерть.

Впрочем, от психоанализа а-ля Фрейд Платонов отрешивается — и очень по-русски. Нет, это не тот отец, которого сжег ранний его герой. И никакой вины перед отцом у героя нет. Платонов дает “русскую альтернативу” фрейдизму: у его героев нет отцов, все они — сироты, безотцовщина; им горько, что отец их бросил, не оказался в наличии (это, конечно, Христо-во “лама савахфани”); и тут Платонов делает свой главный психологический поворот — отца нет, поэтому надо самому стать отцом. Сирота ищет отца — и усыновляет весь мир. Это и есть русский Христос.

Кажется, что это похоже на прежнего “странника”: “богооставленность”, “надо самому”... Но постепенно два эти образа раздвигаются до двух полярных противоположностей. Теперь странник переосмысливается уже как сатанинский персонаж: то он подстрекает других оставить дом, то, как в рассказе “Глиняный дом в уездном саду” (1936), сам бежит из него — недовольный, не способный ни к чему привязаться, проклинающий все на свете, а когда оседает наконец, то передает свое иррациональное и разрушительное недовольство другим, и мир от этого приходит в упадок и запустение. Средствами такой передачи служат ему “странные и прелестные игрушки”, которыми он торгует, — кружки с откидывающимся дном (не напьешься!), часы вечного хода (кто вечен?); ненужные и вредные людям, они утоляют вожделения темного человеческого разума; а полезный труд не нужен никому. Фигура странника, сохраняющая свои апокалиптические связи, теперь означает фальшивого духовного пастыря. Он, однако, наделен знакомой психологией главного лирического героя! Идея конца мира оборачивается темным соблазном, а революция — соблазном еще более выгодным, и тогда странник-сатана “идет орудовать” в нее.

На противоположном полюсе — хриstopодобный сирота, ищущий родителей и потому жаждущий связать себя незаметным, молчаливым служением никому не нужному, забытому, любому человеку. Вместо коллективного богоборчества — индивидуальное богостроительство, состоящее в помощи одному человеку. Вместо воскресения — сохранение слабой жизни. Вместо загробного диктата отцов — молчаливая забота о матери-земле, ветхой и рассыпшейся. Этот герой и в 30-е годы продолжает путешествовать по земле, удивляясь неустройству мира и ища “истины” (которая раньше называлась “коммунизмом”); но теперь истина оказывается в теле “Близкого человека”, то есть ближнего, с которым надо разделить рабство, голод, родовые муки и наконец смерть. Герой прилепляется к людям, чтоб помогать и сопереживать им; все личное он уже отринул, он вообще не существует, он “только думает здесь”, русский Декарт. И — додумывается: “почему все молчит и терпит, ничего не сознавая”, не помня себя? “Потому что у людей отняли убежденное чувство. — Кто-то один или несколько немногих”. “Котлован” есть как раз такой этюд на тему об отчуждении человека от самого себя; этюд насквозь социологический — Федоров там присутствует в очень скромных количествах — скорее как своего рода нервный тик героя, конвульсивно собирающего мелкий, “неотомщенный прах” — или как угрюмая последняя надежда.

Как же вернуть человека самому себе? Что такое воскресение человека

на данном этапе? На это Платонов отвечает "Джаном". Здесь описывается народ, который не хочет жить, потому что у него отняли "чувство жизни", или "память себя". Это народ рабов. Выведение его из рабства и есть воскрешение из мертвых. Теургия опять приравнена к социальному действию. Но вся метафизика — иная. Если раньше герои — по инерции русской духовности во многих, если не во всех ее видах — отрицали "природное" в человеке, принижали "я", горевали о невозможности полностью стереть его и слиться в общее, возвышали сознание и дух, то теперь, в "Джане", дух и разум покидают рабов в беде. Главным оказывается именно "чувство жизни", "память себя", то, что соединяет тело с высшими функциями — "душа или милая жизнь". Это и есть "Джан". Теперь Платонов видит одушевленность всех уровней существования, всех природных функций тела. Даже инстинкт собственности, оказывается, нужен, чтоб сохранить душу: вещи нужны, чтобы человек был повернут вовне. Но самое главное — еда. Накормив рабов, герой возвращает им тела. Но он дает им больше, чем нужно рабам. И тогда, наконец, "мертвые просыпаются", т. е. вспоминают о себе, и... расходятся в стороны, каждый к своей личной, отдельной жизни. Душа уравнивается со свободой! А спаситель стоит и улыбается. Платоновский анти-инквизитор накормил не затем, чтоб подчинить, а затем, чтоб освободить.

Да, на этом пике либерализма Платонов не удержался.

Ну и что?

...Платонов в черном костюме на пляже, застегнутый на все пуговицы... Платонов, целующий в губы мертвых солдат...

Конечно, он сам — и гностик, и богоборец, и юрод. И конечно, "федоровец" — задавленный разросшимся суперэго, парализующим сознанием вины перед отцом, перед отцами. Стыдящийся быть живым. Полюбивший смерть. (Нет ли извращенного упоения в его прикосновениях к страдающей, ветхой плоти?) Да, это некрофильство, невроз, болезнь. Но ведь не только же это! Когда, побубнив о гностической заброшенности, он переходит от метафизики к "физике", к реальности — куда девается навязчивая, назойливая "федоровщина"?! Прекращается скучный эггический серьез; начинается блеск — языковые диверсии, логические провокации, искрометная лингвистическая "контра". Да, пресс: отец-Бог-власть, — но если б не ощущение этих давящих глыб, не было бы и такого контраста, такого напора запретного, неофициального, такой энергии освобождения "бахтинской" стихии. Именно прах, стучащий в сердце Платонова (не зря Воронский назвал его героя русским Уленшпигелем), делает его яростным шутником, языковым жонглером, дураком-мудрецом, с пределом в виде догматической притчи — в лучших традициях мистической литературы, от Хаджи Насреддина до Льва Толстого...

Зачем ему колдовать над полчищами Франкенштейнов — ему, который воскрешает язык народа и сохраняет народный разум? Зайди сегодня речь о крутой организации общества вокруг некрофильского культа — он первый бы всех высмеял: уж подчеркнул бы и прозрачную связь между геронтократией и идеями вроде федоровской.

Его чуткость к социальному негодяйству выразилась в том, сколько вни-

мания он уделил продовольственной политике: именно тривиальный, физический, плотный аспект неравенства был ему главнее всего, и он не стеснялся этого.

Вот кого Платонов напоминает: Толстого. Тот же чисто русский, сектантский экстремизм в додумывании до конца. Тот же единство писательства и жизни. Тот же мертвящий комплекс. Тот же безутешный материализм — и тот же бесстрашный этический поиск, толкающий обоих в тотальную оппозицию. Протестантизм воинствующий. Еретичество создаваемое.

И так же, как Толстому, позднему Платонову в высшей степени подозрительна всякая идеологическая деятельность. Полезный труд убыточен, а пустое и вредное производство символов приносит вред. В особенности от Толстого идет описание платоновского города — скопища дармоедов, производящих якобы духовные ценности, а на деле губящих жизнь. "Усомнившийся Макар" весь построен на толстовской фразеологии. И этический итог лучших вещей зрелого Платонова удивительно похож на то, к чему приходит Толстой в "Отце Сергии" или в "Двух стариках": истина в служении не другим, а другому, и не далеко, а у себя дома... Отказ от человеческих связей, разочарование в мире и обычной жизни, духовное суперменство, оказываются ложным соблазном, на деле — дезертирством. Как и Толстой, Платонов сосредоточен на иррациональном, но сам-то насквозь рационален: "Я понять тебя хочу!" Рационален — и хитер, сатиричен, "сделан", многосмыслен — и свирепо социален. Социальность у них обоих — оборотная сторона совестности: не можешь освободить, спасти, накормить — так хоть мучайся вместе с ними. Он тоже откажется от почти всего в цивилизации, потому что есть деревня, и будет беден, потому что есть бедность...

После такого — более или менее — моего выступления ко мне снова подошел "молодой коммунист". Я, говорит, от вас многого ожидал. Но у нас, говорит, разные подходы. Вы строите из кирпичиков, а кирпичики — они же рассыпаются? Рассыпаются. А я предпочитаю высекать из цельного монолита. Вот и надо нам друг у друга учиться...

И в живых его, умных глазах я прочла некую, не слишком обнадеживающую весть.

Мы обсуждали Платонова в Москве 1989 года, в городе без витрин, в городе свободных театров, диспутов и даже какого-то парламента, в городе, ничего не производящем, но покупающем на талоны сахар и чай, чтоб они не достались какому-то нынешнему усомнившемуся Макару — впрочем, тоже давно уже ничего не производящему. В Москве, прогулки по которой рождали страшную иллюзию, будто гуляешь по страницам мемуаров "В те баснословные дни..." — написанных из очень тревожного далека с явной ностальгией. Кто это сказал, что только в России ностальгию чувствуешь поминутно, никуда не уезжая?

И вспоминается мне стол на сотню персон, и на столе — весь цвет нынешнего советского дефицита: разноцветные жирные рыбины, розовые пласти колбасы — а за столом: все мировое платоноведение. Платоноведение ерзает: слишком остра ирония этих роскошных поминок по нищему автору — вроде ему и место-то не здесь, а за углом, в очереди за водкой, Я представила

себе: тихо встает, сутулый, и говорит: "Я считаю, всю эту пищу надо послать в больницу..."

Никто, конечно, ничего не сказал. Тот, кто — хоть в шутку, хоть намеком — ввел бы в разговор за этим столом тему неравенства в еде, был бы настоящим платоновцем. Но здесь сидели — платоноведы...

Я тоже ничего не сказала: я вспомнила бабушкин анекдот о Родзянко, который любил в конце банкета загнать спич о страданиях голодных, — на что ему кричали: "Что ж ты до банкета нам этого не сказал?!"

...На банкете Битов раздражился (мы сидели рядом) "Федоров да Федоров. Прежде чем воскрешать, научились бы как следует хоронить. Кругом и так слишком много мертвечины. Пока хоронить не научатся, так и будет тухнуть. Да что там — видели, в каком состоянии у нас кладбища?"

И постепенно моя эйфория стала куда-то улетучиваться. За всем этим мне стала чудиться сытая уверенность товарищей Пташкиных: "А мы своих кульков не отдадим". И из водоворота дефицита, двойного и тройного курса, кооперативщиков и гонений на них, слухов о сокрытии товаров и фактов их отсутствия — вставало убеждение: не отдадут.

А друзья — все в один голос: нет! У нас замечательно. Посмотрите: мы же не работаем. И не будем. И никто не будет. А есть — не надо: мы пьем чай, ездим на такси. А театры! Да только журналы все прочесть — суток не хватит!

Сколько можно читать газет?!

Зато к кооператорам ненависть — общая. Не хотите нашего царства духа? Гады! ("Хады" — говорил Платонов).

Похоже, что вектор русского духовного поиска, так чутко угаданный Платоновым, вот сюда и приводит: вот уже и труда нет. Все равно не то, что не получишь ничего, а — не произведешь ничего. Нечем и не умеем. И не надо. Расселся Чевенгур на голодном пайке и живет "в духе". Вон, церковь разрешили, опять зазвонили в колокола...

И напряженное, любовное сочувствие друг к другу. Вот откуда эта нега в интонации. Главное, чтоб не было буржуев, потому что они противные. Мы — кроткие, нам ничего не надо. Мы любую экономику развалим в две недели. Подайте Христа ради!

Это, действительно, очень все наше, привычное. И кажется — не свернуть. А в конце этого пути — Румыния: озверелое начальство, укравшее все, что можно. Отсталая на полвека, голодная, изворовавшаяся нация милиционеров: сами себя боятся. Но уже и Румыния тронулась...

Нет, они умные. Они отпускают тех, которые хотят личной судьбы: "Пусть они счастья ищут за горизонтом". Просто нам это счастье не подходит. Мы — по-своему. Тоже, в некотором смысле, "эроизм"!

...И приснился мне сон. Что это застучало, загремело? Это катятся деревянные яйца, бородатые матрешки — миллионы их. И тьмы. Прикатятся, о землю ударятся — и выходит из матрешки предок. Отцы. И отцы отцов. Отцы отцов отцов отцов.

Вот этот хотя бы предок, конопатенький такой, Иван Бровкин. А рядом сосед его, Подковкин. Так и легли, как столы. А теперь встали и озираются. Мох отряхают. Пальцем ковыряют в носу.

И спрашивает Бровкин Подковкина, выговаривая все юсы — большие и малые: "Воскресить — воскресили, а Юрьев день — отменили?"

И вдруг отовсюду разбойничьи хари в татарских шапках. "Земля — мужицкая?" И тут же нигилист, ногти обгрызаны, за пазухой динамит, а на шее веревка: "Землю и волю — дали?"

"Как — нет? Принципиально несогласны!"

Какой-то адвокатишко с усиками: "А исторический аспект?"

И все: "А что делать-то с нами будете?"

"В космос запускать — инда не знаешь?"

"В космах запускать мы себя не согласны. Отродясь себя блюди, не запускали".

"Да нет, они нас вместо вьетнамцев, в работы..."

"Нет нашего согласия! Ишь чего — опять в крепость идти!"

"Эй, все ложись обратно!"

Предки, предки. Христиане, между прочим, в значительной части. И не только беспросветные, Ибн-Фадланом описанные в десятом веке: "Что не знают Бога, не поклоняются разуму, а наибольших старцев своих считают господами".

Вот и легли, как стояли. И укатились на Арбат — расписные, узорчатые, самобытные, с хитринкой, крепкие, круглые, работающие. Жаль — хоть лошадь умели запрячь.

(А лошадей — тоже воскрешать?)

(Овес нынче дорог.)

И Битов, с мирза-тургеневской, татарско-вольтерьянской своей усмешкой: "Куда там... Рано нам. Видали, в каком состоянии у нас богадельни?"

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

Иосеф Недава.

Вечный комиссар

(Перевод с иврита Таубина, предисловие А. Воронеля)

200 стр.

Цена 14 долл.

В своем предисловии А. Воронель отмечает, что многие евреи, ушедшие в чужую революцию и отрекшиеся от своего народа, тем самым утрачивали самостоятельность и вынуждены были представлять от чьего-то иного имени, "комиссарствовать" при иных вождах. Книга израильского исследователя И. Недавы рассказывает об одном из самых выдающихся таких "комиссаров", Льве Троцком, прослеживая его взаимоотношения с чужой революцией и своим народом на фоне всей его бурной и сложной жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва-Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

ОБ АВТОРАХ НОМЕРА

Л. Гиршович (ФРГ) — писатель и музыкант, автор повестей "Перевернутый букет", "Цвишен ям унд штерн" и др., а также готовящегося к публикации в СССР романа "Прэйс".

А. Бараш (Израиль) — поэт, активный участник московского "Дома поэтов" и автор ряда текстов для популярных советских рок-групп; в Израиле с 1989 года, живет и работает в Иерусалиме.

Д. Штурман (Израиль) — историк и публицист, автор книг "Земля за холмом", "Городу и миру" и др., а также многочисленных статей по теории и практике социализма и национализма.

Д. Шляпентох (США) — историк, писатель и публицист, автор повести "Тиранозавр Рекс" и ряда статей, публиковавшихся в журнале "22".

А. Исакова-Гроссман (Израиль) — врач и писательница: несколько ее рассказов были опубликованы в журнале "22"; живет и работает в Тель-Авиве.

Е. Толстая-Сегал (Израиль) — литературовед, сотрудник Иерусалимского университета, автор ряда статей и исследований по русской и советской литературе.

Сведения об остальных авторах номера приведены в соответствующих текстах.

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Мириам БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", п/я 44050, Тель-Авив 61440.
Телефон редакции – /03/394525*

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 90 шек., для организаций – 100 шек.; за рубежом – 65 долларов (авиапочтой в Европу – 75, в США – 79 долл.), для организаций – 80 долл.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №
Прилагаю чек (чеки) № на сумму
Журнал прошу выслать по адресу
.....

.....
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала
(фамилия)

